



ЮНОСТЬ





А. АЛЕКСАНДРОВА. Бригадир мостоотряда Н. Светличный. БАМ.

**По залам Всесоюзной художественной выставки «Страна родная».
Молодые художники на новостройках 10-й пятилетки.**



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ

4/1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ПРАВДА"
МОСКВА

апрель (275)

*25 апреля юность нашей Родины
соберется в Кремлевском
Дворце съездов
на свой очередной форум.
Посланцы всех союзных
и автономных республик, краев
и областей страны — лучшие
молодые рабочие и колхозники,
ученые, студенты, воины — обсудят
на XVIII съезде ВЛКСМ важнейшие
задачи, стоящие перед советской
молодежью в ближайшее пятилетие.
Особенность нынешнего съезда
комсомола в том, что он проходит
в год 60-летия ВЛКСМ.
«Юность» горячо приветствует
делегатов XVIII съезда,
многомиллионный отряд
советской комсомолки,
людей старшего поколения,
прошедших славную школу комсомола,
всех юношей и девушек нашей страны.*

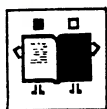
Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН
В. И. АМЛИНСКИЙ
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
В. Н. ГОРЯЕВ
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
К. В. КОВАЛЬДЖИ
К. Ш. КУЛИЕВ
Г. А. МЕДЫНСКИЙ
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)
В. А. ТИТОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101524, ГСП,
МОСКВА,
И-6,
УЛИЦА ГОРЬКОГО,
№ 32/1
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
251 32-83

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Алексей ЧУПРОВ. Братья и сестры. Повесть	7
Фазиль ИСКАНДЕР. Защита Чика. Рассказ	42
Алексей КАПЛЕР. Лопушок. Рассказ	55



ПОЭЗИЯ

Виктор КОЧЕТКОВ	6
Валентин БЕРЕСТОВ	40
Василий КАЗАНЦЕВ	41
Евгений ВИНУКОВ	53
Татьяна БЕК	54
Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ	63
Натан ЗЛОТНИКОВ	68
Владимир КАЛИНИЧЕНКО	78
Андрей БОГОСЛОВСКИЙ	79
Константин ЛОМИА	83
Николай ДМИТРИЕВ	99



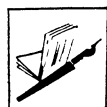
ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий ЧЕБОТАРЕВ. Комсомолстрой	3
Владимир ЛЕЙТЛАНД. Мы держим Самотлор!	70
Валерий ЦЕЛЁРА. «Работаю слесарем»	76
Марк ГРИГОРЬЕВ. Юность комсомольская	87
Алексей ЕРМОЛАЕВ. Испытание огнем	95
Поселок на трассе	112



ПИСЬМО МЕСЯЦА

Б. ЛОГВИНСКИЙ. Дорога построена... А как эксплуатируется!	75
---	----



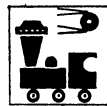
КРИТИКА

Юрий ЦИШЕВСКИЙ. Выставка в Минске	64
Борис КОТЛЯРОВ. Знамена над Малой землей	65
Стелла ИЛЬИЧЕВА. Сергей Чекмарев спорит...	80
Генрих МИТИН. Характер	84
Григорий ПОЖЕЯН. Он окружен зеленою грядой	85

На 1—4-й стр. обложки
рисунок А. Сальникова.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.
Художественный редактор
О. С. Кокин.
Технический редактор
Л. К. Зябкина.

Рукописи не возвращаются



НАУКА И ТЕХНИКА

Алексей ЦЮРУПА. Толбачик: зимняя вахта	100
--	-----

Сдано в набор 15/II — 1978 г.
А 09335.
Подп. к печ 12/III 1978 г.
Формат 84×108^{1/16}.
Усл. печ л. 12,18.
Учетно-изд л. 17,62.
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 801.
Заказ № 1829.



СПОРТ

Марина ГАРФ. Горы: женщина и мужчина	106
--	-----



ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Б. БРИКЕР и А. ВИШЕВСКИЙ. Ответственный визит	111
Каков вопрос — таков ответ	112

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



ГЕННАДИЙ ЧЕБОТАРЕВ,

первый секретарь
Тюменского обкома
комсомола, делегат
XVIII съезда ВЛКСМ

На состоявшейся недавно в Тюмени Всесоюзной творческой конференции писателей и критиков первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков так охарактеризовал Тюменский феномен: «За короткий срок в труднейших условиях отдаленности, в обстановке неблагоприятных природных факторов создан крупнейший промышленный комплекс, воплощающий в себе новейшие достижения научно-технической революции. В социальном смысле, в историческом разрезе Западно-Сибирский комплекс—это величайшее завоевание нашего социалистического строя, дружбы народов, политики КПСС».

Незадолго до открытия XVIII съезда комсомола наш корреспондент Алексей Фролов побывал в Тюмени и встретился там с первым секретарем обкома ВЛКСМ Геннадием Чеботаревым. В те дни по всей стране шло обсуждение Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического соревнования, усилении борьбы за повышение эффективности производства и качества работы. Естественно, что в центре беседы были строки, обращенные к комсомольцам, ко всей молодежи страны, озаглавленные шестидесятилетие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи новыми успехами, достойно продолжать традиции старших поколений, упорно овладевать знаниями и профессиональным мастерством, активно трудиться на производстве, на ударных стройках пятилетки.

Сегодня Тюменская область—это гигантская стройплощадка. На стройках области трудится более 210 тысяч комсомольцев. Вероятно, именно поэтому Тюменщину называют «Комсомолстроем».

С этого вопроса началась беседа.

На тринадцати ударных комсомольских стройках области трудится в основном молодежь. Ежегодно к нам только по комсомольским путевкам приезжают свыше шести тысяч юношей и девушек со всех концов страны. Что же привлекает их в первую очередь? Очевидно, то, что мы называем «тюменским ускорением». Это и высокие темпы добычи природных богатств, это и бурно растущие поселки и города, это и возможность быстрого профессионального роста. С другой стороны, молодого человека привлекает возможность найти свое место в жизни, оценить свой собственный вклад в общие усилия в краю, только-только обживаемом. Недавно я побывал на строительстве газопровода Уренгой — Челябинск, в одной из комсомольско-молодежных бригад. Разговорился с секретарем комсомольской организации Сергеем Люляхиным, бульдозеристом. «Хорошо сознавать,— сказал он,— что ты идешь первым, что здесь до тебя никого не было, короче говоря, что ты преобразуешь землю для людей, каждый день видя результат своего труда...»

В этих словах, мне думается, кредо сегодняшних молодых, которые осваивают Тюменскую землю — разведывают и добывают нефть и газ, строят трубопроводы, железные дороги и автотрассы, возводят новые современные города, осушают болота. Кстати сказать, такое вот многообразие, такой широкий выбор для приложения молодых сил и способностей не последняя из

привлекательных чертчек Тюмени. Почти ежедневно мы получаем десятки писем от молодых людей, желающих приехать к нам работать по самым разным специальностям. И мы можем обеспечить работой по душе всех, дать возможность вырасти, утвердиться профессионально и граждански каждому. Вот каким широким фронтом мы наступаем! Однако это наступление невозможно без комплексного подхода. Что я под этим подразумеваю? Сегодняшний этап освоения немыслим без тесного взаимодействия и отдельных подразделений и целых отраслей. Скажем, нефть Самотлора практически невозможно было бы добывать, если бы мы не имели подъездов к местам добычи — знаменитого «бетонного кольца» вокруг озера. Или другое. Сегодня высокими темпами идет строительство железной дороги от Сургута на Уренгой. Скоро до Уренгоя пойдут поезда. А пока строители сталкиваются с некоторыми бытовыми неудобствами. И молодежь Сургута, занятая обустройством нефтяных месторождений своего района, шефствует над транспортными строителями и помогает им организовывать нормальные условия для работы, отдыха и учебы...

Хочу привести еще один пример живой связи комсомольских ударных строек, в котором виден комплексный подход к решению самых важных проблем. По сельскохозяйственным районам нашей области проходит трасса будущего газопровода Уренгой — Челябинск. Комсомольцы Уватского и Тобольского районов, используя возможность своих клубов, красных уголков, библиотек, регулярно организуют для строителей газопровода вечера отдыха, концерты самодеятельности, читательские конференции, участвуют в субботниках и воскресниках строителей. А ведь они, уватцы и тобольцы, не сидят сложа руки — заняты на фермах, полях, ремонтных станциях, кормят огромную нашу область.

Вот такой опыт тесной и плодотворной связи всех тринадцати Всесоюзных ударных комсомольско-молодежных строек натолкнул на мысль создать новую, подвижную, соответствующую сегодняшним требованиям форму руководства коллективами ударных комсомольских строек. По нашему предположению и создан штаб ЦК ВЛКСМ территориально-производственного комплекса на освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Штаб с одинаковой заинтересованностью и вниманием изучает проблемы и нужды каждой стройки, координируя их действия ради успеха общего дела освоения.

— Геннадий, что можно сказать о современном типе молодого человека, осваивающего богатства Западной Сибири! Каков он! Его характерные черты!

— Ну, во-первых, незаурядное мужество. Работаем мы, как вы знаете, в условиях нелегких. В прошлом году, например, целый месяц в районе Надыма стояли сорокаградусные морозы, и, в общем, по существующему порядку, люди вполне могли не выходить на работу. Но сидеть без дела не в привычке наших комсомольцев. Как раз в те дни я был в Нижневартовске, в бригаде Владимира Машкова — знаменитой бригаде газосварщиков. Ребята по очереди выбегали из теплого балка к трубе, делали сварочный шов и возвращались отогреваться. Трасса шла по болоту. Ребята шутили: «Хорошо, что мороз. Ноги в трясине не вязнут!» Мог бы я рассказать и о том, как на Самотлоре поздней осенью, когда по воде шла шуга, ребята испытывали сва-

ренную трубу. Очевидно, некоторые швы были сделаны плохо, и труба затонула. На тут же сооруженном плотике-катамаране с подъемным устройством — лебедкой и блоком — комсомольцы прошли по озеру вдоль затонувшей трубы, ныряли в воду, чтобы зацепить плетень, поднять трубу на плотик, заварить шов и двигаться дальше, повторяя операцию сначала. Конечно, так поступить могли только люди незаурядного мужества, настоящие корчагинцы. Но и люди, безусловно, трудолюбивые, понимающие, что любое промедление, любая остановка сорвут планы, на час, на два лишат страну дополнительно потока нефти. Значит, к мужеству и трудолюбию прибавьте еще и высокую гражданственность молодых освоителей, которые в нелегких условиях ищут и находят единственно верный, оптимальный вариант для решения, казалось бы, неразрешимых проблем. Значит, для ребят характерна и инициативность, которая, конечно же, невозможна без знаний, высокого профессионального мастерства, опыта. Вот какая цепочка...

Ну и если вообще говорить о типе молодого человека, который сегодня осваивает богатства Тюмени, то следует отметить, что это человек, разумно преобразующий землю, берущий ее щедрые дары для общего блага, человек, который в процессе дела растет и развивается сам.

— Область постоянно получает пополнение со всех концов страны. Всегда ли молодые люди готовы «с колес» включиться в дело! Если нет, то почему! Как комсомол области помогает скорейшему «включению»!

— Я уже говорил, что ежегодно к нам в область прибывает свыше шести тысяч молодых людей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это были квалифицированные, хорошо подготовленные работники. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы ребята и девушки были хорошо морально подготовлены, чтобы их адаптация в новом коллективе, в наших трудных условиях прошла как можно скорее и безболезненнее. Понимаете, не каждому удается сразу попасть в рабочий ритм «тюменского ускорения». Человек еще не набрал нужного профессионального опыта, да и психологически ему трудно переключиться, скажем, от размеренной, накатанной жизни где-нибудь в средней России на темпы и трудности освоения. Учитывая все это, мы стараемся определить каждого молодого человека в такой коллектив, где бы юноши или девушки сразу были окружены вниманием, получали бы уроки настоящего мастерства от опытных наставников, с первых дней самым активным образом включались бы и в общественные дела и заботы. Большое подспорье в этом смысле — комсомольско-молодежные управления, тресты, строительно-монтажные поезда. В сущности, они являются для молодых людей школой профессионального, нравственного и гражданского опыта. Наверное, нет смысла подробно разговаривать об этих комсомольско-молодежных объединениях — о них уже немало написано, их опыт широко распространен в других областях, на других стройках. Хочу рассказать об одном из воспитанников подобного объединения — Павле Баряеве. После увольнения в запас Павел приехал по комсомольской путевке в Надым. Работал в комсомольско-молодежном строительно-монтажном управлении № 3 плотником, бетонщиком на строительстве компрессорных станций. Был комсоргом. Сейчас Павел — бригадир. Уже два созыва он депутат город-

ского Совета, член бюро горкома комсомола. Сейчас избран делегатом XVIII съезда ВЛКСМ. И это обычная, как говорится, рядовая судьба молодого человека на Тюменской стройке.

Однако даже комсомольско-молодежные объединения в целом не могут снять проблем скорейшей адаптации молодого человека в коллективе. Тут опять необходим комплексный подход. Наверное, вы слышали об опыте ленинградских комсомольцев. Ленинградцы посылали на строительство Байкало-Амурской магистрали отряды молодежи, которые прошли и профессиональную подготовку по специальностям, требуемым на строительстве, «притерлись» друг к другу, сплотились в коллектив еще в условиях Большой земли. Практика показывает, что такая подготовка (пусть даже короткая, двухмесячная) не просто дает минимальный отсев. Ребята, прошедшие ленинградскую школу, с ходу включаются в дело — профессия-то им знакома! Гораздо более стойко переносят они и всякого рода трудности. Здесь им помогает выработанное уже чувство локтя. Я думаю, что в дальнейшем и мы будем держать курс на такую подготовку.

Еще один опыт БАМа хотелось бы использовать применительно к нашей области. Известно, что за каждым участком этой огромной магистрали закреплены как шефы крупнейшие наши города, союзные республики. Помимо прочих выгод, здесь и еще одна: шефы всегда внимательно следят за судьбой и ростом той молодежи, которая посылается республикой или городом на стройку.

Таким мне видится комплексный подход к затронутой вами проблеме.

— Почти два десятилетия освоения — это не только новые месторождения, новые трассы, новые города. Это еще и огромный профессиональный, гражданский и нравственный опыт. Как идет передача этого опыта от «старожил» к новичкам?

— Конечно же, в процессе дела. В процессе деятельного общения. Известна у нас в Тюменской области бригада Владимира Макара. Это комсомольско-молодежная бригада геологов-изыскателей. Ребята неоднократно завоевывали специальный приз обкома комсомола имени Семена Урусова. Они зачинатели многих интересных инициатив. Так вот учителем Володи Макара был Семен Лукич Малыгин, Герой Социалистического Труда, один из тех, кто открывал Самотлор. Сам же Малыгин воспитывался у Семена Урусова — первооткрывателя тюменской нефти. Люди, которые знают Урусова, говорят, что у Макара «урусовский почерк». Что это значит? А, видимо, то и значит, что традиции, заложенные два с лишним десятилетия назад, продолжают и, что не менее важно, множатся.

Хочу рассказать еще об одном любопытном факте передачи опыта от старшего поколения к молодым. В Тюмени хорошо известно имя Степана Ананьевича Повха. Этот человек также является первооткрывателем Самотлора. Сегодня одно из крупнейших месторождений названо его именем. Семен Ананьевич погиб. У него остался сын Владимир. Он принял эстафету от отца, учился в губкинском институте и получал там стипендию имени Повха. А сейчас работает на Повховском месторождении, и работает хорошо.

Если смотреть на передачу традиций опять-таки в комплексе, нельзя не сказать о другом — передаче опыта бригадного костяка — людей многоопытных, прошедших школу не одной стройки, не одного месторождения, — молодым, необстрелянным.

Они, «варясь» в бригадном котле, усваивают все лучшее, чем обладает коллектив, а потом, повзрослев, передают эстафету дальше.

— За годы освоения в Тюменской области выросло целое поколение «управляющих». Многие из них начинали рабочими, подручными. Расскажите о самых ярких судьбах.

— Я уже говорил о комсомольско-молодежных объединениях. Так вот, одним из первых управляющих комсомольским трестом «Севергазстрой» был Анатолий Мандриченко. Как командир студенческого строительного отряда Анатолий приехал к нам еще в 1962 году и строил знаменитый поселок Светлый в Березовском районе. Сейчас Мандриченко — управляющий трестом «Тоболпромстрой». Этот трест строит крупнейший нефтехимический комплекс на Иртыше.

Другая судьба. В области хорошо знают Николая Павловича Доровских — заместителя управляющего «Тюменьстройпути», депутата городского Совета, удостоенного многих правительственных наград. Десять лет назад Николай Доровских был секретарем горкома комсомола, начальником комсомольского штаба стройки, а потом начальником первого в стране комсомольско-молодежного СМП-522.

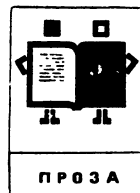
Объяснить столь стремительный рост «по вертикали» можно, конечно, качествами, которые лично присутствуют у Мандриченко и Доровских. Деловитостью, организаторскими способностями, пониманием ситуации, умением найти наилучший вариант, принципиальностью. Однако все эти качества могли и не развиться, не будь подходящей почвы. Здесь я имею в виду наш советский образ жизни, при котором способности человека проявляются наиболее ярко. И вместе с тем здесь нельзя не учесть той ситуации, которая создалась в процессе интенсивного освоения края. Человек медлительный, безынициативный, не знающий дела до тонкостей, некоммуникабельный никак не смог бы вписаться в темпы «тюменского ускорения». Наверное, теперь понятно, отчего так ценен специалист, прошедший тюменскую школу. Он и прекрасный работник, и организатор, и грамотный специалист, и общественный деятель.

— О каких интересных начинаниях, полезных инициативах комсомольцев Тюмени можно еще рассказать? Каковы планы и замыслы?

— Скажу только о самых свежих, самых последних. С инициативой выполнить план трех лет пятилетки к XVIII съезду комсомола выступили бригады Виктора Богданова из Тобольска и Юрия Гоцина из Надыма. Недавно родился и другой очень интересный почин, подхваченный сотнями коллективов, — бороться за право участвовать в акции по добыче миллиардной тонны нефти — миллиардной со дня освоения нефтяных месторождений. Кстати, одним из инициаторов здесь был Сергей Муравленко — сын прославленного тюменского нефтедобытчика Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской премии Виктора Ивановича Муравленко.

Как видите, Комсомолстрой продолжается! Осваивается, застраивается Тюменская земля, растут, мужают люди!

**АЛЕКСЕЙ
ЧУПРОВ**



ПОВЕСТЬ

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Глава первая

Д

ом должны были сносить.

То есть как сносить?! Капитально ремонтировать! И кое-кто уже запасался старыми газетами для оклейки стен под обои.

«Да нет же, нет; раз ремонт капитальный,— резонно возражали другие,— то будут выселять на время в дома переселенческого фонда». И даже указывали на один, пустующий на соседней улице, ужасаясь тем, что дом пятиэтажный, но без лифта.

Самые же верные сведения о будущем имели, конечно, старухи, которые в эти свежезеленые майские дни, когда тополя уже разлили в воздухе горьковатый теплый запах только-только народившихся листьев, особенно усердно полируют две скамьи, установленные, к их удовольствию, как раз у известняковых искрошенных ступеней единственного подъезда дома.

Старухи утверждали, что на днях, часа в три пополудни, подкатила к дому черная «Волга» и вышедший из нее основательный мужчина с пристрастием долго оглядывал дом и окрестности.

Из этого события старухи сделали вывод о том, что какое-то солидное учреждение забирает дом для своих служебных надобностей, а жильцам, значит, будут дадены вскорости новые квартиры.

Несмотря на всю вздорность и неопределенность такого слуха, в него поверили, потому что он был самым радостным; да и жилплощадь к тому времени давно уже получали повально, и если такая удача выпадала другим людям, не было оснований опасаться, что она минует и их пятнадцать коммунальных квартир.

И большинство жильцов сразу привыкло смотреть на свой дом, как на что-то временное. Даже те, кто родился и вырос в престарелых его стенах, и они раздражались, когда, возвращаясь с работы, опять и опять видели неказистый, обшарпанный особнячок, покосившиеся оконные переплеты, тополя во дворе, безжалостно обкорнанные дядей Васей.

Рисунки
Г. БАСЫРОВА.

Вечерами дольше горел свет в окнах дома, больше выбрасывалось всяческого мусора на помойку, и рядом с ней то и дело выстраивались дряхлые диваны и стулья, разобранные в доски шкафы.

Принялись покупать и новую мебель.

Под вечер Стекловым привезли такой гарнитур из восемнадцати предметов, что их соседка, старуха Десятчикова, едва не упала в обморок; уж больно эта вычурность линий барокко и светлая, шелковзая, в мелкий цветочек обивочка напомнили обстановку комнат ее батюшки, державшего в незапамятные времена рыбные склады в Астрахани и в Самаре.

Придя в себя, Лизавета Прохоровна прикинула, как бы ловчее продрать Стекловых перед товарками, энергично шествовавшими из других дворов на выгрузку.

Нет, не любила она Стекловых, не любила и не любила.

Уже за одно то не любила, что после войны вселили их в комнату, где прежде жил ее брат с женой и их сын Алик.

Давным-давно, в самый медовый месяц Стекловых, не единожды сыпала она горсть-другую соли в борщи, готовленные ловкими руками Оксаны Михайловны; а вечером, к приходу «самого», прижав ухо к холодной стене, жадно вслушивалась в разговоры Стекловых. Но желанных ей громких слов они не говорили, а тихие мешал улавливать патефон, как назло стоявший именно у этой стены и беспрестанно ввинчивающий в самое сердце Лизаветы Прохоровны трюфейные вальсы.

Грузчики, с грозными покриками извлекая один за другим из нутра фургона предметы гарнитура, добрались до большого зеркала с тумбочкой и со всеми предосторожностями выставили его на асфальт.

Десятчикова подошла, глянулась искоса... На фоне желтой стены дома и куска синего предвечернего неба, в своем демисезонном пальто, укутанная шерстяным платком, с оплывшим лицом, в валенках, глубоко разрезанных на икрах опухших ног, она стояла такая дряхлая, что в пору было испугаться самой себя.

— Оксана Михайловна, — отворачиваясь от зеркала, окликнула она Стеклову, — где ж ты столькому добру вместилище сыщешь? Ведь переезжать когда еще будем... Да и будем ли?

— Ах, погодите, — отмахнулась от нее Стеклова, вклиниваясь между ней и зеркалом. — Не мешали бы лучше... — И бросилась к грузчикам. — Осторожнее! Аккуратнее! Я не обижу...

— Ишь, сколь денег оказалось, — отступила Десятчикова к кучке любопытствующих старух. — Знаю их как облупленных. Соседи, господи прости. Он-то шофер, а она-то портниха... Понятно, откуда таким деньжищам быть...

— Известное дело... От трудов праведных... — поддерживали наперебой несколько старух, расторопными глазами между тем пересчитывая вещи и оценивая добротность гарнитура.

Но одна, задушевная подруга Десятчиковой, сказала ей тихо:

— Ты лучше к ним подселенкой просись. Чем по чужим-то людям мотаться, притулилась бы возле них. Какие-никакие, а — свои. Век спокойнее за ними проживешь...

Лизавета Прохоровна ничего ей не ответила, однако, отойдя в сторону, задумалась.



☆☆☆

В первое мгновение Александра Ивановна остановилась в открытых настежь воротах; ей помнилось, кто-то уже выезжает; и лишь разглядев как следует у подъезда весь водоворот — машину, мебель на земле, грузчиков, старух, она поняла, что ошиблась, и успокоилась.

— Шурочка! Ах. Шурочка! — налетела на нее Оксана Михайловна. — Ты, конечно, позволишь... В нашей комнате все не разместится. Я этот шифоньер и пару-другую стульев к тебе закину. Ага?

Александра Ивановна согласно покивала, несколько раз подбив по-девичьи коленями свою авоську с двумя бумажными пирамидками молока.

— С ума ты сошла — покупать мебель, когда ничего не известно. Разве ты знаешь? Разве окончательно что-нибудь решено? Может быть, и не будем никуда переезжать, — обнадежила себя Александра Ивановна.

— Ой, не говори, Шурочка! Тут уж Лизавета каркала. Главное — неожиданно получилось. У меня клиентка одна в мебельном — директором. Звонит: «Есть прекрасный гарнитур, импортный...» Я помчалась, с книжки сняла, что Гриша на машину откладывал. Он через две недели из командировки вернется, убьет меня, если переезжать не будем. Только я думаю — куда денемся, переедем. У меня сердце — вещун, и на картах я вчера раскинула... Я бы шифоньер в коридоре поставила, но, сама понимаешь, как с ним наш божий одуванчик обойдется. — Она с сердитой усмешкой повернула напудренное широкоскулое лицо в сторону Десятчиковой.

— О чем речь, ставь ко мне. Вот ключ. — Александра Ивановна подала Стекловой ключ. — Надо будет помочь — крикни; я во дворе посижу, чтобы под ногами не путаться.

Давно внесли мебель. Уехал фургон. Разбрелись старухи. Детей звали по домам. Совсем за вечер-

ло, но сыроватый теплый воздух был почти неощутим. Почки, проклюнувшиеся на сирени в палисаднике, в сумерках как бы на глазах распустились — ветки замохнатились. Свет зажег почти во всех окнах, и дом окутался светлым прозрачным коконом.

Александра Ивановна казалась — время остановилось. И можно было думать, что всегда будет рядом теплота этого небольшого московского дома, его свет; и чувство памяти о прошлом и ощущение приближающейся старости никогда не перейдут грани легкой грусти.

Пожалуй, единственная из всех жильцов она не верила в переселение и не желала его.

Двадцать с лишним лет Александра Ивановна работала инженером в лесоустроительной партии и каждый год в начале лета отправлялась с экспедицией в лесные угодья Севера. Лес запырал ее на пять-шесть месяцев. И в обратную дорогу она собиралась, когда светлые часы становились куцыми, а ветви елей за ночь обрастали пушистым куржаком; да и Москва встречала ее уже снегом.

Казалось бы, ей-то, вечно колесящей, что за печаль в еще одном переселении, тем более отсюда, из старого дома, в котором она и не жила толком; где горячей воды не было, и приходилось путешествовать каждую неделю в баню; где, случалось, становились напряженными отношения с соседями по квартире; где девочка, этажом выше, вот уже пятый год разучивала вечерами «Сентиментальный вальс»?..

И все же он был частью ее существа — этот дом, населенный знакомыми людьми, дом, на каждый шепот памяти отзывавшийся гулким эхом прошлого, дом, из которого весной привычно тянуло уехать, но о котором в экспедиции славно мечталось в плохую минуту, как о надежном пристанище...

— Вы что это на улице время коротаете? — внезапно прогудело рядом.

Александра Ивановна вздрогнула и обернулась.

Дядя Вася был у скамьи. Кряжистый, но с худым, бледным лицом, в белой рубашке, выпущенной поверх брюк, в домашних туфлях на босу ногу, он стоял, повесив длинные руки вдоль тела.

— Тепло, а влажность повышенная, — задумчиво сказал он. — Я вечером даже не поливал. Нынешний май — чистый парник; это, верно, от излишнего кипения солнца. Взрывы там, говорят...

— Возможно, — согласилась Александра Ивановна мирно, но, вспомнив свое возмущение видом обрезанных топей, подняла на них глаза и спросила сердито: — А вот зачем вы с деревьями так расправились?.. У нас во дворе не топилицы растут, а тополи, от них пуха не бывает.

— Так велено было обрезать...

— Ах, «велено», — насмешливо протянула Александра Ивановна.

— Кабы знать, что вам такой вид не люб, ни в жисть бы пилить не стал. — Он неловко, отвернувшись от Александры Ивановны, боком присел на скамью и, помолчав, сказал хрипловато: — Я вам давно сообщить хотел. И раз такая минута выпала...

— Что случилось? — удивляясь его тону, встревожилась Александра Ивановна. — За квартиру у меня оплачено...

— Здесь даже совсем наоборот. Я вам так признаюсь. — Он свесил голову на грудь, и голос его зазвучал еще глуше. — Я к вам имею некоторое чувство. Вы всякий год в отъезде на длительный срок, а меня тоска грызет. Свою половину видеть не могу... Вас дожидаюсь...

— Что вы... — Александра Ивановна потихоньку отодвинулась на другой край скамьи.

— Да будьте в уверенности, не пьяный я... Ну

наркомовские сто грамм, перед ужином. Я бы, конечно, ни гугу, не стал бы вам докучать. Только дело к тому идет, что судьба разведет нас... И не свидимся.

Он замолчал.

И Александра Ивановна растерянно молчала, даже губы крепко сжала. Понимая и предчувствуя, что он хочет сказать, она испытывала неловкость и за себя и за этого пожилого человека, которого видела в Москве чуть не каждый день и который был ей привычен в своем неизменном значении, как этот дом, как палисадник или дети во дворе.

— Я всегда на вас смотрел и так думаю: лучше вас женщины нет. Да... Я вам... я и стихи писал. — Голос его сел до шепота.

— Стихи?! — тоже шепотом испугалась Александра Ивановна.

— Сейчас прочту, если позволите. — Он полез в карман брюк, вытащил зачем-то очки, приладил их на носу, откашлялся: — Вот, значит, так: «...Ты лучше всех на свете. Ты жарче солнца светишь. Я труд нелегкий для тебя справляю. Цветы всегда я поливаю, чтоб радость в сердце твоём родить, чтоб веселее тебе ходить»...

— Шурочка! — позвал сверху голос Оксаны Михайловны. — Идем чай пить...

— Иду! — с облегчением откликнулась Александра Ивановна, благодарно глянув на силуэт Оксаны Михайловны в желтом проеме окна. — Вы извините, меня зовут, — тихо сказала она дяде Васе и, стараясь быть убедительной, добавила: — Поверьте, я мало понимаю в стихах... мне трудно их оценить. Извините...



Чай пили на новом столе. Даже поставленный грузчиками наискось, он забаррикадировал длинную комнату Стекловых.

Протискиваясь между столом и стеной, Александра Ивановна повторила про себя: «Ты жарче солнца светишь», — вспомнила свой испуг, представила свое лицо и вдруг затряслась от смеха.

— Что? Что ты? — глядя с завистью на легкую ее фигурку, спрашивала Оксана Михайловна.

— Застряла, — все смеялась Александра Ивановна, махая рукой. — Представляю, каково твоему Грише будет здесь пролезать.

— Он вот так. — Оксана Михайловна подмигнула ей, надула щеки, изображая мужа, и, нагнувшись, полезла под стол. — Уф, — натужно выдохнула она, вылезая с другой стороны и разгибаясь.

— Ой, не могу... перестань... — заходила Александра Ивановна. — Ой, Оксана... Умру...

Заразившись ее смехом, Оксана Михайловна начала басовито вторить.

В дверь постучали, приоткрыли, и просунулось испуганное лицо Десятичковой:

— Господь с вами, девушки!..

— Заходите, Лизавета Прохоровна, чаек попить, — обрывая смех, но все еще улыбаясь, пригласила Александра Ивановна. — Заходите, — повторила она ласково.

— И то, — обрадованно отвечала Лизавета Прохоровна, — у меня разговор есть... Я мигом, я сейчас. — Не входя, она закрыла дверь.

— Подслушивала, — определила Оксана Михайловна и спросила, удивленно поднимая брови: — Ты что с ней таким дружеским манером?..

— Ну, — пожала плечами Александра Ивановна, — вдруг разведемся. Что ж плохим поминает друг друга? Да и одинока она, как перст...

— Извини,— хмыкнула Оксана Михайловна,— твой перст кому-нибудь достанется — не подарочек.

Десятчикова вернулась с двухлитровой бутылкой вишневого настоя, приготовленной, как она сообщила, прошлым летом по старинному рецепту.

— Что б сей сон значил? — как бы самой себе вслух задала вопрос Оксана Михайловна.

Лакированный овал нового стола застелили клеенкой; и после первой рюмки Оксана Михайловна пожаловалась:

— Что ты будешь делать — замучилась, руки еле от этой мебели поднимаю, а для чего все? Положили клеенку — и нет стола...

— Напрасно говоришь. Очень красивая обстановка,— ободрила Александра Ивановна.— Нарядная...

— Ты права, Шурочка, уезжать будет грустно,— говорила Оксана Михайловна.— Вся молодость здесь остается; в другом месте и не вспомнишь ее...

— Ничего,— положила ей ладонь на руку Александра Ивановна.— И там будет жизнь, и радости будут... Если станем переезжать, тебе ли огорчаться: именно вам давно пора в отдельную квартиру; ведь вот-вот Максим демобилизуется.

Как и часто в последнее время, их разговор соскользнул на сына Стекловых, Максима, дослуживавшего читанные дни на Тихоокеанском флоте.

Оксана Михайловна достала его недавнее письмо и начала читать с середины:

— «...Точно когда не знаю, но знаю точно, что скоро увижу вас всех. Цел ли мой синий костюм? Мама, отдай его, пожалуйста, в чистку...»

— Он ему, наверное, мал будет,— решила Александра Ивановна.

Она помнила Максима и взрослым школьником, который дважды ездил с ней летом работать в лесоустроительную партию, помнила и толстошеким карапузом, который звал ее «Шурочка»... Когда, случилось, отец с матерью ссорились, он, озабоченный, являлся к ней в комнату, говорил хмуро: «Опять они там ругаются. Я, Шурочка, у тебя хочу заночевать. Ладно?» Она стелила ему на раскладушке спальник, и он, аккуратно застегнувшись на все пуговицы до горла, просил: «Расскажи-ка, Шурочка, как ты здорово воевала...»

Около двух лет Александра Ивановна была в действующей армии, до самого того январского мгновения сорок пятого года, когда при утреннем артаппелете ее отбросило первым же разрывом от палатки сабата, куда тащила она термос с кулешом.

Считая за малость свою службу в сравнении с тем, что делали на фронте другие, она никому из них никогда не обмолвилась словом, но Максиму в такие вечера говорила о ней с каким-то вдохновением, сплетая в единое и то, что пережила и видела сама, и то, о чем только читала в книгах. В рассказах ее плотность нашего огня была обычно, как при очень крупном наступлении, и враг нес тяжелые потери. В самые боевые моменты Максим тихо вскрикивал: «Ура!», «Вперед!» и, выпростав из мешка руку, потрясал трофейной фляжкой в суконном зеленом чехле, служившей ему гранатой... да так и засыпал, сжимая ее.

— Ему другой костюм уж справлять пора. Женился скоро,— со смаком пообещала Лизавета Прохоровна.— Сейчас мода такая — рано себя брачными узами вязать. Вон в одиннадцатом доме внук Смоляновой форму военную снять не успел, ему уж свадебный, кримпленовый заказали...

— Всегда вы что-нибудь да скажете эдакое, Лизавета Прохоровна,— посетовала раскрасневшаяся от настойки Оксана Михайловна — Максим наш — мальчик, ему еще вольной жизнью пожить надо.

— Это, конечно, успеется хомут надеть. Только отца с матерью он спрашивать не будет.

— Ему учиться надо,— напомнила Александра Ивановна.

— Так-то оно так. Да я к тому веду, что о будущем пора подумать.— Десятчикова, причмокнув, допила чай, поставила чашку на блюдце вверх дном.— Хороший чай, цейлонский,— похвалила она.

— О каком будущем? — насторожилась Оксана Михайловна.— Что вы имеете в виду?

— А то, что на троих двухкомнатную квартиру будут давать; двадцать шестому дому так давали и семнадцатому так... А вам бы, Оксана Михайловна, прикинуть, обмозговать получше, да меня, к примеру, к себе подселенкой позвать.

— Вас?

— Ну да. Чего меня бояться, не зверь я какой... Главное, ноженкам моим уж недолго землю топтать, а после — третья комната вам достанется, ведь войдут в положение, что сын уже взрослый.— Она свела к переносице выщипанные брови, поджала губы, кошачьи глаза ее погрузнели, и каждая морщинка словно говорила: «Не так дурна ваша соседка, не так глупа, если замыслила эдакое; ныне дело за вами, не провороните счастье...»

Слово «подселенка» резануло Александру Ивановну. Оно теперь относилось и к ней и выражало всю неопределенность ее будущего. Сердце ее мучительно зачастило. Она почувствовала себя несчастной оттого, что, может быть, кто-то уже распорядился судьбой их дома и ее судьбой.

С беспечностью, не желая выказывать этого чувства и пытаясь как-то отгородиться от него, она сказала:

— Рано строить планы. Ничего еще не известно, что, где. Надо пойти в райисполком и все узнать, а то живем сплетнями.

— Благодарствую за чай,— важно сказала Десятчикова.

— Даже не знаю,— оставляя без внимания слова Александры Ивановны и пристально вглядываясь в лицо Десятчиковой, задумчиво сказала Оксана Михайловна и подперла голову ладонями.— Вот Гриша приедет из командировки, Максим вернется — подумаем. Как мужчины мои, я-то что...

— Ну, думайте, думайте,— внушительно проговорила Десятчикова, поднялась с нарочитым кряхтением и вышла, прихватив бутылку с настойкой.

— Хм, придумала же... Мебель, что ли, на нее впечатление произвела? — предположила Оксана Михайловна после недолгого молчания.— Можно ли это устроить? Ты как на это смотришь? С одной стороны, остаться с ней в квартире — страшно... Но если взглянуть по-другому... А?

— Не берусь советовать,— стараясь не смотреть на нее, ответила Александра Ивановна.— Мне трудно судить...

Расчетливость Оксаны Михайловны что-то отторгала в сердце от чувства привязанности к ней; и от этой неясной потери хотелось плакать.



Ночью Александра Ивановна не могла уснуть. У нее болела голова той особой, сверлящей и одновременно сжимающей череп болью, которая в последнее время случалась все чаще и, как говорили врачи, была следствием фронтальной контузии. Но она им упрямо не верила и всякий раз пыта-

лась доискаться до какой-то внешней причины. Сейчас ей казалось, что боль подкралась или из-за выпитой наливки, или от резкого запаха лака и свежееобработанного дерева, издаваемого засунутым в ее комнату шкафом Стекловых. Он и новые стулья потеснили ее мебель, сделали ее невзрачной. И ей было обидно за весь свой обиход, как если бы кто-то высокомерным щегольством унизил ее старых добрых знакомых.

Шкаф почти закрыл окно, выходившее в переулок. И свет фонаря, обычно выстраивавший из теней над тахтой подобие книжной полки, нынче вывел углом шкафа почти под потолком мрачный профиль.

Александра Ивановна, прищурясь, смотрела на уродливый нос, на проваленный рот, и тень казалась собеседником, твердившим все те советы, которые обычно давали знакомые; советы, сводившиеся к одному, — пора бросить мотаться в экспедиции, надо осесть, найти спокойное место, пора устроить свою жизнь.

«Устроить» — она никогда не могла понять смысл этого слова. Та жизнь, которой она жила, и представлялась ей самой устроенной, другой для себя она не желала. Но эта боль заставляла ее смотреть на собственную жизнь иными, сторонними глазами; и надежда «умереть на работе», как она отшучивалась и во что серьезно верила, чудилась наивной мечтой; в лучшем случае — покойная старость, мысли о которой ее, человека деятельного и непоседливого, раздражали. Однако страшно думать, но это так, нигуда от нее не денешься: заболела она серьезно, на что усиленно намекали врачи, повторявшие, что контузия — мина с длинным фитилем, — заболела она, на чью поддержку ей надеяться?.. Стекловы еще могли как-то помочь, и принять помощь от них не казалось ей таким уж постыдным иждивенчеством; но для незнакомых людей, с которыми ей предстояло прожить остаток жизни, она — чужой человек — стала бы только обузой.

Правда, был у нее брат Николай, военный летчик и в больших чинах. Служа на Дальнем Севере, он раз в год или в два проезда на курорт останавливался у нее на день-другой. Но обременять собой его семью! Об этом Александра Ивановна не могла и помыслить. У него росли три дочери, и жена была гордячка. А главное, работа его, как и любая другая, незнакомая Александре Ивановне досконально, представлялась ей особенно важной.

Начиная думать о брате, она невольно вспоминала его маленьким Николашей, и вместе с ним приходило на память детство, но не то счастливое время — лет до десяти, чувствовавшееся единым миром, а те дни, когда все неожиданно и страшно оборвалось, когда впервые она, еще не осознавая, ощутила со страхом, затаившимся в ней навсегда, что есть в самом человеке какие-то силы, которые ему неподвластны, как солнце или падение звезд. И странно было, что давнее переживалось в настоящем, будто едва минувшее мгновение, в котором, стоит захотеть, можно что-то изменить...



...Скарлатина была тяжелой. И надо бы везти Шурочку в больницу, да метель встала белой стеной до неба, и уж о том, чтоб ехать куда-то дальше околицы, не могло быть и речи.

Даже отец отступился. А мамы не было; она перед тем уехала в район на совещание учителей и там не знала ничего о Шурочкиной болезни. Шурочка часто звала ее: «Мама! Мамоchка моя!» И отец

с тоской гладил ее лоб, щеки, отвечал шепотом, глотая слезы: «Приедет скоро наша мама, доченька... Чутко погоди...»

Приходила фельдшерница Лида, садилась на табурет, рядом со скрипучей деревянной кровати, на которой обычно спали отец с матерью, а теперь металась в жару Шурочка. Халат фельдшерницы был изъеден сулемой, и сквозя дыры проглядывало нарядное платье, из «порточной» материи — сатина в синие и белые широкие полосы.

Фельдшерница зашпицовала холодными мягкими пальцами кожу на тоненькой Шурочкиной руке повыше локтя, быстро вонзала иглу. И Шурочка слабо улыбалась пересохшими губами этой мгновенной боли, помня уже после нее облегчение.

— Ничего, девонька, ничего, маленькая, — приговаривала фельдшерница, поглаживая ледяной проспиртованной ваткой Шурочкину руку в месте укола, — все обойдется.

— Уж не знаю, какое вам спасибо говорить, Лида. — Отец мял пальцами тяжелый свой подбородок. — Если б не вы... Ну, как? Оклемается? Надеетесь, выживет?

— Думать так нельзя, не то что говорить, — вскидывалась на него фельдшерница. — Конечно, выживет...

Засыпая, Шурочка видела их рядом. Они сидели за столом, да еще маленькие, вытянутые смешно отражались на сияющем самоварном боку.

Отец, темноволосый, синеглазый, со щегольскими усиками, но какой уж день небритый, сидел, подперев голову кулаками, и время от времени потирал ладонью лицо, будто умывая. И Шурочке мерещилось, что он плачет, и она ласково уговаривала его про себя: «Не плачьте, папаня, не плачьте, миленький. Я вас люблю крепче некуда...»

А у фельдшерницы Лиды золотистые локоны весело обрамляли румяные щеки. Она говорила отцу негромко:

— Ну, как не стыдно, Иван Тихонович. Нельзя же так допускать себя. Успокоиться надо... У меня еще камфара есть... Тут очень важно сердце подержать.

Отец горбил плечи, кивал, соглашаясь, и прикладывал рукав пиджака к глазам.

Горела керосиновая лампа, и, колеблясь, язычок пламени тасовал по бревенчатым стенам их длинные тени.

Метель бушевала больше недели, а улеглась, и — будто в ней было все дело — пошла на убыль Шурочкина болезнь.

Наконец и мама приехала. От родственницы тети Фроси привели брата Николашу. К Шурочке он не подходил, а, забравшись под стол, таращился на нее оттуда и все спрашивал боязливо:

— Ты не померла еще? Ты таперича здоровая? Не заразная?

Шурочка с постели отвечала ему тоненьким голоском горделиво:

— Я почти здоровая, еще только некрепкая... Папаня говорит, я со смертью совладала.

К вечеру фельдшерница Лида пришла делать укол в последний раз. Уж тут, конечно, Шурочка покусила, желая всем показать, что уколы — мука мученическая, а не забава какая...

Потом отец, мать, Николаша, фельдшерница Лида пили чай с конфетами и сушками из раймага.

— Я вам признательна на всю жизнь, — говорила мать фельдшернице. — Я перед вами в долгу неоплатном. Вам бы дальше учиться, у вас талант врача. Сейчас это один из важнейших факторов развития страны — молодые образованные советские специалисты.

От этих похвал фельдшерица мучительно краснела и, не отвечая, наклоняла голову низко к столу.

Шурочка с постели вглядывалась в них и так их всех любила, что слезы катились из глаз; и она страстно целовала целлулоидное холодное личико городской куклы, привезенной ей в подарок мамой.

Отец ушел провожать фельдшерицу и не вернулся.

Увидела его Шурочка снова дней через десять.

Посреди избы он складывал в маленький баул книжки и тетради. Мать молча смотрела, потом вытащила из комода его праздничную рубашку со скрепленными булавкой концами воротничка, синий в белый горох галстук...

Была середина февраля. Но небо, и солнце, и мягкая синева снега ярким весенним светом ложились в окна, сверкая осколками елочных украшений, которыми были обсыпаны бугры ваты между рамами. И капель заседала маленькими брызгами наружные стекла до половины.

Отец сказал глухо:

— Прости, если можешь, Катя...

Мать не отвечала, только побледнела сильно; и лицо у нее стало таким прекрасным, что Шурочка, взглянув на него из своего угла, испугалась и спряталась под толстое стеганое одеяло.

Она лежала в душной темноте, жадно вслушиваясь в глухие звуки шагов, в стук дверей — в доме, потом в сенях... Она долго лежала так, и уже больше никогда не увидела отца живым.

Прежде Шурочка с закрытыми глазами, по звукам могла определить, что и как в семье. Легкая походка отца по дому — проверяя тетради, он любил расхаживать — настроение веселое; ступает тяжело, да еще ноги ищут скрипучую половицу, значит, чем-то расстроен... Напевает ли мать утром, с каким поспивотом гребень расчесывает ее длинные волосы, как стучит стерженек рукомойника — все, буквально все имело свой особый смысл. А уж если за дощатой перегородкой на кухне мягко шлепало сито, это пророчило пироги или блины, гостей, предвещало, что отец станет петь, будет шумно и весело и Шурочку заставят читать стихи.

Теперь сито шлепало к приходу тети Фроси. Она являлась к вечеру, много ела, потом, словно томямая избытком дородного тела, долго сидела, разваливаясь, — отдыхала, и уж только после начинала свой, всегда один и тот же разговор.

— Сучка, сучка она, фельдшерица эта, — убеждающе говорила тетя Фрося, наваливая на край стола, отчего груди ее сходились и опорой выполняли из распахнутого ворота маркизетовой кофточки. — Змея-разлучница... Сволота гибельная...

И мать не останавливала ее брань, как обычно прежде, если кто-то начинал ругаться при детях. Она жадно слушала, придвинувшись к тете Фросе, будто единственную отраду жизни находила теперь в этих словах.

Тетя Фрося кружевным платочком вытирала пот на русских усиках над верхней мясистой губой. Ей нравилась роль житейской наставницы для образованной родственницы.

— Ты не тоскуй, не тоскуй, — твердила она матери, — не изводишь. Уезжай в город. Коленкуй нам отдай. У нас своих нет; его шибче родного любим и жалеем... А эту, — кивала она в сторону притемненного угла у печки, где стала проводить большую часть времени Шурочка, — эту... хоть в детский дом на время. Или пускай они ее берут. Через нее сошлись, пусть и нянькаются с ней. Хозяйство нам оставь, а сама в город поезжай. Ты молодая, грамотная — в городе сразу устроишься. Детей по-

желаешь, после возьмешь. Время пройдет — беду свою забудешь... Мужики-то все как один таковы... А время вылечит. Оно доброе — все лечит...

— Лечить-то оно лечит, — отвечала мать, — только грустная эта медицина.

— На нее б, стерву, анонимку настроичь в район. Сейчас ее — под микитки... Она попа лечить ходила, вот те крест святой...

Мать отрицательно качала головой, говорила с тоской:

— Любовь у них, Фрося... любовь...

— Брезгуешь, — ожесточалась тетя Фрося. — Она твою семью порушила — ничего, а ты кобенишься; об детях бы подумала...

— Любовь у них...

— Эк заладила — любовь... Они к лету уезжать собираются, уедут, будешь тогда локотки кусать. Я вот сама, своей рукой.

— Не смей! — хватала ее за руки мать. — Не смей...

«Любовь», — слышала Шурочка; и это слово, как еще совсем недавно слово «смерть», точило в ее душе какое-то холодное острие, пугавшее привычную радость жизни, заставлявшее все сжиматься в горячий, душивший грудь комочек. «Любовь» означала непонятную, мучительную разлуку, в которой никто не мог быть повинен — ни отец, ни мать, ни даже фельдшерица Лида, потому что в Шурочкиных глазах они были добрыми, хорошими людьми. Но от разговоров тети Фроси, а главное, оттого, что мать стала смотреть как-то мимо нее, Шурочка начала чувствовать, будто это она сама ненароком разбила что-то, что было их прошлой счастливой жизнью и чего теперь вовек не смог бы никто собрать заново.

А скоро два слова — «любовь» и «смерть» уж совсем прочно сопряглись в ее сознании.

В начале марта, поздним вечером отец пошел встречать Лиду, которая уехала в дальнее село и должна была возвращаться по дороге, намороженной на льду озера. И возле дороги отец провалился в нежданную полынь. К другому вечеру на наледи нашли только его коричневого каракуля кубанку, припорошенную снегом. Но около полыни были и другие следы; и пополз слух, что кулаки отомстили отцу за агитацию в пользу колхоза.

Мать начала пить. Старуха самогонщица, о которой отец говорил когда-то, что она самое большое зло советской деревни, все чаще появлялась у них в доме; хозяйски рассматривала, ощупывала вещи, словно все они уже принадлежали ей, и только тяжело было унести враз... Исчезло праздничное платье матери, ее белая пуховая шаль. А швейную машинку забрала к себе тетя Фрося, сказав, что так будет надежнее.

— Не пей, мама, — умоляла Шурочка. — Мы будем хорошо жить. Я учить стану лучше всех... Видишь — я и по дому и с Николашей...

Мать прижимала ее к себе, шептала горячо:

— Все, Шурок! Все, доченька... Новую жизнь начнем...

Весной, когда буйная черемуха отравила все окрест дурманом белоснежного своего кипения, мальчишки, рыбачившие в дальней озерной заводи, наткнулись на всплывший труп Шурочкиного отца.

Из района приехал следователь. Были извлечены из тела две пули-самоделки, и установлено, что, раненного, его спустили под лед... Но кто, что — уже не сыскать.

На кладбище тетя Фрося поддерживала мать под руки и все косила зло в ту сторону, где в отдалении, выше по кладбищенскому косогору, стояла у старой липы фельдшерка Лида. И многие смотрели на нее, отчего Шурочке было страшно за фельдшерку, и она не понимала, зачем Лида пришла, зачем стоит так — на виду у всех.

«Уходите!» — хотелось крикнуть Шурочке.

— Я ей к могиле шагу не дам сделать! — громко и грозно искала тетя Фрося одобрения у окружающих. — Ишь, бесстыжая!

После всех и фельдшерка Лида в черном платье и платье, очень прямая, на негнущихся ногах подошла к могиле, наклонилась, взяла ком земли и, зажавшись, кинула неловко.

Тетя Фрося рванулась было к ней, но мать удержала ее.

— Не трогай, — тускло прошептала она. — Прошу...

Мать умерла тем же летом.

Николаша уже с весны жил у тети Фроси. Шурочку хотела забрать к себе Лида, и Шурочке думалось об этом, но тетя Фрося встала на дыбы. Она бегала и в сельсовет и по домам, оповещая всюду и всех, что фельдшерка жаждет прибрать к рукам хозяйство сирот...

И Шурочку отвезли в городской детский дом.

Глава вторая

Странно было после деревянного дома, с его знакомыми до малой щелки углами, очутиться в этих каменных хоромах.

Здесь, в бывшем монастыре, и стены разбухли непомерной толщиной, и сводчатые крутые потолки нависали тяжело; а по потолкам, и по стенам, и в коридорах, и в спальнях, и в столовой сквозил свежий побелки нет-нет да просвечивали коричневые лица, руки, зеленые, красные, синие куски одежды.

Шурочка прекрасно знала, что все это нарисовано и никаких богов живьем нет, что их выдумали попы, чтобы лучше эксплуатировать трудящихся, но, просыпаясь ночью, она боялась пошевелиться. Сочающийся из дверной щели свет слабенькой коридорной лампочки с неожиданной силой вырывал из тумана побелки на стене, против Шурочкиной койки, чьи-то живые глаза, которые безотрывно смотрели на Шурочку. И под этим пристальным, но безучастным взглядом она чувствовала себя беспомощной, сиротливое ее одиночество умножалось; она тихо плакала и засыпала в слезах.

Ей бы с кем-нибудь сдружиться из здешних «монастырских», но все мешало — открытость общей жизни, непривычная суeta и то, что сильные жили сытнее слабых. Да и смеялись над ней, что много читает, что ходит всегда в пионерском галстуке — одной из немногих оставшихся у нее домашних вещей. Но не насмешки были самым мучительным для нее, а любопытство, которое притягивало к ней старших девочек, прознавших ее историю. Их на томительном пороге во взрослую жизнь жгуче интересовали подробности такой роковой, смертельной любви, и они усердствовали, выпытывая их у Шу-

рочки. Она не отвечала никогда, только бледнела, опускала голову и старалась поскорее отойти. Оттого в общем мнении быстро она была зачтена в угрюмые чужаки, и ее при всяком удобном случае стали поддразнивать.

Однажды, придравшись к пустому, три старшие девочки хотели побить ее в деревянном сарае, где складывали поленицу колотых впрок на зиму дров. Но едва подступили к ней и только поняла Шурочка по их злым, усмешливым лицам, что они хотят драться, как неожиданно даже для себя самой схватила она с земли тяжелый колун, подняла над головой и замерла молча, со страхом сознавая, что колун не защита, потому что человека ей никогда не ударить. И она хотела усосветить их, сказать, что в жизни ее пальцем никто не тронул, что трое против одного — нечестно, но горло ей свело и не выдать было ни слова. Однако, к ее удивлению, отчаянная решимость защищаться оказалась красноречивее разговора: девочки испуганно отошли.

С того дня Шурочку оставили в покое.

Робко начала она присматриваться к ребятам. Две сестрички-погодки, белесые, синеглазые, неразлучные и веселые, больше других нравились ей; и они к ней были хороши; да что-то неясное, болезненное мешало сдружиться с ними по-настоящему.

Шурочка сама не понимала, что сердце ее, словно сердце взрослого, много пережившего человека, боясь разлук и внезапных потерь, остерегается даже простой человеческой привязанности. Но оно же и жаждало хотя бы ее, пытаясь восстановить в самом себе тот мир любви, который был обыден и незаметен, когда она обладала им в семье, но, рухнувший, ощущался самым прекрасным, о чем можно было мечтать в жизни.

И Шурочке полюбилась Конопель — серая кобыла с крупной, вечно понурой головой, с отвислым животом, с костями, выпирающими так, что казалось вот-вот они протрут ей кожу до дыр, с хвостом, желтым от мочи и навоза и отяжеленным репьями. На этой бывшей орловской рысачке, занесенной судьбой с какого-то ипподрома в полуразваленный сарайчик, возили в детском доме продукты, дрова, воду.

Прежде особого внимания на живность Шурочка не обращала. Трактор пленял ее воображение. Лошади, коровы, собаки не шли ни в какое сравнение с ним — «пришельцем из мира будущего красного села», как называл трактор отец. Вместе с ребятами она бегала смотреть пахоту стального коня и была горда, когда отец как-то раз попросил тракториста и тот посадил Шурочку рядом с собой на грохочущую, трясущуюся, дурманно воняющую машину и провез на зависть всем по деревне.

Нет, серая бедолага Конопель не имела сказочной тракторной силы, которую когда-то, в беззаботные дни было опаско и счастливо сознавать хоть самую малость покорной себе. Зато лошади сейчас обладала в глазах Шурочки гораздо большим могуществом — казалось, она знает и понимает всю тоску Шурочкиной жизни и сочувствует ей.

Шурочка открыла это случайно. Она была дежурной и возила воду для кухни. Она сидела на расхлябанной старой телеге, спиной прислонясь и холодной, утробно всплывающей бочке, поставив свои прихваченные красным загаром, исцарапанные ноги на дергающуюся оглоблю. Июльский ветер носил, разбрасывал по низкорослой окраине городка и снова поднимал горячие букеты пыли, которая поскрипывала на зубах. Равномерно взвизгивали несмазанные оси. Мысли сочлились у Шуроч-

ки привычно-невеселые; в лад им она вздохнула тяжело. И лошадь вдруг остановилась, точно вздох этот натянул веревочные вожжи, повернула к Шурочке чубатую голову с большим фиолетовым, обсиженным мухами глазом и тоже вздохнула.

И мгновенное сочувствие существа, которому, чудилось, просто не могло быть ни до чего дела, так явно оно уже прибито жизнью, отозвалось в душе Шурочки и благодарностью, и жалостью, и тонкой, но прочной паутинкой любви привязало ее к лошади.

При детдоме держали еще одну лошадь, цыбастого, с укороченным туловищем при непомерно длинных ногах жеребца. Он был не чета Конопели — сытый баловень, которого закладывали в лакированную бричку самого завхоза.

Этот невысокий, коренастый человек с ястребиным носом меж красноватых, дряблых щечек, с глубокими, скособоченными влево морщинами на узком лбу ходил обычно по монастырю, заложив два пальца за борт френча, и начищенные сапоги его властно поскрипывали. Умывался завхоз одеколоном; щедро наливая его в горсть, плескал на лицо, влажной ладонью охлопывал грудь, плечи. Липкий, приторный запах сопровождал его и даже предупреждал неожиданные его появления, которых боялись и воспитанники, и воспитатели, и молоденькая заведующая.

Завхоз отличил Шурочку при первой же встрече, столкнувшись с ней один на один в коридоре монастыря.

— Пионерочка? — щуря глаза, спросил он с деланным безразличием. — Сняла бы красную косыночку... — Он протянул руку и чуть подергал за концы галстука.

— Это пионерский галстук, — объяснила Шурочка простодушно. — Меня дома еще приняли... Я честно ношу...

— Сняла бы, сняла, — с ласковостью в голосе настойчиво посоветовал завхоз и усмехнулся. — Все ж у нас монастырь, а не клуб какой-нибудь «Красный Профинтерн».

Не оставил он без внимания и Шурочкину заботу о лошади.

— Смотри-ка, пионерочка, а скотину любит. Молодец, — похвалил он, проходя как-то мимо сарая, возле которого Шурочка на свежем воздухе чистила Конопель. — Ты б жене моей помогать приходила. Глядишь — и подхарчишься у нас чем, не всё ж на казенном. Другие вона — не брезгают...

К завхозике Шурочка не пошла, хотя многие ребята рады были подработать лишний кусок хлеба на ее богатом огороде или в свинарнике. «Рабы не мы, мы не рабы», — помнила она завет букваря, многократно повторенный и иными словами отцом и матерью. Легче было ходить полуголодной, стараться быстрее засыпать вечером, чтобы не думать о еде, чем слышать и повиноваться повелительным окрикам худосочной, жилистой завхозики: «Та работайте ж, деточки мои, не ленитесь... Чище, чище пропалывайте, сиротки, не задарма ж. Небось, руки не отвалятся».

Ее визгливый голос да и все начальственные повадки завхоза и его жены, неизвестно как и по какому праву прибравших к рукам столько людей, Шурочка ненавидела. Но, не зная, как бороться с ними, она хотела бежать подальше от монастыря и, может быть, однажды и решилась на это, если бы не Конопель.

Серая кобыла ожила. Малость затянуло ее мослы;

залоснилась прежде тусклая шерсть, даже «яблоки» проявились на ней.

В этих переменах Шурочка ощущала не случайную, а действие своей доброй силы, о владении которой она прежде и не догадывалась. И осознание этого заслоняло несправедливости здешней жизни.

Вечерами Шурочка старалась водить Конопель купаться на реку, на длинную песчаную отмель под монастырской горой. Глубина на отмели была кобыле чуть выше бабок. Осторожно войдя в прогретую за день солнцем прозрачную воду, пригубив ее, постояв, пофыркивая, Конопель всякий раз неожиданно для Шурочки срывалась с места и пыталась пробежать рысью. Старые ее ноги с грубыми узлами больных суставов вспоминали, верно, прежнюю молодую жизнь и, чередуясь на ходу в правильной рыси, как бы даже подтанцовывая, несли грузное, изуродованное годами и работой тело; но, украшая его, пушились по ветру серебристые хвост и грива.

Шурочка смотрела на лошадь, и губы ее сами расплывались в улыбку, будто с той же беззаботностью бежало что-то в ней самой, и так же леденисто и шумно рвались брызги, так же плыли в небе сероватые облака, простеганные красными нитями закатного солнца, и так же река тащила к рыжему обрыву за поворот умельчающуюся сеть легкой ряби, и черные складные ножики стрижей с трещающим свистом рассекали воздух у самой воды.

Это непрерывное движение мира то согревало, заставляло шевелиться, оживать камешек Шурочкиного сердца, то вовсе властно и нежно подхватывало ее, маленькую, полуголодную, сидящую, поджав ноги, на сером песке, и несло в чудесное, молчаливое еще будущее.

Тот год был скуден кормами. И в начале осени для серой кобылы это обернулось бедой. Весь фураж — овес, сено, ячмень, которыми худо-бедно снабжался детдом, — скормливался и оставался про запас двум коровам, свиньям, а еще курам завхоза да цыбастому жеребцу, считавшемуся тоже его собственностью. Конопели перепадала только солома.

Шурочка ходила выпрашивать для нее овес и сено у заведующей, та отсылала к завхозу. Завхоз кривился усмешкой:

— Ничо, не сдохнет... Не твое дело.

Шурочка носила лошади осиновые ветки, делилась своим хлебом, но долго делать это было невозможно. И однажды она не выдержала — из развалюхи-сарая, где стояла Конопель, она тайком ото всех прорыла лаз в вотчину завхоза, в амбар. Как-то ненастной ночью, нарочно не заснув, она выбралась из монастырских стен, в темноте, кутаясь в ватничек, пробежала через двор в сарай и, дрожа от страха, стыда и холода, протиснувшись в сытно пахнущий зерном и клевером, шебуршащий мышами беспросветный амбар. По сладковатому запаху найдя овес, она торопливо, на ощупь нагребла полную холщовую торбу его и полезла было с ней назад, но сучковатое бревно зацепило ее за хлястик ватника, и Шурочке помнилось, будто кто-то схватил ее. Она даже вскрикнула шепотом: «Ой!»

Потом она кормила Конопель и сама лущила в ладонях и с жадностью ела зерно.

Но ночные пиршества продолжались недолго. В одну из ночей, когда Шурочка с привычной уже ловкостью вылезала с торбой из-под амбара, над

ее головой звонко чиркнула спичка, зажегся фонарь «летучая мышь», и пьяноватый голос завхоза добродушно произнес:

— Попалась, пионерочка... — Он наклонился, схватил ее за волосы и поставил на ноги. — Воруешь! Знаешь, у кого воруешь? У меня... воруешь.. Подлюка!

— Лошадь общая, детдомовская... Ее кормить надо. Я вам говорила, — дрожащим голосом сказала Шурочка. — И овес тоже общественный, а не ваш, что вы им так...

— «Общественный»... — будто изумляясь, протянул завхоз. — Научили вас... Ах ты, гаденыш большевистский. Да ты знаешь, что такое хо-зя-ин?! Для чего хозяин?! Чтобы вас, быдло, держать вот так. — Он крутанул ее кошу на кулак и приподнял к своему пахнущему перегаром и одеколоном, перекошенному лицу. — Еще раз! Еще только раз! Я те, знаешь, што? Я те кишки выпущу, гвоздем к березке припилю и вокруг бегать заставлю... «Общественный», — повторил он расслабленно, отшвырнул Шурочку и, светя перед собой фонарем, покачиваясь, пошел прочь.

Через несколько дней, в воскресенье, завхоз влетел во двор монастыря на своей бричке и с ходу осадил седого от пота жеребца. Следом, немного погодя, шумно припылил чадающий автомобильчик с откинутым дерматиновым верхом, набитый пьяной компанией.

— Ну, чего, техника! С вас причитается, — прокричал им весело завхоз, слезая и строго следя за тем, как подбежавшие мальчишки распрягают жеребца. — Помойте тепленькой водичкой, поведите, пить сразу не давайте...

— От главного не отвлекайся! Не увиливай, — закричал один из приезжих, толстяк в кожаном пальто. — Доказывай...

— Обязательно, — сказал завхоз, пошел в сарай, где находилась Конопель, вывел ее и сам поставил на ременные развязки между двух столбов от бывших ворот.

Стали собираться ребята. И Шурочка подошла, недоумевающая, зачем завхозу и всей этой пьяной ватаге взрослых людей понадобилась старая лошадь.

— Товарищи, — обратился завхоз к друзьям. — Я давеча утверждал и стою на своем, что человек — единственный царь природы, победитель над ее неразумной силой. Все покорно нам! А чего непокорно, то мы обязаны покорить. Но есть, которые не верят в это. Наш друг, — он ткнул пальцем в сторону толстяка в кожаном пальто, — к примеру, сомневается, станет ли лошадь пить самогон. Сегодня он в этом сомневается, а завтра, глядишь, во что другое веру потеряет. И я, товарищи, говорю этому Фоме-неверующему: ста-нет! Потому мы, товарищи, люди и можем ее обучить. Тащите, товарищи, сюда, — приказал он.

Из большого бидона, стоявшего в машине, услужливо быстро перелили в брезентовое ведро самогон, и толстяк, изогнувшись вбок, засеменил с ним к завхозу.

— Да не мне ж, — остановил его завхоз. — Мой организм его, слава богу, принимает. — Он подмигнул приятелям. — Вон кобыле тащи.

Путаясь в полах кожаного пальто, толстяк поспешил к лошади, встал перед ней, поднес к ее морде ведро. Ребята смеялись, глядя на толстяка и на все это представление, которое бесплатно давали дурашливые от вина взрослые.

И Шурочка смеялась; ей ли не знать, что Конопель, пившая и воду-то помалу, к самогону не притронется; и одновременно с тем ей было до озноба любопытно слушать, как завхоз, еще недавно котивший ее «большевистским гаденышем», сейчас так смачно произносит «товарищи», будто это его любимое слово.

— Нет! Хоша и пшеничный самогон, а кобыле не по нутру, — заметил один из завхозовских дружков.

— Вкусу у нее к нему нету! — выкрикнул другой.

— Не может — научим, не хочет — заставим, — спокойно сказал завхоз, отгибая стоявший до того торчком черный бархатный воротничок на своем пальто.

Он вытащил из-под сиденья брички длинный бич, новенький, желтый еще, искусно сплетенный из тонко нарезанных полосок сыромятной кожи, с лохматушкой на конце.

— Меня не зашиби, — испугался толстяк.

— Ничо, — отвечал завхоз сквозь зубы, делая несколько быстрых шагов к Конопели, и ловко, с оттяжкой щелкнул бичом и тут же еще раз.

Два рубца, словно две новые вены, вздулись у самого паха кобылы.

От выстрела бича жеребец приложил уши, присел на задние ноги, шарахнулся из рук мальчишек — так, что они его едва удержали.

— К морде ей ведро! Макни! Макни! — азартно орал завхоз толстяку. — Чтоб соображала, чего от нее желают.

Он хлестнул бичом снова. И снова...

Все застыло в глазах у Шурочки, окаменело, как монастырские стены, замыкающие двор; и сама она на мгновение, точно обратилась в камень, не могла шевельнуться. Но когда она увидела, как под ударами бича, оседая на задние ноги, растягивая шею, задирая голову, скаля старые зубы в какой-то страшной улыбке, пятится Конопель, напрасно стараясь сорваться с развязок, Шурочка бросилась к завхозу. Все слова вылетели у нее из головы, она закричала тонко:

— Аааа! — и повисла на той руке завхоза, что держала бич; хотела укусить.

Но завхоз ловко и аккуратно высвободил руку, сказал терпеливо и трезво:

— Девочка, стань-ка в сторонку, не задеть бы тебя ненароком... — И, обращаясь к друзьям, посетовал громко: — Жалостливые больно. Плоды неправильного воспитания. А нам, товарищи, другой человек нужен! — Он возвысил голос: — Человек-кремь!

Подбежали сестрички-погодки, зашептали, тараща испуганно синенькие глаза:

— Он пьяный, пьяный... Прибить может... — И оттащили Шурочку под руки в сторонку.

Она билась у них в руках в плаче, а завхоз все щелкал бичом, пока толстяк, старавшийся держать ведро так, чтобы морда кобылы не вылезала из него, не закричал удивленно:

— Причастилась! Ей-ей причастилась!

Горло лошади сводило судорогой.

— Сейчас взбунтуется, — предположил один у машины.

— У Михеича не побунтуешь, укорот враз даст...

— Все ж пьет. Отдрессировал, как в цирке.

— Самогон кто пить не будет...

— Об чем и спор был, — удовлетворенно сказал завхоз, вытаскивая белый платок и утирая пот со лба. — Сейчас она заправится, а после покатаю еще вас на ней.

И точно, дрожащую, шатающуюся Конопель зало-

жили в лакированную бричку, и вся компания, горланя, свистя, размахивая руками, покатила за ворота.

К утру серая в яблоках кобыла начала подыхать в своем сарае, но ее успели прирезать, и на обед завхоз щедро объявил картофельный суп со свежей кониной.

В тот же день Шурочка вышла за ворота монастыря, никем не замеченная, выбралась на большую дорогу и двинулась в свою деревню, не думая, впрочем, куда и к кому идет. Жизнь ее сосредоточилась на этом движении. Путь был еще не близкий. От голода ее подташнивало, и голова вдруг начинала горячо кружиться. Когда ее настиг вечер, она, чтобы набраться сил, решила заночевать в лесу. Она не чувствовала ни обычных своих страхов перед темнотой, ни своего одиночества, ей было безразлично, где она, что с ней будет. Она нашла яму, полную сухой опали, зарылась в хрустящую пыльную листву, поджала ноги к животу, голову — к груди, желая поглубже закутаться в большой, не по росту ватник, и сразу уснула.

Разбудил ее необычный сон. Ей приснилось, что множество маленьких лошадок, все, как одна, похожие на Конопель, бегут вокруг нее и настойчиво и часто стучат копытцами — зовут ее с собой.

Шурочка открыла глаза, высунула голову из своей берлоги и, еще не понимая, где она, увидела, что солнце уже поднялось довольно высоко. С осенней скупостью оно чуть пригревало лес. Все листья: и блеклые, фиолетовые на земле, и свежееопавшие, еще желтые и красные, и те счастливы, всё держащиеся на ветках берез и осин, золотые и пестрые, — были одинаково подернуты бархатистым инеем или, если солнечные лучи пятнали их, только обведены серебряной его каймой. Иней таял, и капель с сухим мягким шорохом била редким дождем по лесной земле.

Вдруг все сразу — в одно дыхание — вспомнилось Шурочке: мать с отцом, завхоз, Конопель, и она подумала, что даже лес, глухой и слепой, плачет над ее жизнью. Но он плакал такими светлыми слезами, что в них растворялось вчерашнее ее отупение; и она начинала чувствовать и острую жалость к самой себе и страстное желание спастись — как-то ослабить так туго стянувший ее узел судьбы.

— Иди домой, — приказала она себе громко, вслух.

Она встала, вылезла из ямы, отряхнулась от листьев, перешнуровала крепче ботинки, подтянула нитяные, перевязанные выше колен веревочками чулки, сорвала несколько листьев с низко склоненной ветки осины, пожевала холодную горечь и пошла к дороге сквозь наливающийся солнцем плачущий лес.

А дома-то как не было!

Вместо дома — свежий провал в земле с осыпающимися краями, с лужицей на дне, в которой спокойно отражалось темно-синее небо со звездами. Даже на месте яблонь, посаженных отцом прошлой осенью, чернели ямы. Лишь скамья — та же самая, по-городскому со спинкой из жердочек, — стояла между ними, как бы указывая, что перед ней действительно то место, к которому она шла.

У Шурочки ноги ослабли, она присела на скамейку и забылась. Кто-то проходил, окликал ее, она не отвечала. С сонливым шумом слетевший от пустых полей ветер пощипал ей щеки ночным морозцем, заставил съежиться, спрятать руки в рукава ватника.

«Хоть бы помереть здесь, — замечталась она тихоньку. — Если здесь помру, похоронят небось рядом с маманей. Николаша придет, поплачет...»

Знакомый голос неожиданно крикнул:

— Шурочка!

И фельдшерица Лида, бледная, в распахнутом плисовом жакете, с непокрытой головой, подбежала, присела перед ней на корточки, дрожащими руками быстро застегнула ей верхнюю пуговицу ватника.

— Мальчишки примчались, сказали — ты здесь. Я — сюда! — говорила она, тяжело дыша. — И праздника...

— Где дом наш? — ровно спросила Шурочка.

— Продала все тетя Фрося. Дом свезли... А они с мужем уехали.

— И Николашу забрали?

Лида покивала задумчиво, встрепенулась:

— Я ж тебе писала. В Москву ездила, оттуда писала. В посылке записка была. Получала ли ты посылки?

— Нет.

— А совсем недавно?

— Нет.

— Я-то думала, не отвечаешь, значит — не хочешь... А ехать к тебе боялась, думала — прижмись ты там...

— Чего «не хочу»? — удивилась Шурочка.

— Боже мой, какое счастье, что ты здесь. Я-то завтра насовсем уезжаю. Я в Москве в институт поступила. На врача буду учиться и работать в больнице. — Она внезапно обняла Шурочку и зашептала в самое ухо горячо и робко: — Хочешь в Москву? Поедем со мной, Шурочка... Поедем, девонька моя...

И Шурочка кивнула согласно.

У жизни раскраска сорочья. Еще вчера, кажется, было черным-черно, и не знаешь, куда деться, и зачем все, и за что такая мука мученическая; но вот тут же, рядом, — свет... Вот уже едет Шурочка в вагоне, в тепле, среди многих других людей и около — фельдшерица Лида; рука ее лежит на Шурочкином плече, и Шурочка иногда, будто от рывка поезда, прижимается на мгновение щекой к ее горячим пальцам. А на желтом столике, под окном между скамьями, чего только нет вареная в мундире картошка, большой шматок сала на тряпице, соленые огурцы, рассыпчатое, как мед, топленое масло в баночке, сельдь, луковицы и медный чайник с кипятком, за ним на станции бегал красноармеец с третьей полки, которому Лида ловко вытащила из глаза маленький уголек от паровозной копоти. Основное же на столе — хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Надо только стараться брать еду не часто и понемногу, чтобы никто, а главное, фельдшерица Лида не подумали бы, что она, Шурочка, жадина.

С другого конца вагона в шум движения то и дело врывается бесшабашным весельем чья-то гармошка; и грудные дети, будто сговорясь, по очереди ударяются в рев...

И так это необыкновенно, так сладостно — ехать!..

☆☆☆

Вспоминая прошлое, Александра Ивановна была уверена, что именно с тех пор полюбила она дорогу за неотвратимость удаления от прошлого, безоговорочное обновление жизни, которые радостно



и сильно ощущаются и в однообразных пересудах колес с рельсами, и в быстром мелькании всего ближнего за окном, и в плавном кружении отдаленного, и в разговорах, то недомолвками, то откровенностью внезапно сближающих пониманием людей, прежде незнакомых и знакомых лишь на краткий срок общего пути, но остающихся друг у друга в душе счастливым чувством связи со всем множеством живущих на земле.

Перед этим полевым сезоном Александра Иванова, как никогда раньше, считала дни до того момента, когда очутится она в поезде и дорога измелчит все городские заботы; даже мучительные переживания из-за предполагаемого переезда забудутся. «А возможно, и дом наш оставят в покое», — мечтала она в глубине души.

Мечты мечтами, но она должна была знать точно, будут ли их переселять в ближайшие полгода, или что-то застопорилось, и сроки получения новых квартир стали совсем иные, чем предполагали жильцы. От этого многое зависело — и то, когда она двинется в экспедицию, и то, должна ли вернуться раньше конца сезона.

Сборы лесоустроительной партии между тем шли своим чередом.

Уже были получены со склада и загромождали одну из комнат подвала, в котором находилась их контора, зеленые спальные мешки, огромные свертки прошлогодних вылинявших палаток, приборы в деревянных и металлических чехлах, треноги; уже закупались продукты. Явились и два парня — практиканты из техникума; оба длинноволосые, у обоих брюки тщательно обтягивали длинные ноги, а из переднего кармана брюк у каждого торчала алюминиевая расческа. Александра Ивановна все время сдерживалась, чтобы не пройти ехидным замечанием по поводу их расчесок и причесок... Она засадила практикантов за поверку приборов, а сама занялась аэроснимками и картами.

Практиканты что-то горячо лепетали ей о космических съемках и прочих современных методах; она же смотрела на карту и видела, что в прошлом году в управлении не зря предупреждали о трудностях нынешнего сезона.

Им достался настоящий медвежий угол — лесничество, отдаленное от населенных пунктов и запущенное. На аэроснимках почти не читались квартальные просеки; это означало волнения из-за точности восстановления их и великоватый для их партии объем рубок. Зато то и дело мелькало болотистое мелколесье; и Александра Ивановна уже ощущала его сырость, и комаров с мошкой, и особую, душную, валящую с ног влажность в жаркие дни.

Она старалась заранее настроить практикантов на трудности, но они только посмеивались, утверждая, что топоры для них — игрушки, что к зною и комарам они приучены. Такая, пусть даже шутейная, самоуверенность настораживала. Ей уже встречались бравирующие молодые люди, которые скисали в первые дни работы в поле настолько, что со слезами требовали расчета. Она-то знала, во что может стать экспедиции этот, сперва кажущийся милым разрыв между самонадеянностью незнания и буднями работы.

Александра Ивановна заставляла себя обходиться с практикантами похуже, но они как бы не обращали особого внимания на ее «вытики» — резвились вовсю. Единственное, что серьезно не давало им покоя, так это умение Александры Ивановны воссоздать стереозффект на паре смежных аэроснимков без стереоскопа, невооруженными глаза-

ми. Их обуял спортивный азарт, и они без конца тренировались настраивать глаза, чтобы видеть снимки так же рельефно, и то, что у них этот фокус не получался, только раздражало их.

Словом, они были мальчишки, глядя на которых Александра Ивановна особенно чувствовала, как по-детски ведет себя она сама. В ее положении уж давно пора было явиться пред светлые очи начальства и заявить со всей определенностью, что ехать в экспедицию она сейчас не может, что решается вопрос насущный — где быть ее дому.

Но за много лет привыкнув к работе, как к главной части своего существования в мире, она всякое отвлечение — болезнь ли, отдых ли — считала изменой чему-то очень важному и стыдилась всегда этого вынужденного безделья и томилась им. Да и не умела она просить за себя. Хорошо сознавая и веря в то, что нужна, даже незаменима в лесоустроительной партии, что без нее дело пойдет гораздо хуже, Александра Ивановна в то же время числила себя в обыденной жизни человеком самых заурядных потребностей, которому если что-то и необходимо, то лишь для того, чтобы можно было делать дело; точно как в лесу какому-нибудь неприхотливому дереву требуется самая малость — земля, вода, воздух и солнце, — чтобы творить назначенное природой.

Наконец Александра Ивановна собралась с духом и наутро пришла в кабинет начальника. Не присаживаясь, краснея и сбиваясь, все объяснила.

— О чем речь, Александра Ивановна, — сказал он спокойно, постукивая обручальным кольцом о край стола. — Оставайтесь в Москве, пока ордер не будет в ваших руках. Я за вас покомандую. Так и так я должен был туда ехать, поэтому ничего страшного. Важно, чтобы вы к концу июля появились, а то у меня отпуск в этом году в августе.

Она машинально кивнула. Он внимательно на нее посмотрел, очки его блеснули, белые морщины очень загорелого лица сложились в улыбку:

— Надеюсь, вы мне доверяете?

Не ожидая того, что он так легко согласится, Александра Ивановна молчала.

— Думаю, бумага от нашего заведения не будет лишней? — осведомился он.

— Я просто еще не знаю, что там надо...

— Так выясняйте. Квартира — дело великое... Особенно для вас, — добавил он с мягкостью в голосе, от которой у Александры Ивановны стиснуло сердце.

— Я вам очень признательна, — тихо сказала она.

Она вышла из кабинета и остановилась, глядя в сужающийся к темноте полумрак длинного подвального коридора. «Особенно для вас... особенно для вас, — повторяла она. — Что он этим хотел сказать? Что я одинока и немолода? Или что песенка моя в экспедиционной работе спета и мне остается устраивать личную жизнь?..»

Нет, лучше бы уж случилось то, чего она боялась: пусть бы уговаривал ехать, убеждал в том, что сезон без нее может стать неудачным, затяжным, накричал бы, наконец, только не это многозначительное, все понимающее сочувствие, от которого слабнут ноги, как в конце тяжелого маршрута.

☆☆☆

Дядя Вася явился вечером; и хотя он позвонил у входной двери три раза, то есть ровно столько, сколько положено было звонить по квартирному регламенту Александре Ивановне, открыла ему Де-

сятчикова, всегда, впрочем, успевающая к дверям прежде своих соседей. Она провела его к комнате Александры Ивановны в самый конец коридора, громко постучала, распахнула дверь и елейным голосом объявила:

— К вам Гость пожаловал.— Прибавила ворчливо: — Самим бы надо открывать.

Александра Ивановна сидела у огромного трехстворчатого, цвета слоновой кости, с позолотой шкафа Стекловых. Перед ней на письменном столе, который она нарочно передвинула от окна, чтобы быть спиной к шкафу и не мозолить им глаза, стоял пузатый чайник для заварки в красных цветах по бокам и той же масти чашка. Две толстые папки прошлых годов отчетов лесоустроителей лежали здесь же. Она принесла их со службы, чтобы хоть как-то работой смыть горечь разговора с начальником. Но, обнаружив в почтовом ящике свежий номер «Иностранной литературы», она вместо того, чтобы подбивать бабки старых цифр, заварила чай покрепче, пить который врачи ей настоятельно не рекомендовали, переоделась в халат, удобно устроилась у стола, забравшись с ногами в глубокое кресло, и, откусывая крепкими зубами сахар, прихлебывая горячий черный чай, принялась читать о чужой жизни, в ее искусно рассказанных печалях с удовольствием забывая свои.

— Простите,— сердито удивилась она неожиданному появлению Десятчиковой и дяди Васи, встала поспешно, нашарила босой ногой тапочки, надела их, засунула руки в карманы халата.

«Этого только не хватало,— подумала она с досадой.— И, кажется, пьяный...»

— Чертова баба,— шепотом проговорил дядя Вася, указывая через плечо на дверь кулаком, в котором была зажата свернутая в трубку бумага.

Шаги «чертовой бабы» прошаркали по коридору.

— Что вам надо? — громко спросила Александра Ивановна у дяди Васи.

Он прижал палец к губам и сделал несколько крадущихся шагов к столу.

— Да в чем дело, наконец?! — воскликнула Александра Ивановна.

— Я гляжу, вы горестная ходите... — продолжал он шепотом, прижимая к груди огромные кулаки и гоня вверх лохматые рыжие брови. — Не печальтесь. Я все узнал. Вам надо пойти в отдел распределения жилой площади, на третий этаж, в пятьдесят вторую комнату — к инспектору Цветковой.

— Зачем? — пожалла плечами Александра Ивановна. — Разве уже дают ордера?

— Тише, тише, — замахал он руками. — Переезжать-то вам, небось, к спеху.

— Точно известно, что переезжаем?!

— Ясное дело — точно. Когда туда пойдете, вам понадобится копия лицевого счета. Вы не беспокоитесь, — он обнажил в улыбку ряд металлических зубов, — я вам ее уже выписал. Сказал в домоуправлении, что, дескать, вы меня просили... Вот. — Он почему-то на цыпочках подошел к столу, развернул бумажную трубку и положил ее поверх папок с отчетами. — Это копия вашего лицевого счета.

— Я вам очень признательна, — растерянно поблагодарила она. — Но как-то... И почему...

— Ничего, ничего, — повторил он, толкая воздух впереди себя поднятыми руками и отступая к двери. — Извините на этом. Добрый вечер...

Он вышел.

«Чужой, в сущности, человек, — думала Александра Ивановна, удивляясь такому отношению к себе. — За много лет и двух слов не сказали... Странно... Надо было хоть чаем его напоить. Как неловко...»

— Зачем к тебе дядя Вася приходил? — осведомилась Оксана Михайловна, когда Александра Ивановна вошла в кухню за очередной порцией кипятка.

— Уж с ним дела иметь — смелой надо быть, — с удовольствием вклинилась Десятчикова. — У него жена, ох, и злоязыка, зараза; кого хошь сожрет. Она только давеча ругалась на него. Он пьяный напился, орал: «Никуда с тобой не поеду!» — и все матом да матом... Она говорит: хозяйничает он сегодня, а как переселится, мой верх будет... Он озорник, озорник, а боязливый...

— Да погодите, — остановила ее Оксана Михайловна. — Зачем же приходил?

— Сказал, что надо пойти узнать, когда будут давать ордера.

— Уже?! — обрадовалась Оксана Михайловна.

— Ай-ай, — изумилась Десятчикова. — И что это он к вам с советами?

Александра Ивановна пожалла плечами.

— Шурочка у нас всегда привлекала мужчин, — миролюбиво, невзначай заметила Оксана Михайловна и, не поворачиваясь, продолжая раскатывать тесто, ввернула: — Уж я знаю, мой из рейса приедет, так непременно первым делом спросит: «Ну, как Шурочка? Уехала в экспедицию?»

— Точно, — мрачно поддакнула Десятчикова.

Александр Ивановне захотелось сейчас же выйти из закопченной, с жирной пылью на стенах и потолке кухни, но мысль о том, что это может обидеть соседей в последние дни их жизни под одной крышей, остановила ее; она промолчала, оставшись ждать, когда закипит чайник.

И, не выдержав этого молчания, Оксана Михайловна повернулась, одним движением стряхнула муку с рук и, быстро подойдя, осторожно обхватила Александра Ивановну за шею, прижалась к ней.

— Не сердись, Шурочка... Это я так. — Она вздохнула. — Разведемся, и я даже не знаю, как без тебя... — И звонко чмокнула Александра Ивановну в щеку.

Лоб Александры Ивановны забелелся, и она ладонью стерла муку.

— Все, завтра иду на разведку, — улыбнулась она. — Пора знать точно.

— Пора, пора, — согласилась Оксана Михайловна. — Максим-то не едет... Не случилось ли чего...

— Ничего, задержался, — утешила ее Александра Ивановна. — Сама подумай, дорога какая — от Тихого океана. Приедет, никуда не денется.



Несколько обитых черным дерматином дверей по обеим сторонам коридора перемежались в простенках большими фотографиями современных жилых домов. Дождаясь приема к инспектору Цветковой, Александра Ивановна рассматривала их, невольно примеряясь, в каком из них жить.

Все составлявшие здешнюю очередь были наэлектризованы важностью того, что с ними должно было произойти. И по блеску глаз, по то и дело вспыхивающему отрывистому разговору о метраже и этажах Александра Ивановна чувствовала это состояние окружающих и, заражаясь им, робела — как-то все обернется?

Несмотря на прежнюю свою решимость, ей хотелось потихоньку улизнуть отсюда. И лишь мысль о том, что придется существовать все в той же расслабляющей неопределенности, удерживала ее на казенном стуле. Как ни старалась она отвлечься фотографиями, обмануть себя было невозможно; ее даже в жар бросало от дурных предчувствий. Но

оптимизм, всегда скрашивающий ее жизнь, их и сейчас быстро отсеивал и ткал розовую картину: она входит, перед ней милая молодая женщина, которая ласково говорит ей: «Конечно, конечно... Можете не волноваться. Мы все понимаем и посодействуем вам».

Но выходявшие из кабинета со строгой табличкой «Инспектор Цветкова Галина Андреевна» были озабочены настолько, что красивая ее мечта едва тлела. А главное, сидящая в очереди за Александрой Ивановной морщинистая дама в рыжем, под мальчишку зачесанном парике, увешенная, как фруктовое дерево в урожайный год плодами, бирюзовыми с золотом украшениями, без умолку твердила о том, что Цветкова — ужасный человек, что она измотала ей последние нервы своей наглой несговорчивостью. «Вы первый раз к ней... Ну, вам предстоит много неприятных минут...»

Две девушки, сидевшие по другую сторону от бирюзовой дамы, кивали подтверждающе всему, что она говорила, при этом их глаза смотрели так грустно, что им-то не верить было невозможно.

Наконец дама подтолкнула ее:

— Идите, ваша очередь. И познергичнее там. Эти люди не понимают интеллигентного языка.

Александра Ивановна вошла в небольшой кабинет. За одним столом никого не было, за другим несколько боком сидела молодая женщина в цветастом летнем платье и зеленой мохеровой кофте, накинута на плечи. Женщина оторвалась от бумаг и подняла голову с крашеной до белесости башней прически. Она была бы даже красива, если бы большие глаза не запали так глубоко в глазницы, и не тяжеловатый подбородок, и не эти раздавшиеся, почти мужские плечи. Сжав маленький рот, женщина выжидающе смотрела на вошедшую.

— Здравствуйте. Вы Цветкова? — обратилась к ней неуверенно Александра Ивановна.

Женщина строго кивнула.

— Мне сказали, что вы можете объяснить, когда и куда будут переселять жильцов нашего дома. — Женщина молчала, и Александра Ивановна затормозилась говорить. — Мне это очень важно. Я должна уезжать... На долгий срок...

Цветкова жестом остановила ее.

— Простите, а где вы живете?

Голос у нее был низковатый, приятный. Александра Ивановна ответила.

— Да вы садитесь, — предложила Цветкова.

Александра Ивановна поблагодарила и присела на краешек стула напротив Цветковой, которая, нахмурив брови, отчего между ними залегла глубокая складка, стала просматривать картотеку, стоявшую перед ней в плексигласовом ящике.

У Галины Андреевны была прекрасная, на зависть всем сослуживцам, память, которой она гордилась; и она, конечно, знала судьбу этого дома, потому что ей выпало заниматься им; но она любила и считала обязательным показывать посетителям свою деловитость именно перебиранием бумаг.

— М-да. Вероятно, скоро начнем переселять ваш дом.

— Значит, слухи верны?

— Ну, не всегда надо доверять слухам, — подняла в улыбке кончики губ Цветкова. — А что, собственно, вы желаете?

— Я должна выезжать в экспедицию...

— Вы геолог? — заинтересованно осведомилась Цветкова.

Ее дочь поступала в геологический институт и сегодня пошла узнавать результат первого, очень важного экзамена — письменного по математике.

— Нет. Я лесоустроитель. Мы устанавливаем границы лесхозов, разбиваем их территории на кварталы, выявляем породный состав... Ну, словом, такая геодезическая работа.

— А-а, — разочарованно протянула инспектор. — Очень интересно.

— Но я уезжаю далеко и обычно надолго — до зимы, поэтому я и должна выяснить все, чтобы знать, как располагать временем... — объясняла подробно Александра Ивановна.

Зазвонил телефон. Цветкова рывком сняла трубку, радостно произнесла:

— Слушаю! — Но тут же голос ее сник, и она сказала раздраженно: — В отпуске она. Нет. Не знаю. — И, повесив трубку, спросила Александру Ивановну невзначай: — А кто вас ко мне направил?

Под ее внимательным взглядом Александра Ивановна немного замаялась.

— Видите ли, — сказала она, не отвечая на вопрос, — у моих товарищей по работе уже билеты на руках. Мне придется ехать вдогонку... Если уж нас точно будут переселять, то, может быть, Галина Андреевна, — вспомнила она с таблички на двери имя-отчество инспектора, — может быть, как-то возможно со мной... ну, переселить меня побыстрее... Я человек непритворный, не стану привередничать... Я вам буду очень признательна, — добавила она.

Последняя фраза словно кольнула Галину Андреевну, она сразу встала, сбросив кофту на спинку стула.

— Извините, — сказала она. — Я гляну сейчас, много ли еще ко мне народа. — Она быстро подошла к двери, приоткрыла ее и внимательно оглядела коридор. Там сидело трое. «Обычные посетители», — взглядевшись, отметила она про себя. Она закрыла дверь и, ступая бесшумно в домашних тапочках, в которых привыкла ходить на работе, отошла к окну и остановилась, как бы в задумчивости.

Обиходные слова вежливости, значившие для Александры Ивановны только то, что они значили, для Галины Андреевны были неким сигналом, от которого сердце ее забило и во рту пересохло.

Деньги ей были сейчас очень кстати. Хотя дочь и начала сдавать экзамены в институт, но еще занималась английским с преподавательницей, и надо было заплатить за месяц. До зарплаты оставалась неделя, а со сберегательной книжки Галина Андреевна деньги снимать не любила.

Александра Ивановна приятно удивилась несоответствию между тем, что пророчила ей в очереди пожилая дама и чего она сама опасалась, и тем, как мило обходилась с ней инспектор Цветкова.

— Вы знаете, — сказала она, чувствуя себя совершенно свободно от радости, что так легко нашла понимание в другом, незнакомом человеке, — я даже вот лицевой счет заготовила. — Она положила на стол бумагу, принесенную ей вчера дядей Васей. — Мне ничего особенно не надо...

— Как одиночка вы можете рассчитывать только на подселение, — от окна, не поворачиваясь к посетительнице, сказала твердо Галина Андреевна. Ее так и подмывало украдкой обернуться и посмотреть, что положила на стол эта женщина. Как всегда в такие моменты, некий холодок робости сквозняком тянул по ее ногам, и в то же время она ощущала подбадривающее приятное замещение. — Однако, если удастся...

Но Александра Ивановна живо перебила ее:

— Что вы, что вы, я все понимаю. Я же говорю, я ни на что не претендую, мне только надо, чтобы было по возможности тихо. У меня, знаете ли, сильные головные боли.

Этого Галина Андреевна терпеть не могла — ме-

лочную торговлю. Все сказано, значит, дело почти сделано, что ж бояться обмана. Она резко повернулась и пошла к столу, всматриваясь с прищуром в лежащую на нем бумагу. Небрежным жестом она сдвинула ее, надеясь под ней увидеть кой-какой конверт, но там ничего не лежало, кроме деловых документов; она как бы лениво перебрала полными подрагивающими пальцами и их. Не было ничего!

«Ловка бабенка. Первая примчалась... И уж счет лицевой. И турусы на колесах... Больная, а в экспедиции шастает. И торгуется, боится, не облапошили бы...» — делала она свои выводы.

— И к соседям я привыкла; с другими трудно будет,— продолжала задумчиво Александра Иванова.— Не тот возраст, чтобы быстро сходиться с людьми, и потом...

— Хорошо,— прервала ее Цветкова, насколько могла, сухо. Концы губ ее опустились, прищуренный взгляд резал из-под нахмуренных бровей, и надменностью в лице она выразила ту меру презрения, которую испытывала к этой посетительнице и которой давала почувствовать, что легко раскусила ее нехитрый маневр.— Мы вам пришлем смотровой ордер в ближайшее время.

Не замечая перемены в ее лице и приветливо улыбаясь, Александра Иванова встала:

— Большое спасибо вам.— Она наклонила голову.— Всего хорошего. Я вас не подведу и перееду быстро.

Галина Андреевна тяжело смотрела ей вслед. «Быстро... Ну, мы посмотрим...» — испытывая изжогу разочарования, думала она, прикидывая, куда написать первый смотровой ордер этой болезненной гражданке.

— Следующую там попросите! — крикнула она.

Следующей была дама вся в бирюзе, которой она, очевидно, хотела показать, что глаза у нее когда-то были голубые.

Галина Андреевна прекрасно ее знала и имела представление о ее деле. Бирюзовая дама успела прописаться в кооперативную квартиру своего брата, старого одинокого инженера, перед самой его смертью. Кооператив организовывался в конце двадцатых годов; дом, сплеленный, за недостатком материалов, наподобие ласточкиного гнезда — из всего, что было под рукой, — сильно обветшал и, так как стоял на красной черте новой магистрали, подлежал сносу. Пользуясь этим, дама на черт знает каких основаниях желала отхватить либо новую квартиру размером со старую — в пятьдесят шесть квадратных метров, либо компенсацию за недоданные метры в существующих ценах.

Дама, у которой был избыток свободного времени, навещала многие инстанции, но чаще всего навещалась к Цветковой, почему-то считая, что от инспекторши зависит решение вопроса в ее пользу.

— Ах, это опять вы,— устало сказала Галина Андреевна.— Вы ходите сюда, как на работу. Вам скоро зарплату будут платить...

— Ищу справедливости,— отвечала дама, с независимым видом усаживаясь на стул перед столом Цветковой.— Но разве можно у нас чего-нибудь добиться,— произнесла она трагически, возводя глаза неопределенного цвета к потолку.

— Какой справедливости? Какой? — стараясь сдерживаться, сердито заговорила Галина Андреевна.— Вам дают двухкомнатную квартиру... Одной — двадцать восемь метров... На таком метраже семьями живут.

— Этого я знать не хочу, кто и как живет. У меня, моя милая, было пятьдесят шесть прекрасных метров... И почти в центре.— Она кончиками пальцев поправила бирюзовые серьги в виде маленьких груш.

— Да они не стоят ровно ничего, ваши метры. Там засыпка шлаковая с песком, стены в два кирпича... Полюбуйтесь на акт экспертизы.

— Если бы ваших экспертов как следует смазать,— выразительно произнесла дама и томно посмотрела в глаза Цветковой,— я думаю, они бы... сделали несколько иные выводы.

Слово «смазать» и масляный взгляд бирюзовой дамы сейчас особенно больно резанули Галину Андреевну.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! — зашлась она в гневе.— Я вам, кажется, не давала для этого повода. Не судите о людях по себе... — Она передохнула и отчеканила: — Ваш вопрос ясен.

— Я буду жаловаться. Это — безобразие! Что вы позволяете себе?! — явно радуясь случаю скрасить скандалом будничным день, возвышая голос, заговорила дама.

— Это вы позволяете себе,— спокойно сказала Цветкова.— Люди еще в подвалах живут, в бараках, а вы потеряли совесть. Кочевряжитесь здесь. Пожалуйста, жалуйтесь! Но я вам советую не тратить времени и выезжать скорее, чтобы не пришлось вас выселять с прокурором.— Галина Андреевна была возмущена искренне, потому что, сказав о подвалах, она действительно вспомнила семью, которая с двумя детьми жила в подвале, выходившем окнами на заводской двор, и которая только недавно была поставлена в число первоочередников. Но, главное, ей был приятен собственный праведный гнев, который давал возможность оправиться внутренне от предыдущего бесплодного и поэтому особенно болезненного для нее разговора и войти в колею уверенного в себе, безупречно честного человека.

— Как бы вами самой не занялась прокуратура,— угрожающе пообещала дама и встала, распрямив, насколько было возможно, костлявые плечи.

После дамы в кабинет вошли две девушки, и обе враз заплакали.

Контраст с бирюзовой дамой, который они составляли, особенно одна — «немного беременная», как с веселым участием отметила Галина Андреевна, — с ее по-детски пухлыми губами и покрасневшими от слез настоящими голубыми глазами, был так велик, что Галина Андреевна терпеливо, как обычно редко удавалось в конце рабочего дня, выслушала их сбивчивый рассказ о том, что инспекторша, товарищ Цветковой, ушедшая в отпуск, не давая им даже второго ордера, отметила, что они якобы уже получили три смотровых, и утверждала, что ордера взяли их мужья, а их мужья — шоферы, уехали на все лето в Казахстан и никак не могли брать ордера.

Галина Андреевна, не мешкая, отыскала в бумагах их документы, просмотрела. Судя по всему, девушки были правы. И она с особым удовлетворением, которое всегда составлял для нее прилив чувства бескорыстной доброты, объявила им об ошибке, извинилась, прибавив наставительно, что со всяким бывает,— на это девушки радостно и понимающе закивали,— и пообещала лично заняться их делом и в ближайшие день-два прислать новые смотровые ордера. Опять зазвонил телефон. Галина Андреевна сняла трубку.

Дочь прокричала ей звонко:

— Мамуся! Пять баллов! Честное слово, пять!

— Ну, умница ты моя... Солнце мое,— растрогалась Галина Андреевна, но, сообразив, что это только первый экзамен, прибавила серьезно: — Видишь, как много значит хорошо готовиться, надо продолжать в том же духе...

На душе у нее сделалось по-молодому беззаботно и светло.

Девушки, стоявшие перед ней, пошли было к выходу.

— Погодите! — закрыв ладонью трубку, окликнула она ту, которая так понравилась ей, и указала глазами на стул.

Девушка остановилась, подошла, но не села.

— Ну, молодец, Оленька. Только не хвастай! — сглазишь,— перебила рассказ дочери Галина Андреевна.— Дома послушаю тебя. У меня здесь люди. Поздно не являйся, волноваться буду... — Она положила трубку и, не стирая с лица улыбки торжества, глядя в голубые глаза девушки, спросила, кивая на выпиравший под пестреньким платьем живот: — Скоро? Какой месяц?

Девушка залилась нежным румянцем. И вспыхнувшее в Галине Андреевне при разговоре с дочерью чувство материнской любви перекинулось и на нее, и она быстро отвела от девушки увлажнившиеся глаза.

— Шесть... Седьмой уже,— ответила девушка.

— Аккуратный. Похоже, девочка будет,— снисходительным тоном умудренного жизнью человека заметила Цветкова. — Я вам лично очень советую не торопиться с переселением, чтоб было уже семь месяцев. Но это между нами. Понимаете?

— Да.

— Вы принесете тогда справку из консультации, и мы сможем вам дать двухкомнатную квартиру...

— Ой! — воскликнула девушка восхищенно.— Правда?

— Ну, конечно...

— Спасибо вам. Но как же... — Она не договорила, снова слезы, но уже другие, потекли по ее щекам к ямочкам счастливой улыбки.

— Вашему дому еще далеко до сноса, поживите там... Только будем давать первый этаж,— предупредила Галина Андреевна.— Зато с паркетом! — добавила она вслед быстро выходившей девушке.

Все — никого, кажется, больше на сегодня не было.

Из собственноручно связанной сумки-кошелька, зеленой же, под цвет кофты, Галина Андреевна достала сигареты, загладила, с наслаждением сделала первую глубокую затяжку, откинулась на спинку стула и вытянула сильные, полные ноги. Она сидела, смакуя вместе с сигаретой собственную доброту, представляя, как эта будущая мать через некоторое время войдет вместе с мужем в пустую, сыrovато пахнущую побелкой, обоями и свежей краской квартиру, с пятнами солнца на паркете, как они оба замрут восхищенные, как обнимутся и как девушка, всплакнув от радости, подумает добро о ней, инспекторе Цветковой, а вернее всего, и не вспомнит.

И так Галине Андреевне воображать было даже слаще.

Да, день прошел неплохо, если бы только в него не была заткана одна, так ей портившая настроение нить. На столе перед Цветковой лежала копия лицевого счета. «Александра Ивановна», — прочла она имя-отчество худенькой женщины, пытавшейся так глупо торговаться с ней. «Кто ж ее ко мне направил?» — силилась угадать она и не могла.

— Александра Ивановна,— произнесла она не-

спешно вслух, и чувство озлобления против «суетной бабенки», как она окрестила ее про себя, всплыло, отравляя удовольствие отдыха.

Решительным жестом Галина Андреевна ткнула сигарету в пепельницу, быстро пролистала принесенные в последние дни смотровые ордера. Она выбрала один, возвращенный разными людьми уже в четвертый раз. С особым ироничным старанием она выписала на чистой открытке адрес Александры Ивановны и этот, так никому не полюбопытший адрес.

«Ты у меня, голуба, переедешь, очень быстро переедешь», — усмешливо предрекла она и, вытащив зеркальце и помаду, сжимая и выпячивая губы, быстро их накрасила



Дома у Галины Андреевны был тот обычный кавардак, который дочь, куда-нибудь опаздывая — а опаздывала она всегда и всюду, — имела привычку оставлять.

На ковре, которым была покрыта тахта, валялся влажный еще купальник — видимо, Оля с утра бегала на канал; с ширмы, отделявшей в их просторной однокомнатной квартире Олин угол, свешивались несколько платьев — дочь выбирала, в чем идти в институт; и ушла, конечно, в самой затрапезной одежде — в джинсах и в желтом батнике; и — кошмар! — чашка из сервиза старого фарфора, к которому Ольге с ее «дырявыми» руками было строжайше запрещено на веки вечные прикасаться, просвечивающая, хрупкая чашка, с букетиком ландышей на боку и фирменным знаком — перекрещенными молоточками на доньшке, — стояла на письменном столе с остатками какао... Нет, это было просто невозможно!

Положив сумки со съестным на кухне, Галина Андреевна прислонилась к косяку двери и тяжело вздохнула. Сколько она сердилась на дочь, сколько выговаривала ей... И все-таки чем-то мил был этот беспорядок... Мил своей вещественностью присутствия в доме любимого существа — доченьки, Оленьки. Когда дочь уезжала и воцарялась строгая, так свойственная характеру самой Галины Андреевны симметрия и чистота, ей не хватало его, этого беспорядка, как не хватает в пресной пище соли.

Однако расслаиваться особенно не приходилось: Оля вот-вот могла явиться, а Галине Андреевне первым делом хотелось ее хорошенько накормить. Она быстро переоделась в домашнее и принялась потрошить и палить цыплят, мыть зелень, резать помидоры, плакать над луком.

Этими успокоительными своей привычностью хлопотами все заботы и огорчения сегодняшнего дня на работе были, как порожняк на сортировочной станции, отведены на тупиковый путь и там забыты до поры.

Для Галины Андреевны в том и была особая, ни с чем не сравнимая ценность собственными руками, безукоризненно налаженного дома. Здесь, казалось ей, она совершенно переставала быть тем инспектором Цветковой, которая, случалось, была раздражена горестями людей, холодна к ним, у которой был наметанный глаз на силу слабостей человеческого духа и развито почти до естественности умение пользоваться ими. Здесь постоянно спутствовало ей чувство доброты, справедливости, здесь царил устоявшийся, безраздельный мир ее личного счастья.

И о волнорез домашнего уюта, о чистоту ее любви к дочери разбивались все мыслимые сложности

и беды внешней жизни, которых она хлебнула мерой и которых инстинктивно как смерти, боялась с тех дней, когда вместе с матерью шла в толпе беженцев по горячей июльской пыли, и извне запно появившихся желтобрюхих немецких самолетов, прежде свинцового дождя, сыпалась на головы людей забава летчиков — пустые, продырявленные, как сито, железные бочки, которые свистящими, стремительно нарастающим завыванием пронзали каждого смертельным ужасом... Помнила и свой страх от того, что в толпе часто повторяли: немцы ищут и убивают евреев и цыган; и, глядясь в маленькое круглое зеркальце, она мучилась своими темными, выющимися, как у отца, волосами; и у нее сжималось сердце, когда мать по-довоенному называла ее Галчонком, втайне она завидовала пшеничным косам матери и даже посыпала тайком свою голову пылью... Не забылось и то время, когда, счастливо выбравшись за линию фронта, дотащились они через месяц до матери отца, которая жила под Тюменью. До сей поры снились Галине Андреевне безбрежный огород в восемь соток, и бабка низкорослая корова, и узкорылый хряк Васюка, и рыночный дощатый прилавок, где за полсотни лили они в бидоны покупателей по литру разбавленного бабкой молока; разбавляя, бабка обычно приговаривала: «...Молочка-то ночью мало. Ага? А мы вот его с водичкой, всем и достанется. Ага?» Хранила память и самый мучительный для души отрезок жизни, когда устроили работать ее на хлебное место — на элеватор, и к ней, совсем еще молоденькой, повадился ходить бухгалтер Сухоруков, почти старик, и, одаривая то деньгами, то золотой вещичкой, приручил... Он и умер на ее глазах, в ее маленькой, тесной комнатке, уже перед тем, как уходить домой, сказал: «Ну, посошок на дорожку». И едва опрокинул рюмку и только начал тыкать вилкой в ускользящий по тарелке грибок, как вдруг, словно от этого усилия, упал, засучил ногами, захрипел, выпучил стекленеющие со слезами глаза и затих... Ах, с какой жалкой лихостью пришлось ей отбиваться потом от позора! Однажды, выйдя во двор элеватора, услышала — в компании шоферов, сидевших в холодке у машин, кто-то сказал под общий хохот: «Смотри, не помри на ней, как бухгалтер на Гальке Цветковой помер...» Она смело подошла к ним и, уперев руки в бока, крикнула вызывающе: «Ну, кто еще на мне умереть желает?!» — и стояла так, пока эти ушлые мужики, замолчавшие враз, стараясь не смотреть на нее, не разошлись... А ночью, вдоволь наплакавшись, она решила уехать.

В ту пору и сложилась ее мечта о жизни не просто сытной, с красивой одеждой и удобствами, достоящимися либо потом на бабьином огороде, либо мучительством сердца, но о такой полной чаше жизни, которая ко всему тому была бы покойной и чиста. Такая жизнь постоянно ждалась ею в глубине души оплатой за все то, что она претерпела... В Москве она удачно вышла замуж и, хотя муж рано умер и Галина Андреевна осталась одна с дочерью, она делала все возможное, чтобы привести свою судьбу, а главное, судьбу Оли, к результату, который замысливала настоящим счастьем.

Все уже было приготовлено: тщательно убрана квартира, на кухне накрыт стол... цветы... бутылка вина... Галина Андреевна приняла душ, надела свой самый любимый, синий с белыми воротником и обшлагами костюм, в котором, как говорил начальник ее отдела, она была неотразима, и только тогда

заметила, что час уже поздний, а любимого чада нет и нет.

Чтобы не смотреть беспрерывно в окно, успокоиться, она взяла купленный недавно альбом старинной архитектуры, села в кресло-качалку и принялась осторожно листать глянцевиные страницы, разглядывая картинки.

На службе Галина Андреевна слыха знатоком церковей и помещичьих усадеб, ездила на экскурсии, могла к стати щегольнуть словом вроде «контрфорс» или «абсида», но, положа руку на сердце, любила не сами эти постройки, а свое занятие ими, то внимание и уважение, какое оно вызывало у сослуживцев.

Усталая, она так и задремала в кресле с альбомом на коленях.

Разбудил ее голос дочери.

— Ууу! Какие чудесные запахи в доме! — кричала весело дочь из коридора. — Какие запахи! Что это, что это?! — Она, видимо, сразу двинулась на кухню.

Галина Андреевна встала и на цыпочках торопливо направилась за ней.

Она опоздала — салат был разрушен, съедены помидоры, капельками сметаны загримированные под мухоморы.

Дочь облизывала свои пальцы и хитро смотрела на нее.

— Ольга! Где твоя совесть?! Ты бы хоть руки помыла, — взмолилась Галина Андреевна. — Чудовище ты мое. — Она слегка шлепнула ее по рукам.

— Ты готовишь, ну, просто необыкновенно... — Оля чмокнула мать в щеку.

— Не подлизывайся, — сразу обмякла и заулыбалась Галина Андреевна.

— И вино!.. Я рада каждый день сдавать экзамены на «отлично». Спасибо, мамочка...

— Где ты была? — Не стоило портить вечер, но для порядка приходилось спрашивать.

— Гуляла. В кино ходила.

— С кем?

— Разве так важно, с кем? Важно, что смотрела... Молчу, молчу. — Увидев расстроенное лицо матери, засмеялась Оля. — С кем гуляла? Пожалуйст: гуляла с Юркой, он меня около института ждал, а в кино ходила с Игорем и с Мишкой. Отчиталась?

Галина Андреевна протянула руку и расстегнула дочери верхнюю пуговицу желтого батника.

— Опять без лифчика... В конце концов я не попугай, твердить одно и то же. Стыдно...

— Мамочка, ну он мне не нужен...

— Господи, элементарное приличие, порядочность, если хочешь. И ладно бы не было у тебя ничего... А то... Ты взрослая девушка.

Оля зевнула, вытянула руки вверх и, зажмурив глаза, выгибаясь, с улыбочкой сладко потянулась.

— Значит, я у тебя непорядочная. Плоды плохого воспитания. Но ты меня и такую ведь не разлюбишь, мамочка... Я пойду переодеваться.

Галина Андреевна разложила Оле на тарелки салат, цыпленка с жаренной в масле картошкой, налила вина.

И сама села к столу.

Но Оля все не возвращалась, и, когда Галина Андреевна пошла за ней, дочь уже спала у себя за ширмой, упав ничком на неразобранную постель. И Галине Андреевне было приятно прислушиваться к ее тихому дыханию, а потом раздевать ее и укладывать, как маленькую.

Глава третья

Мужчины семьи Стекловых объявились в один и тот же день.

Первым приехал отец, Григорий Емельянович. Он подошел к дому серебристый контейнеровоз; и пока вместе с молодым напарником занёс в квартиру ящик с овощами и ранними фруктами, услышал из уст старухи Десятчиковой и о том, что «Максимушка наш еще не вернулся», и о том, что «купили мы мебель красоты неописуемой», и о том, что «ордера на новую площадь давать начали», и что сам он «загорел, как с отпуском».

Дивясь такой перемене в нелюбезной прежде соседке, Григорий Емельянович дал распоряжения напарнику, который отводил машину на базу, осмотрел скептически мебель, плюнул с досады, потому как сразу сообразил, что за денежки были ухлопаны на «неописуемую красоту», и, раздраженный такой самостоятельностью жены, стал собираться в баню.

Но еще не успел он разыскать куда-то запропавшееся при новом порядке белье, как в дверь позвонили и он услышал преувеличенно восторженный крик Десятчиковой:

— Батюшки мои! Да как же это?! Да неужто! А мать-то все глаза проглядела.

И басистый голос спросил торопливо:

— У нас есть кто?

Тут же дверь распахнулась, и сын в военно-морской форме — бело-синее с черным, — в бескомысленно, с золотом букв на ленте, вырос перед порогом такой незнакомо большой, что в первое мгновение Григорию Емельяновичу почудилось, будто его, отца, как-то укоротили.

— Максим! — тихо произнес он.

Они шагнули навстречу друг другу и сшиблись в крепком объятии.

Голова Григория Емельяновича уткнулась в плечо сына, и он окончательно понял, как вырос тот за три года военной службы.

И от того ли, от нежданности ли встречи едкие слезы навернулись на глаза, подавляя их, он сглотнул комок в горле, насунил выгоревшие брови, сказал, чуть отстраняясь от сына и указывая на заставленную мебелью комнату:

— Не пролезешь... Мать отличилась. Наш с тобой «Москвич» на деревяшки пустила.

— Ничего, — беспечно сказал Максим. — Еще заработаем...

— Добытчик! — Григорий Емельянович с удовольствием ткнул кулаком в крутое плечо сына. — Это точно — заработаем!.. Да я вот в баню наладился, а белье не найду...

— Пошли вместе, — предложил Максим.

— Верно. У меня и вобла припасена... С дороги сейчас венником обмахнуться — милое дело...

— Белье ваше у соседей, — не отходя от открытых дверей, сообщила Лизавета Прохоровна. — В новом шифоньере; он к вам не влез, туда поставили... А ключ у меня.

— Видал чудеса? — подмигнул Григорий Емельянович сыну. — У женщин в квартире перемирие.

— Чего уж делить, разведемся ведь не сегодня-завтра, — разъяснила Десятчикова.

— Куда? — удивился Максим.

— Говорили, институту какому-то наш дом отдадут, а теперь слышно, сносить будут.

— Вот так-так. — Максим сдвинул бескомысленно с затылка на самые брови. — Наш дом?!

— А то чей. Сейчас вон какие дворцы... Кварти-

ры отдельные — живи не хочу... Если мне, старухе, этот дом не жалко, тебе-то чего его жалеть, молодому.

— Да я родился здесь, вырос; я три года о нем мечтал, он мне снился чуть не каждую ночь... И вдруг — сносить...

— Не нашего ума дело — чего строить, чего сносить...

— Ну, развели дискуссию, — недовольно сказал Григорий Емельянович. — Давай переодевайся в гражданское, и пошли. — Он очнулся от первого вздоха встречи и начал привычно командовать сыном. — Не то опоздаем. Сейчас — в самый раз народу никого, а пар что надо.

В бане, когда разделись и сын встал и пошел вдоль белой кафельной стены, высокий, весь облитый смуглотой загара, и Григорий Емельянович увидел его мускулатуру, настолько рельефную, что, казалось, она у негг нарочно напряжена, — он только покачал головой, вспомнив стриженного мальчишка-новобранца, со слезами на глазах стоявшего рядом с родителями и друзьями у военкомата.

Григорий Емельянович догнал сына, шутя подшлепнул его:

— Ты где ж это, чертяка, нагишом загорал?

— Были там у нас в заливчике осыхающие камни. Мы туда в хорошую погоду после обеда на шлюпке ходили, ультрафиолет ловить... От мичмана подальше.

— А силу когда успел накачать? Ты, помнится, был не очень чтобы... А сейчас смотрю — ой-ой...

— Простое дело. Надо выбрать правильную систему и терпение иметь. Сила не ум. Так, хотел сам себе что-то доказать.

— Молодец. Венником сейчас на мне не доказывай...

— Помню, помню — ты любишь, чтоб слегка да понежнее. Как закажешь...

Распаренные, с красными лицами, они сидели в предбаннике, завернувшись в простыни, потягивали из кружек холодное пиво, принесенное расторопным банщиком, закусывали воблой, которую чистили на разложенную между ними на скамье газету, и неторопливо разговаривали.

Теперь они попристальнее взглядели друг в друга. Максим видел, что отец погружен, что седина прочно обсыпала его голову, от этого у него щемило сердце и ему хотелось порадовать отца взрослой рассудительностью.

Григорий Емельянович, чем больше слушал сына, тем сильнее с грустью ощущал, что положен уже какой-то, видимый им самим предел отпущенных ему дней; что большая часть жизненной его силы сейчас — будто на глазах — перелилась в сына. И ему было немного стыдно своего белого, ожиревшего тела, с красноватыми по локоть руками, такого нескладного рядом с фигурой сына. Но он не умел и не хотел говорить о своих чувствах и спрашивал о вещах простых, насущных:

— Дальше что думаешь делать?

— Отдохну. — Максим подмигнул отцу. — Нет, дома сидеть не буду. Если тетя Шура еще не уехала, попрошусь к ней в экспедицию...

— Зачем, отдохни по-настоящему. К морю съезди. Деньги есть. Надеюсь, мать не все на деревяшки распылила...

— Морем сыт. Лучше в лесу поработать от души. По земле соскучился. У нас там, знаешь, как: говоря языком лоции, скалистая мель, на юго-западе которой скала с жилым каменным домом, с круг-



лой башней на углу, на башне восьмигранный фонарь, высота огня — тридцать девять метров от уровня моря. И все дела... Если шторм надвигается и темнеет — не видно, на чем маяк стоит, волны, сплошь волны... Кажется, плывем, укачивает даже...

— Меня в машине тоже что-то укачивает стало, — посетовал Григорий Емельянович. — А вообще-то чем думаешь заняться? Куда жизнь направишь?

— Если с тетей Шурой поеду, вернусь, тогда уж думать начну, что да как. Моя мечта — по стране поездить, поработать на разных стройках, а уж потом осесть. Страна такая большущая, я ехал, ехал — ого! Все увидеть хочется, чтоб было, о чем вспоминать...

Григорий Емельянович долго выбирал кусочек воблы, долго смаковал глоток пива, спросил наконец:

— На стройках кем собираешься быть? Круглое катаем, квадратное таскаем? Или вообще — ручки в брючки, туристом?

— Почему? — обиженно пожал плечами Максим. — Я на маяке заодно дизель освоил...

— Ох ты, ох ты, завелся с пол-оборота, дизелист. — Григорий Емельянович потрепал сына по голове и с силой попытался пригнуть его шею, но Максим улыбался и держал голову ровно. — Ишь ты, силен, бродяга... Однако давай собираться. Мать уж дома, да, наверное, с ума сходит, думает — загуляли.



Когда усталая от последних сборов назавтра уезжающей экспедиции Александра Ивановна пришла к вечеру домой и заглянула к Стекловым, семейный праздник был в полном разгаре. Новая мебель усилиями мужчин была сдвинута ближе к окну и толпилась там чопорными гостями, чего-то упорно ожидающими.

Лизавета Прохорова сидела принарядившаяся в черное с брошью платье, даже напудренная и такая торжественная, будто все это затеяно для нее.

Она окинула Александру Ивановну быстрым взглядом, в котором, кроме обычной враждебности, была и какая-то презрительная ухмылка.

Почувствовав ее, Александра Ивановна даже не успела подумать, почему Десятикова так смотрит на нее; Максим пружинкой вскочил, сделал несколько шагов навстречу, щегольски прищелкнул каблучками и широко улыбнулся:

— Здравия желаю, тетя Шура.

В матросских клешах, но в гражданской белой вязаной рубашке в обтяжку, он показался бы Александре Ивановне незнакомым, если бы не был так похож на мать, которая сидела рядом и не сводила с него счастливых глаз. Правда, скулы его были обозначены нежнее, и губы не так выпячивались, а уши — такие же маленькие, как у нее, — почти повторяли рисунок ее раковин. Но глаза его, темно-карие, как два спелых лесных ореха, поставленные близко к переносью, были отцовские да, как у отца, вились чуть русые волосы над высоким лбом.

— Здравствуй, Максим, — протянула ему руку Александра Ивановна.

Он взял ее руку, нагнулся и поцеловал.

— Во каков кавалер у нас, — оценила Лизавета Прохорова и прищипнула губами.

Александра Ивановна, свободной рукой притянув голову Максима, встала на цыпочки, расцеловала его в обе щеки.

— Вырос, ох, и вырос он у тебя, — обратилась она к Оксане Михайловне.

— Шуручке — штрафную! — закричал лихо Григорий Емельянович, и жена посмотрела на него со строгой грустью.

— Вот. — Подняла с пола на стол бутылку своей вишневой настойки Десятикова.

— Нет уж, синильную эту кислоту вы оставьте в энзэ, а мы... — Григорий Емельянович налил из бутылки коньяка в две рюмки, — по такому поводу вот этого отведем... молдавского... Как сын-то? — призвал он Александру Ивановну восхищаться Максимом. — Хорош?

— Спрашиваешь... Сын замечательный. Каждому бы да по такому сыну...

— С тобой в экспедицию ехать желает.

— Папа, — протянул басовито Максим, как бы недоуменно и извиняюще пожимая плечами и осторожно взглядывая на мать. — Не сейчас же об этом.

— Что ты, что вскинулся? Надо сразу брать быка за рога. Не бойся, от такого работника никто не откажется. Правильно я говорю, Шуручка?!

— Григорий, налил — пей. Или лучше хватит с тебя, а то городишь невесть что, — рассердилась всерьез Оксана Михайловна. — Сам подумай, куда ему работать ехать, мальчик отдохнуть должен...

Александра Ивановна взяла свою рюмку.

— С возвращением, Максим. Чтоб все были здоровы. Счастья тебе, Максим. — Она залпом выпила.

— Да, молодым счастье нужнее, — сказал Григорий Емельянович. — Мы стареем, нам зачем, — дрогнувшим голосом высказал он мучившую его мысль. — Незаметно-незаметно, а все к тому — к одному.

— Ну-ну, мужчина, глава семьи, — подбодрила его Александра Ивановна. — Что это, скис, как молоко в грозу?.. Сын приехал! Радость!

— И у вас тоже, Александра Ивановна, радость, — словно приговарываясь сообщить нечто очень важное, тайно прикрыв глаза, сказала Лизавета Прохорова.

— Еще бы, — согласилась Александра Ивановна. — Я Максима ходить учила, конечно, счастлива...

— У вас и своя радость, отдельная от нас, — поджала губы Десятикова.

— Не говорите вы загадками, — рассердилась Оксана Михайловна. — О чем вы?

— Как же, Александра-то Ивановна ходила на днях в исполком, а ей уж открыточка, ордер смотровой, первой из всего дома.

— Где?! Какая?! — воскликнула Оксана Михайловна.

— Вот она. — Десятикова выудила из кармана платья белую с синей печатью открытку. — Поздравляю вас сердечно. — Она привстала и с насмешливым поклоном подала бумагу Александре Ивановне.

— Покажи. — Оксана Михайловна встала и взяла из рук растерянной Александры Ивановны открытку.

— Это здорово! — воскликнул Максим и обвел всех восторженным блестящим взглядом. — Теперь мы тетю Шуру должны поздравлять... Новоселье скоро...

И Григорий Емельянович, и Оксана, и Максим начали шумно обсуждать достоинства района, в котором предложили квартиру Александре Ивановне, мечтать вслух о том, что хорошо бы и им переселиться туда же и ходить друг к другу в гости, планировали, как общими силами устроить скорейший переезд Александры Ивановны.

Она сама слушала и согласно кивала, не ощущая никакой радости оттого, что сложный вопрос ре-

шился так просто и быстро. Напротив, заставляя себя улыбаться всем, благодарить и уговаривая себя, что это прекрасно, что это удача, что она сможет теперь в ближайшие дни уехать в экспедицию,—она чувствовала, как новые обстоятельства жизни со всеми их мелочами, вникать в которые она вовсе не хотела, встали перед ней пугающе высокой стеной, преодолеть которую, казалось ей, у нее не хватит сил.

— Книжки лучше в картонные коробки паковать,— советовала Оксана Михайловна.— Их в табачном ларьке можно взять или у мороженщицы...

— Мы тебе с Максимом такой замок врежем, такие антресоли возведем,—обещал Григорий Емельянович.

Их слова, выговаривающие прежде необходимую ей определенность жизни, сейчас больно резали слух.

— К хорошему человеку попали,—вкрадчиво вклинилась в разговор соседней Лизавета Прохорова.— Уж она, инспекторша эта, Цветкова, расстаралась для вас.

— Да, очень милая женщина,—подтвердила Александра Ивановна,—просто на редкость. Я даже не ожидала...

— Верно, полюбились вы ей. Обычно там такая ругачка идет. Вы у нас, конечно, всегда женщина образцовая были, очень совестливая,—продолжала Десятчикова, многозначительно поглядывая на Оксану Михайловну,—но в этот раз, признайтесь, небось, не удержались, стрельнули в нее, в инспекторшу, подарочком? Иль сотенной? А? Здесь все люди свои. И мы тогда попользуемся.

Лицо Александры Ивановны пошло пятнами. Она еще не присела к столу, стояла, вертя в пальцах пустую рюмку; в одно движение она поставила рюмку, повернулась и, нагнув голову, вышла.

— Да как вам...—начал было Максим.

— Погоди,—остановил его отец.—Вот что, милая наша бабуся,—кашлянув, произнес он,—шли бы вы подальше с вашей ехидностью.—И он грохнул кулаком по столу.

— Размахался,—схватила его за руку Оксана Михайловна.—Стол-то новый...

— Шут с ним!

— Неудобно как,—заходил Максим за спиной Лизаветы Прохоровны.—Вы пожилой человек. Так о людях не то что говорить, думать стыдно, тем более о тете Шуре... Вы должны перед ней извиниться. Или я за вас пойду...

— Сынок, это ж от века — подарочки-то. Кто ж знал, что обидится,—заговорила Десятчикова, не поворачиваясь к нему, но продолжая искать взглядом поддержку в глазах Оксаны Михайловны и медленно поднимаясь.—Ишь, порох, слово не скажи.

Минут пять спустя Стеклова зашла в комнату Александры Ивановны, обняла, прижалась к ней своим большим горячим телом.

— Будет тебе, Шурочка. На старуху стоит ли обращать внимание? Будто мы ее не знаем... Городит по злобе.

— Все так сложно...

— Забудь.—Они стояли у окна; и Оксана Михайловна, глянув вниз, увидела, как дядя Вася старательно поливает из шланга палисадник, направляя широкий веер струи то к земле, то вверх, на тополя.—Ты переезжай лучше быстрее, пока наш божий одуванчик жену вон его,—она показала на дядю Васю,—не напустила на тебя. С нее станется.

Александра Ивановна вздохнула:

— Я и так должна быстрее переезжать. У меня экспедиция.

— На нас полностью рассчитывай. Гриша машину на базе возьмет... Поможем...

— Спасибо.

— Ты не будешь против, если Максим у тебя пока в комнате поночует? Я ему за шкафом раскладушку поставлю...

— О чем разговор... До чего хороший парень стал у тебя,—сказала она, отирая слезы со щек.

— Ты в экспедицию его не бери,—попросила Оксана Михайловна.—Он рвется. Отвадь как-нибудь... Обещаешь?

— Наши завтра уезжают уже. Я их провожать пойду с утра, а потом поеду квартиру смотреть. — Может, договоримся — встретимся где-нибудь, я с тобой пойду... Только к вечеру ближе.

— Не надо.. Увидишь ее еще...

Ложась в постель, Оксана Михайловна сказала мужу, отвернувшемуся к стене:

— Все ж здесь что-то не так; и ордер больно быстро прислали; и я ей говорю сейчас, пойдем вместе смотреть, а она — нет...

— Хочешь сказать, Шурочка взятку дала? — спросил он, не поворачивая головы.

— Кто знает.

— Я знаю. Знаю, что если так думаешь, то ты дура вроде этой старухи... И что это она у нас ошивается? К тебе так и льнет...

— Ты пьяный, спи...

— Трезвому не понять, что ей надо, объясни, если в курсе... пока я пьяный..

Оксана Михайловна немного замаялась, но решив, что минута все-таки подходящая, положила ласково ладонь на плечо мужа и сказала:

— Понимаешь она хочет к нам подселенкой...

— Чего-чего?! Опять она с нами?

— Тише ты! Она сама говорит, долго ей не жить, и третья комната потом нам достанется,—принялась пояснять Оксана Михайловна.

— Спасибо тебе, распорядилась.—Григорий Емельянович перевернулся на спину и закинул руки за голову, что было верным признаком дурного расположения духа.—Про мебель я тебе — ничего, молчок, но здесь!.. Извините, я с этой бабкой секунды в одной квартире жить не буду, ее только всели, она распояшется, сама на стену полезешь... Да она всех переживет со своим золотым характером. Старая закалка... Нет уж! Двухкомнатной обойдемся...

— А если Максим женится?

— Хо! Рано ему. Он парень башковитый, не делает такой глупости. А хоть бы и женился — пусть лучше с его женой и с ним в двух комнатах, чем со старухой во дворце... Знать ее не желаю, Слыхала, как она на Шурочку хвост подняла?.. Я бы ей сказал, если б Максима не было.

— Я бы... Ты бы... Что это ты за Шурочку так заступаешься? — поудобнее устраиваясь на кровати, спросила Оксана Михайловна.—Меня дурой можно обзывать, а она у нас ангел...

— Она фронт прошла. А эта дочь купеческая... Эх! И ты туда же... сотенная, подарок...

— Ну, об этом нам самим подумать не мешает...

— Спать давай, думальщица...

— Я смотрю, что ты за нее вступаешься, старое, что ли, вспомнил? — нарочито безразличным голосом сказала Оксана Михайловна.—Не забыла, не забыла, как ты ей цветы таскал. Надо полагать, как фронтовик фронтовичке... А она на тебя — ноль внимания... Или нет?

Григорий Емельянович чертыхнулся и окончательно отвернулся к стене.

— Тетя Шура, вы не спите? — негромко спросил из-за шкафа Максим.

Помолчав, она ответила:

— Нет.

— Мне тоже не спится, — счастливо вздохнул он. — Первый раз за три года в родном доме, трудно уснуть... И хочется вроде. Уж очень чудно — возвращаться домой. Все то, и все совсем другое... Зато тихо здесь.

— Здесь тихо? Ты послушай, как на соседней улице машины грохочут.

— Что вы, — с превосходством бывшего человека сказал он, — вот у нас океан как начнет гроыхать. Рядом с дизелем стоишь, а можешь его и не услышать толком...

Говоря об океане, Максим представил последний, две недели продолжавшийся шторм, из-за которого он не мог выбраться с острова. Он снова почувствовал себя на стальной площадке адмиралского трапа, прилепленного к скале и ведущего в башню маяка... Волны одна за одной подкрадываются из темной гудящей дали, светлея вблизи, вдруг вырастают почти до уровня площадки, до его ног, обдают своим свежим дыханием, замирают на мгновение голубовато-зеленой стеклянной горой с пенистым живым изломом белого гребня и вдребезги уходят о скалу.

Одновременность ощущения того, что он стоит там, тоскуя, торопя время, проклиная шторм, и любованье этим штормом сейчас, дома, будто далеким другом, — убавляла его качающейся колыбелью, но он боролся со сном, желая, прежде чем уснуть, как-то сгладить неловкость, случившуюся на его празднике, за которую поэтому он чувствовал себя особенно виноватым.

— Завидую тебе. Всегда хотела попасть на Дальний Восток, да никак не удавалось, — сказала Александра Ивановна.

— Там красиво. Знаете, там цветы такие есть — кашкары, белые, нежные... Я хотел домой привезти, но им дороги не вытерпеть. А недавно в зарослях тальника совсем близко топорка видел — клюв красный, огромный, даже не верится, что натуральная птица... Он помолчал немного. — Но когда о доме скучаешь, никакая красота в сердце не лезет... Приехал, а тут на тебе — переезжать... Вам хочется переезжать, тетя Шура? — спросил он, стараясь навести разговор на Лизавету Прохоровну и высказать суждение о ее характере, но так, чтобы нельзя было подумать, будто он мыслит хоть самую малость сходно со старухой.

— Нет, не хочу, — ответила Александра Ивановна.

— Я заметил там по вашему лицу. Мне тоже неохота... Что-то есть в нашем доме... такое, близкое человеку. Правда ведь?

— Да, — согласилась она. — Ну, это как вещи, которыми человек долго пользуется. Время их одушевляет.

— Интересно все-таки, сколько мы с вами не делились, а вот понимаем друг друга... Мы на маяке часто спорили, что главное между людьми; я всегда доказывал: главное, чтоб человек понимал человека, чтоб на это понимание, не скупясь, тратили силы, энергию свою нервную... А то вот, как наша Лизавета, — сказал он осторожно, — ей никто плохого не желает, а она всех в чем-то подозревает, всем завидует... У нас в кубрике коронный номер был, когда я рассказывал, как она телефон в чемодан заперла, а ключ потеряла... телефон звонит, звонит... Хохот стоял невозможный. Помните, тетя Шура?

Она поняла его желание утешить ее; у нее даже слезы выступили от умиления перед его ненавяз-

чивым вниманием, и она сказала, стараясь, чтобы голос не дрогнул:

— Спасибо тебе, Максим...

— За что? — искренне удивился он.

— И маленьким ты был добрым к людям и, слава богу, таким остался... Но Лизавету Прохоровну не суди строго... Она человек одинокий... Да и ко мне у нее старый счет.

— Какой счет?

— Я же говорю, старый. Ты спи, устал, наверное, мальчик...

— Не без этого, — сказал он сонно, чувствуя себя оттого, что она назвала его мальчиком, и впрямь мальчиком, засыпающим в этой с детства знакомой комнате. — А вы всегда в этом доме жили, тетя Шура?

— Всегда, всегда, — ответила она.

— Хорошо, — тихо сказал он. — Завтра я с вами пойду вашу квартиру новую смотреть... Может быть, замоч сразу врежу...

— Спи, ребенок, спи... Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Он устал, вино разморило его; он должен был спать.

А от нее сон отогнало. Смотровой ордер, распросы Максима и само его появление — таким возмужавшим и как бы подчеркнутым этим невообразимо стремительную скорость течения жизни — внесли для нее особую остроту в чувство приближающегося расставания с домом. И, может быть, поэтому память внезапно начала выталкивать на поверхность подробности прошлого, иногда столь незначительные, что было досадно по ним опознавать не минуты, не дни, а целые годы прошедшего времени...



По лестнице, поразившей Шуручку разноцветной мозаикой ступеней, поднимаются они с Лидой на второй этаж и звонят у высокой двери с бронзовой ручкой в виде головы льва. И пока дверь не открывается, Шуручка держит палец в пыльной пасти льва, на его мелких зубах. Она стоит в плисовом жакете, перешитом на скорую руку из Лидино-го, перетянутая ее серым шерстяным платком, и ждет.

Дверь приоткрывается. Худенький мальчик, бледный, золотоголовый, в коричневом вельветовом костюме и белой рубашке с отложным воротником, стоит на пороге.

— Вы к кому? — спрашивает мальчик, строго оглядывая их.

— Мы новые жильцы, — отвечает Лидя. — Здравствуй.

— Ах, простите, — вежливо улыбается мальчик. — Я и забыл, что к нам должны вселить новых жильцов. Добрый день. Ваша комната там. — Он плавно поводит рукой, указывая куда-то в глубь темного коридора. И когда Лидя с баулом, заключающим все их имущество, проходит вперед, мальчик тихо, по складам говорит Шуручке: — Ду-ра... — Щурит глаза и высовывает язык.

— Кто? — отшатывается от него Шуручка.

— Ты, конечно, — пожимает мальчик плечами и тут же на оклик из кухни: «Алик, кто там пришел?» — другим голосом отвечает: — Новые соседи, тетя, наконец приехали.

Грузная женщина выходит из кухни. На ней поверх черного с брошкой платья белый фартук. Она идет следом за Лидой в открытую дверь пустой

комнаты в самом конце коридора, и, когда они знакомятся, Шурочка слышит гулкое эхо слов.

— Лизавета Прохоровна,— говорит женщина.— Я теткой буду этому мальчику. А вы, значит, Лидия Кузьминична, на врача станете учиться и в больнице работать? Это удобно. Пользовать нас будете, в случае чего. Уж не откажете?.. Алик, Алик,— зовет она.

Алик проходит в комнату, а Шурочка следом.

— Тебя как зовут, девочка? — спрашивает Лизавета Прохоровна строго.

— Меня зовут Шурочкой.

— А этого мальчика зовут Алик. Он у нас хороший.— Лизавета Прохоровна нежно гладит Алика по золотистой голове.— Умный. Отец с матерью день-деньской на работе или вове в командировке, а он у нас учится замечательно. Он тебя обижать не будет. А в школу пойдешь, поможет тебе, чего не поймешь. Поможешь, Аленька?

— Обязательно,— обещает Алик и смотрит на Лизавету Прохоровну снизу вверх, правдиво и насмешливо; а она обнимает его и чуть прикасается губами к его голове.

Проснувшись, Шурочка сперва не поняла, где она, и испугалась, что она одна. Но, приглядевшись, сообразила, что эта большая светлая комната с окнами на две стены — вчерашняя комната, в которой они теперь с Лидой будут жить.

Она сбросила одеяло и поднялась со старого матраса, поставленного на четыре деревянных обрубка; и матрас и одеяло были вчера куплены Лидой на рынке.

Что-то завернутое в плисовый жакет стояло на табурете, отказанном им Лизаветой Прохоровной. Сверху лежала записка: «Шурочка, я ушла в клинику. Половину пшенки съешь с утра, половину оставь на обед. Сходи в школу и узнай обо всем. Лидя».

Шурочка развернула жакет и открыла кастрюлю. Сытный пар горячей пшенной каши с жареным луком и со шкварками обрадовал ее. Она быстренько оделась и осторожно вышла в коридор, освещенный слабой лампочкой. Телефон с двумя металлическими звонками на аппарате висел на стене, кривь и вкось исписанной вокруг него цифрами и именами. Между дверью в комнату соседей и дверью на кухню громоздилось у стены до потолка сооружение из ящиков, тазов, корзин.

— Стой! — услышала она, вздрогнула и остановилась.

Алик вышел из-за не замеченного ею выступа стены.

— Доброе утро,— сказала она.

— Под ноги гляди! — приказал он. Она посмотрела. На полу у стены, на которой висел телефон, была проведена мелом черта.— Видишь? Ты можешь ходить только по стеночке, зайдешь за границу — масло из тебя буду жать.

— Как же я туда пройду? — робко кивнула она на очень важную дверь, оказавшуюся по другую сторону границы.

— Твое дело, как. А если зайдешь — масло буду жать.

— Какое масло?

— Уж какое получится. Ты уйди, уйди за границу,— важно сказал Алик. Она все стояла, и он рассердился.— Масло жмут вот так.— Он подтолкнул ее к стене и обеими руками стал давить изо всех сил.

Он был слабый, и ей было не очень больно, но очень обидно.

— Пусти! — крикнула Шурочка.

— Кричи, кричи. В квартире никого,— сказал он с удовольствием.— Кричи, хоть лопни...

Она хотела ударить его, но это был столичный мальчик и такой, которого здесь, верно, все за что-то любили; вчера она с завистью смотрела, как ласкала Алика тетка, и удивлялась, что он принимает ее ласку, будто что-то надоевшее, постылое. Она же в этой квартире была чужой. Ей стало страшно. Она заплакала.

— У, рева,— проговорил Алик так, словно только и добивался ее слез.— Ладно, пощажу.— Он достал мел и прочертил на полу узенький проход.— Вот по нему ходить туда будешь. А не то...— Он показал кулак.

С тех пор редкий день не придумывал Алик для нее какой-нибудь новой каверзы.

Однажды Шурочка решилась и рассказала об этом Лиде.

— Шурочка, мы здесь не так давно живем. Я пойду, скажу — начнется склока. Видишь, как его тетка нянчит. Ты сама с ним разберись.— Она погладила Шурочку по голове.— Прости меня, я так мало с тобой бываю, то занятия, то дежурства... Девонька, старайся быть, как взрослая... Ну, что поделаешь, если все так.

— А стукнуть его можно? — спросила Шурочка.

— Дай сдачи,— разрешила Лидя.

Когда в очередной раз Алик, с уже привычной сноровкой, принялся жать из нее масло, Шурочка размахнулась и стукнула его, попала по носу да так, что пошла кровь. Он приложил ладонь к носу и, заметив на ней кровь, побледнел и вскрикнул. На Шурочкину беду, Лизавета Прохоровна была дома. Она выходила из комнаты на кухню и, увидев, как Алик растирает кровь по лицу, испуганно бросилась к нему, закричала со страхом:

— Батюшки-светы, солнышко, что с тобой?! Кто тебя?!

Алик кивнул на Шурочку.

— У, ябеда,— сказала Шурочка с презрением.

— Ах ты, злокозненная,— воскликнула Лизавета Прохоровна.— Чтоб сейчас шла в свою комнату и носа оттуда не казала. Понаехали тут на нашу голову вражины... Хулиганье...

Вечером Лизавета Прохоровна пришла жаловаться Лиде.

И, притворяясь спящей, спрятавшись под одеяло, Шурочка слышала, как Лидя отвечает надоедливо брунжащему голосу Лизаветы Прохоровны:

— Да, я с вами согласна. Но между детьми чего не бывает. Помиряйся. Тем более, он мальчик... Нет, нет, не говорите так, она не плохая девочка... Хорошо, я ей строго накажу, чтоб больше к нему не подходила.

Но Шурочке Лидя ничего не сказала. Она потушила свет, разделась, с осторожной легкостью прилегла на матрас рядом и почти сразу уснула.

Лицо ее в маятном свете качающегося уличного фонаря казалось особенно осунувшимся и бледным. Оно не было уже таким молодым, каким помнила его Шурочка в ту пору, когда Лидя приходила делать ей уколы. В эту минуту Шурочка впервые заметила, как может быстро стареть живое человеческое лицо. То ли оттого, что Лидино лицо обычно высоко и ей было трудно посмотреть в него пристально, то ли оттого, что она редко ее видела, — они всего один раз сходили вместе в кинотеатр «Карнавал» на Арбате, — но Шурочка не обращала внимания на ее лицо. Неожиданно обнаруженные морщины на лбу, у глаз, у рта поразили Шурочку, и она почувствовала то же, что чувствовала, когда Лидя вдруг прижимала ее к себе, целовала, смотрела в глаза и говорила с тоской: «Глаза у тебя, де-

зонька... ах, какие глаза...» А Шурочка добавляла за нее про себя: «Как у отца», — и жалея в эту минуту Лиду, как маленькую, хотела утешить ее — назвать мамой. Она помнила и отца и мать и часто видела их во сне живыми, но сердце ее уже знало, что судьбой она навсегда разведена с ними; и горькую любовь к ним, мертвым, незаметно, но властно вытесняло течение жизни, в которой она не могла не мечтать быть счастливой. И все же сказать «мама» другому человеку было еще так страшно, как если бы тем она окончательно хоронила мать в самой себе.

Вглядываясь с нежностью в Лидино лицо, она мысленно клялась ей: «Я тебя всегда буду любить. И помогать тебе буду».

Однако Шурочка скоро оказалась человеком не менее занятым, чем Лида, даже по дому ничего сделать не успевала. Она так активно занялась школьными делами, что на следующий год, кроме поручения от совета пионерской базы работать по ликвидации безграмотности в одном из барачных строительных рабочих, она уже и школьную газету оформляла, и собирала металлолом, и артистов приглашала на платные концерты в клубах, где они выступали вперемежку со школьной самодеятельностью; сама она в этих концертах тоже участвовала — читала стихи Демьяна Бедного. Деньги от металлолома и от концертов шли на устройство летнего загородного школьного лагеря, организуемого по постановлению учкома.

Она успевала всюду. Маленькая, энергичная, с двумя тугими косичками, размахивая портфельчиком, она задорным и деловитым воробышком прыгала по перекопанным улицам Москвы, мимо стоящих в гнездах строительных лесов домов, мимо красных куч кирпича, пробегала, балансируя, по не уложенным еще в траншеи трубам, радостно вдыхая запахи горячего асфальта, смолы, свежешошуренных бревен, извистки, вслушиваясь в скрежет и грохот машин. Ей некогда было остановиться, чтобы поглазеть даже на работу заграничного чуда — экскаватора.

И с гордостью, которая умножала ее энергию, Шурочка ощущала, что живет не столько своей, детской жизнью, сколько жизнью огромной, единственной в мире страны; и ответственность за то, чтобы эта молодая страна выросла самой прекрасной, лежит именно на ней; и если она сегодня не успеет на занятия по ликбезу или если к концу месяца не сдаст для подшефного завода, первой среди отряда, свою тысячу гвоздей, надерганных из старых заборов и сараев и распрямленных ею, то что-то не так, наперекосяк пойдет в стране. Другой жизни для себя она не хотела и не могла предвидеть.

На бывшего квартирного мучителя своего Шурочка перестала обращать внимание. Из школы после уроков он сразу шел домой, куда к нему приходила учительница немецкого языка, старорежимная бабуся в потертой фиолетовой шубейке и в шляпке с марлевыми цветочками; эта бабуся совсем уронила Алика в Шурочкиных глазах.

Летом соседи снимали дачу в Царицыно.

А Шурочка вместе со школьным отрядом отправилась в лагерь — работать, помогать только что организованному колхозу.

И уж здесь-то Шурочка была во всем первой. Кто же лучше нее, деревенской, мог полоть и окучивать, кто быстро, будто сам одеваясь, запрягал лошадь, кто умел так, без седла, вцепившись в гриву, носиться верхом, у кого был метче глаз на ко-

лоски, а уж доить коров — про это никто в отряде и не думал...

Даже мальчишки постарше не выдерживали соревнования с ней — столько сил ей давал сельский родной воздух.

Когда лагерь закрывался, на последнем прощальном костре председатель колхоза, немолодой рабочий, из двадцатипятилетних, обняв Шурочку за плечи, громко говорил:

— Пусть эта грамота от нашего колхоза будет тебе в грядущие годы памятью, как ты, дочка, по-большевистски, замечательно работала на благо трудового народа. Если каждый из нас всегда и везде будет трудиться так же, то несокрушимый памятник товарищу Ленину и всем борцам за дело революции — социализм — будет построен в нашей стране в кратчайшие сроки...

Искры огромного костра, разбросавшего красноразличные блики по просторной поляне в березняке и игравшие даже в глубине его на молочно-белых стволах, стремительно, с треском рвались в небо и огненными мотыльками падали оттуда. И, мешаясь с искрами, то и дело бесшумно сыпались вниз плохо пришитые к августовскому небу звезды; так что Шурочке казалось, загадай она любое желание, любое и уложится в секунды падения не этой, так той звезды. Но ей и не для чего загадывать. Все было осуществимо. Этот костер горел для нее! Для нее будоражила тишину ночного леса песня, которую со звонкой хрипотцой кричали девяносто семь глоток товарищей! А главное, эту грамоту держали ее чумазы от печеной картошки, с твердыми бугорками мозолей на ладошках руки. И она гордо сознавала, что в них ее счастье.

А звезды? Что ж, значит, и звезды осыпались для нее.

В Москве, забежав в клинику к Лиде, похваставшись грамотой и раздав больным в ее палате яблоки, Шурочка поехала домой.

В самом победительном настроении, со своим холщовым вещмешком через плечо, загорелая, крепкая, она вошла во двор. И заметила одинокую фигуру Алика.

Он сидел в тени сараев, и уши у него были толсто перевязаны ватой и бинтами, а из верхнего кармана вельветовой курточки торчали два сломанных вороньих пера.

И таким одиноким он глянулся ей в сравнении с тем, что чувствовала она сама, что жалость к нему резанула ее.

О чем, о чем, а об одиночестве она знала все.

— Ты чего тут сидишь? — подходя, грубовато спросила она.

Он отвернулся и посмотрел в небо.

— А вот я тебя яблочком угощу. — Шурочка развязала вещмешок и, приметив среди оставшихся самое красивое — будто восковое, с алым бочком и искрами, красными, где желто, и с белыми, где ало, — протянула ему: — Откушай.

— У нас свои есть! — сказал он хмуро.

— Знаю, — махнула рукой Шурочка. — А такого нет, необыкновенно сладкое.

— Ну, давай, — вздохнув, согласился он.

Шурочка присела на бревно рядом с Аликом и себе тоже достала яблоко. Некоторое время они молча хрустели и чавкали.

— Не принимают? — кивнула Шурочка на мальчишек, быстро пробежавших по двору.

— Не...

Шурочка засунула два пальца в рот и пронзительно свистнула. Ей ответили свистом, и несколько ре-

бят сразу вылезло из разных углов двора — из дальнего сарая, из подъезда, из угольной ямы — и еще подошли.

— О, Шурка приехала!

— Яблочком угости, что ли... Мы уже давно всю округу обтрясли...

— Загорела-то как...

— Угощайтесь, — сказала Шурочка, и холщовый вешмешок мигом опустел.

— В казаков-разбойников играете? — спросила Шурочка. — Мы с ним, — решительно указала она на Алика, — на новенького. Ага?

— Кому это в команду такое чучело надо? — пожал плечами один из мальчишек. — В казаки я его не возьму.

— Ну, ты! — прикрикнула Шурочка. — Он тоже играть хочет. Пошли водиться. — Она взяла Алика за плечи и отвела в сторону. — Я — яблоко, ты — костер, — оглянувшись на мальчишек, сказала она шепотом с таинственной улыбкой, и они вернулись. — Матки-матки, чьи заплатки? — спросила Шурочка у того мальчишки, который не хотел принимать Алика.

— Говори, — насупился тот.

— Костер или яблоко?..

— Костер, — не раздумывая, ответил мальчишка, считая, что костром назвалась Шурочка.

— Вот, — подтолкнула Шурочка к нему Алика и засмеялась лукаво.

Мальчишка чертыхнулся и сказал Алику угрожающе:

— Смотри, бегай честно...

Разбойники помчались прятаться, а казаки остались у сараев — ждать.

Шурочка укрылась в саду за домами, между покосившимся забором и пустой собачьей конурой. Скоро она увидела, как Алик, крадучись, идет среди деревьев по ярко-зеленым упругим зарослям пахучей ромашки, внимательно вглядываясь во все.

Ей казалось, что он ищет именно ее, и она, чувствуя приятный холодок опасности, азартно крикнула:

— Ку-ку!

Алик бросился на голос; Шурочка выскочила из своего убежища и побежала. Он — за ней. Она то убыстряла бег, то замедляла, петляла, желая измотать его, но все слышала за спиной тяжелое дыхание. Наконец, он почти догнал Шурочку, хотел осалить, но получилось, что сильно толкнул в спину, она упала на дерево, и обломок сучка ударил ей в грудь, прямо под сердцем.

Пикейная белая кофточка, которой Шурочка так дорожила, порвалась, и по ней расплылось пятно крови.

— Ты что?! — вскочив с земли, запальчиво крикнула она Алику, но, глянув на него, осеклась.

Лицо его, потное от бега, было белым, как бинты, из-под которых вывалился золотистый чубчик. Алик закусил нижнюю губу и смотрел в сторону.

— Ты что? — Взяла его за руку Шурочка.

Морщась, он глянул на кровь плачущими серыми глазами и быстро заговорил:

— Я тебя убил... убил...

— Вот еще — убил, — тряхнула она косицами. — Скажешь тоже. Просто кожу разодрала...

Неожиданно он сорвал бинты с головы.

— Перевяжи скорее! Ведь кровь. — Он посмотрел и тут же отвернулся.

— Ты крови боишься, — догадалась Шурочка. — Как девчонка... Или думаешь, я пожалуйюсь? Не бойся, никому не скажу.

Он стоял растерянный, держа в руках свои бинты и вату.

Шурочка взяла их у него и снова ловко перевязала ему уши.

— Выше голову, — подбодрила она. — Скажи мальчишкам, я не играю. Пойду йодом мазаться...

Занятия по ликвидации неграмотности в рабочем бараке Шурочка должна была проводить три раза в неделю. Ей нравилось ходить туда, как и в клинику к Лиде, где, помогая взрослым, она понимала себя равной им и в чем-то даже ощущала свое старшинство.

Когда в бараке за длинный дощатый стол, со свисающей над ним, режущей глаза ослепительной лампой, усаживались на скамьи отцы семейств и женщины, иногда с грудными детьми, и Шурочка начинала, подражая старому школьному учителю — то расхаживая у стола, то резко останавливаясь, — медленно диктовать, она почти физически радостно чувствовала, как простые слова букваря дают выход ее любви к людям, открывая им путь в мир знаний, которые, мало ведомые и ей самой, представлялись Шурочке чем-то самым необходимым для человеческого счастья.

Добираться до барakov надо было на трамзае. Иногда Алик ездил с ней. Когда они возвращались, то сходили остановки на три раньше и шли пешком.

Был март. Снежную слякоть прихватило вечерним морозом, и под ногами похрустывало; только по желобам трамвайных рельсов журчала талая вода. И когда переполненный трамвай, брякая звонком, нутужно тащился в гору, как мотня богатого невода, то под его колесами непрерывно вырастали маленькие водяные усы.

— Я тебя не понимаю, — говорил Алик, размахивая Шурочкиным портфелем и подбивая ботинком ледышку. — Что толку в твоих занятиях? Вот сегодня этот здоровый парень пьяный пришел, да еще с балайкой...

— Разве ты не слышал, как его все ругали; и выгнали бы, если б не я. Он после тихо сидел, какмышь. Он очень способный; он недавно приехал, вовсе был неграмотный, кирпич на стройке носил, а сейчас и читать и писать может и простые задачи просто щелкает...

— Ну и что? — пожал плечами Алик.

— Он инженером, может быть, в будущем станет. Не понимаешь?

— Для занятий по ликбезу должны быть специально подготовленные люди. Ты свое время трапишь, а тебе-то тоже надо учиться. Вчера сама не успела и у меня физику списывала...

— Никогда не попрошу, — рассердилась Шурочка.

— Мне не жалко, но ведь тебя учат, хотя, чтобы из тебя учитель или врач получился... Разве они сейчас не нужны? И самой надо о своем будущем думать...

— Какое же будет наше будущее, если миллионы людей в стране останутся неграмотными? Где мы возьмем этих специальных людей? — возмутилась она. — Каждый грамотный человек должен работать на этом фронте. Не забывай, мы только одна шестая часть земли, и врагов у нас не счесть. Это каждый должен чувствовать, иначе они нас... — Она помолчала, потом хитро посмотрела на него: — Ты же стал заниматься по утрам зарядкой, гирию поднимаешь, водой холодной обливаешься... Ты хочешь быть сильным, и наша страна обязана быть сильной...

— Ничего я не хочу, — ответил он. — Просто занимаюсь.

— Рассказывай... — Она улыбнулась мгновенной, своей задорной улыбкой. — Я даже знаю, зачем ты занимаешься...

— Зачем?

— Я сильнее тебя и ты не можешь со мной сладить. Не обидно ли?

— Нужно больно связываться.— Алик отвернулся. Она дернула его за рукав пальто.

— Ты обязан понять! — Она сжала замерзшие кулачки и одним рубанула воздух.— Наша страна должна стать мощной, чтобы быть оплотом угнетенных всего мира. Они будут смотреть на нашу жизнь, как в волшебное зеркало своего будущего, и тогда мировую революцию нельзя сдержать никакими тюрьмами, никакими виселицами и предательствами.

— А фашизм? — тихо спросил он.

— Муссолини и гитлеры еще раз показывают всем трудящимся, до какого озверения может дойти буржуазия, желая удержать свое кровавое золото. И народы еще больше будут ее ненавидеть и свергнут в конце концов... Но все начинается здесь,—она даже топнула ногой,—у нас, все начинается с каждого из нас!

Хотя Шурочка озябла, но она была готова говорить еще и еще, лишь бы он понял ее. Ей очень хотелось, чтобы Алик был во всем согласен с ней; правда, она никак не могла объяснить себе своего желания.

В углу комнаты Алика стоял большой диван, обитый черной кожей. Ночью на нем спала Лизавета Прохоровна. Если случалось Шурочке зайти за чем-нибудь к Алику, то она часто и засиживалась здесь, примостясь на диване с книжкой, которых у Десятчиковых было много.

Больше всего любила Шурочка сказки, и Алик этим ее часто дразнил. Одну же сказку, «Рикз-хо-холок», она могла читать снова и снова. Радясь тому, что безобразный, но добрый и умный Рикз-хохолок, едва принцесса полюбила его, сделался для нее самым умным и красивым, она мечтала — может быть, потому, что сама считала себя дурнушкой,—чтобы так было и в жизни... Лишь слово «любовь» прежними незажившими воспоминаниями пугало ее, и она заменяла его словом «дружба»...

— На приданом сидишь, невеста,—однажды заметила мимоходом Лизавета Прохоровна, когда Алика не было в комнате.

Этим прозвищем она частенько вгоняла Шурочку в краску.

— На каком приданом? — жарко рдея, спросила Шурочка.

— Не на твоём, чего смущаешься,—присела к ней на диван Лизавета Прохоровна.—Хоть твое и не будет богаче... Аликиной мамочки приданое. К нам, к Десятчиковым, она с этим диваном из Твери приехала, да книжки в придачу. Узнал бы отец наш, кого сын в дом взял, второй раз бы помер...

Из-за ее насмешек Шурочка боялась ей возражать.

— Правда, хвасталась, что на этом диване поэт Бальмонт сидел,—продолжала Лизавета Прохоровна.—Сидел ли, не сидел, золотом от этого диван не покрылся, ему грош цена... Не думай, что я мамочку Алика ругаю, упаси бог... А то говорят, золотки-колотовки; не, не ругаю... Но поведение ее должно быть чуток скромнее... А то братец-то мой и посуду моет и в командировки мотается. Совсем она его под каблучком прищемила.

— Может быть, со временем этот диван в музей возьмут,—утешая ее, предположила Шурочка.

— Эх, все бы вам по музеям раздаты,—вставая, подсадовала Лизавета Прохоровна.

С того дня Шурочке начало казаться, что она недаром так любила читать на черном диване. Хотя стихи Бальмонта ей не нравились, но в том, что известный поэт сидел тут же, где теперь сидит она, было для нее нечто необычное и дорогое сердцу.

— Давай сделаем вид, что мы поссорились,—предложил как-то Алик.

— Зачем? — удивилась Шурочка.

— А тебе приятно, когда тетка обзывает тебя невестой?

— Внимания не обращаю,—соврала Шурочка, чувствуя в то же время особую неловкость, оттого что Алик произносит это слово.

— Заметно, как не обращаешь... А мне она вчера за ужином брякнула: «женишок-то наш». Я чуть не подавился... Она неплохая, наша Лизавета, но чудная какая-то. Считает, раз вынырнула меня, так я всегда при ней должен быть.

— Хорошо,—согласилась Шурочка.—Если ты так хочешь, давай поссоримся... А как? — Ей не очень хотелось ссориться с Аликом, хотя бы и понарошку.

— Как? Не будем дома разговаривать, в школу станем выходить по отдельности и возвращаться так же...

— А книжки ты мне будешь давать читать?

— Конечно.

— На диване нельзя уже будет сидеть...

— Невидаль — диван... Не хмурься,—сказал он, увидев, как она уставилась в пол.—Я все придумал. Мы будем разговаривать записками, а класть их в ручку входной двери — в пасть льва... Поняла? Никто не догадается... И так даже интереснее. Правда? Шурочка грустно покивала.

Теперь бронзовая голова льва стала казаться ей одушевленной. Незаметно для себя, она с утра ждала того момента, когда подойдет к двери и, напругая пальцы, выудит из холодной пасти во много раз сложенный листочек. Достав его, Шурочка открывала входную дверь, пробегала по коридору и, войдя в комнату, не раздеваясь, лишь присев на стул или краешек кровати, поспешно разворачивала листок и вчитывалась в меленькие строчки: «Шура,—было там,—извини, я не смогу сегодня сопровождать тебя на ликбез. Сегодня занятия драмкружка. Я встречу тебя на второй остановке от нашей. Алик».

Она писала ответ: «Алик! Не жди меня долго, а то тебя будут ругать. Шура. Сегодня я могу задержаться». Потом она свертывала бумажку и бежала класть ее в тайник. Возвратившись в комнату, она напряженно слушала, как Алик идет по коридору, как открывает дверь...

— Ты что, поссорилась с Аликом? — спрашивала Лидка.—Не заходишь к нему. Он избалован теткой, но неглупый мальчик и к тебе хорошо относится. Как-то спрашивает: «Вы почему за своей дочерью плохо следите? Ей уже давно пора новое платье купить...» Заботится о тебе.

— Ему что за дело! — обиделась Шурочка.

Ей вообще было неприятно, что кто-то, даже Лидка, так откровенно говорит с ней об отношениях с Аликом. Слова обесценивали ее чувство, превращали его в нечто обыденное; но в то же время она хотела говорить об Алике и слушать о нем, как бы невзначай. И здесь не было нужнее человека, чем Лизавета Прохоровна.

Когда Шурочка на кухне мыла в маленьком тазике посуду или чистила картошку, Лизавета Прохо-

ровна, чем-нибудь занимаясь здесь же, неторопливо рассказывала о племяннике: и какой пригожий был маленьким, да чем и сколько болел, и как ему, крохе, вырезали аппендикс, и как укусила его собака, а в другой раз он упал и ударился головой о железную лестницу, и как из-за болезни ему пришлось позже пойти в школу... Шурочка не поощряла ее к рассказам, лишь молча слушала. Но Лизавета Прохорова, чувствуя в ее молчании внимательную заинтересованность, старалась говорить со многими подробностями, и Шурочка была ей за это благодарна.

К Первомайскому празднику Шурочка оформляла школьную газету. Она всегда рисовала с удовольствием, но в последнее время к радости от того, что, занимаясь с кистями, с красками, с бумагой — предметами неодушевленными, — она может заставить чувствовать людей то же, что чувствует сама, прибавилось ожидание оценки ее работы Алик.

На этот раз на большом листе ватмана Шурочка нарисовала огромный значок МОПРа — из-за тюремной решетки просунут кулак, с зажатым в нем алым лоскутом, — а по бокам на синем фоне разбросала много цветов.

— Ничего, — одобрительно сказал за ее спиной Алик.

Она и не заметила, как он вошел в пустой класс. — Не мешай, пожалуйста, — не оглядываясь на него, попросила она ласково, — я еще не все сделала.

— Я говорю, нарядно получается...

— Это вишня цветет, как у нас в палисаднике...

Дверь открылась, и в класс вошел председатель учкома, худощавый энергичный парень.

— Как газета? — осведомился он деловито. — Сегодня к заседанию учкома должна быть готова. — Она не для учкома, а для школы, — сказала Шурочка.

— Вот и посмотрим, что редкоглегия выпускает для школы. — Он склонил голову набок. — Так, значок к месту... А вот цветы... Зачем цветы? Что за блажь? Пролетарский праздник, и вдруг цветочки, как к пасхе какой-нибудь...

— Это весна, — объяснила Шурочка. — Радость...

— Мда... — Председатель учкома солидно откашлялся. — Неубедительно... Радость, весна. Может, по случаю весны вместо заметок стихи Есенина будем народу выдавать?

— У Есенина хорошие стихи, — заметил Алик.

— Ах, вот откуда это идет? — Председатель учкома оглядел его с ног до головы. — Понятно: чуждая идеология под маской отличника. — Он взял ножницы, лежавшие у Шурочки под рукой, и начал с одного бока обрезать газету. — Так вот. Без этих размагничивающих орнаментов будет вернее.

— Погоди. — Алик взял его за руку.

— Зачем режешь?! — воскликнула Шурочка.

— Отпусти, — приказал он Алику, но тот держал крепко. — А ну, убери руки!

— Перестань резать газету.

— Забываешься, Десятчиков. Я вредителей не потерплю!

Алик вдруг вырвал у него ножницы и швырнул их в открытое окно.

— Ну, добро же... — Председатель учкома покачался с пятки на носок и отрывисто закричал: — Оба! Вечером! На заседание учкома! Я поставлю вопрос. Ты мне за это ответишь.

Вечером на заседании учкома он ходил, заложив

руки за спину, и говорил, точно нанизывая слова на невидимую нить:

— Хоть ты, Десятчиков, и любишь хвалиться своей культурой, но идеологический уровень твой крайне низок. В школе ты куешь нездоровую атмосферу, и вот уже у некоторой части молодежи начинают претворяться нотки все менее и менее сознательные. Мы не можем безнаказанно позволить прививать психологию единоличника.

— Что предлагаешь? — спросило сразу несколько человек.

— Предлагаю поставить вопрос о его пребывании в школе.

— Ого!

— Сильно!

— Это отличника-то?

— Да-да, отличника, — раздраженно ответил председатель учкома. — Думаю, все еще помнят, как месяц назад он демонстративно не явился на озеленение школьного двора.

Шурочка посмотрела на Алику. Он был бледен, и выражение его лица напомнило ей давний случай, когда он бежал за ней, толкнул и она ободралась в кровь. И хотя сейчас это был вовсе не худосочный мальчишка, а плечистый высокий парень с чуть удлинненным лицом, с продолговатыми серыми глазами, с уже пробивающимися русыми усиками, но страх, расширивший его глаза, оттянувший книзу уголки губ, отсосавший кровь со щек, был той, детской породы. И, узнав его, Шурочка ощутила прилив жалости и нежности и почувствовала себя единственной силой в мире, которая может защитить его.

Шурочка вскочила и, не прося слова, заговорила громко и отрывисто, ясно слыша каждый звук своего звонкого голоса, будто говорил кто-то другой.

— Он ничего плохого не сделал. Подумаешь, ножницы выбросил. Я пошла и подобрала. Вот они, ножницы. — Она чуть не ткнула в председателя учкома этим, важнейшим, как ей казалось, доказательством невиновности Алики. — Ты хочешь, чтобы тебе все подчинялись. У тебя замашки такого царька. Ты слишком много на себя берешь и часто забываешь о коллективе, хотя распинаешься о необходимости заботы о нем. Зачем ты сегодня резал газету? Ведь это неуважение к моему труду — схватил и стал резать... без постановления учкома... Кто-то из ребят хмыкнул. — А на озеленение Десятчиков не мог прийти, у него тетка болела, а отец с матерью в командировке были. И если у тебя плохая память, я напомню, что докладывала тебе об этом заранее...

— Только посмотрите, как она за него заступается, — пренебрежительно сказал председатель учкома. — Ничего не попишешь — в одной квартире живут... Можно быть уверенным на сто процентов: здесь личные отношения...

— Оставь свои пошлые шутки! — почти закричала Шурочка. — Ты его просто ненавидишь за то, что он лучше всех учится... Он золотой аттестат может получить, ты же командуешь, ратуешь за учебу, а сам — с троечки на троечку...

— Выговор Десятчикову за индивидуализм, и все тут. А то до ночи просидим, — предложил кто-то, верно, спешивший домой.

— Настаиваю на строгом выговоре, — сказал председатель учкома.

— Напрасно ты вмешалась, — говорил Алик, когда они возвращались домой. — Учиться еще целый год; он нам не даст жизни. Он хочет, чтобы все были одинаковыми, так ему удобнее командовать; а больше он ничего и не может... Односторонний человек.

— Почему же ты не сказал это ему при всех?

— Что бы изменилось?

— Ты изменился бы,— сказала она, секунду колебавшись.— Говоря правду в глаза, мы становимся мужественнее... смелее.

— Я не боюсь,— отозвался он устало.— Но если многие люди сами хотят быть одинаковыми... Даже в мелочах,— поспешно сказал он, желая предупредить ее возражения.— Вот твоя мама хотя бы. Я очень уважаю тетю Лиду, она врач, много работает, но одевается «фордиком» — береточка, кофточка, юбочка...

— Не смей так говорить о ней! — до слез оскорбясь за Лиду, крикнула Шурочка и тут же, испугавшись, что он обидится, неожиданно для себя сказала: — Она не моя мама. Мама давно умерла...

Алик приостановился и спросил изумленно:

— Как?

Не отвечая, она стремительно побежала вперед.

Дома Шурочка закрылась в своей комнате. Она слышала, как пришел Алик. Из комнаты он снова прошел к входной двери, открыл ее и быстро вернулся. Шурочка поняла, что он положил в их тайник записку. Немного погодя, она вышла, взяла записку и прочла в скудном свете лестничной лампы: «Шура! Прости! Я не знал, что у тебя мама не родная. Алик».

В коридорной темени он ждал ее. Она остановилась. Алик взял ее за руку и сказал шепотом:

— Прости... Я так мало видел ее вместе, даже не слышал никогда, как ты называешь тетю Лиду... Прости...

Она почти не различала его в темноте. Ей было приятно, что он так осторожно, с неумелой нежностью держит ее руку в своей, сильной и горячей.

— Хорошо,— сказала она и улыбнулась, вспомнив, как он жал из нее здесь масло.

Глава четвертая

Было странно остаться стоять, слушая затихающий перестук колес, глядя вслед последнему вагону с окошечком тамбурной двери и тремя клюквенными глазками сигнальных огней. Их круто унесло за станционные постройки, и Александре Ивановне сделалось тревожно, будто это был какой-то знак решительного поворота ее жизни и ей пора прощаться с прошлым, сожалея о нем до слез.

Еще не случалось, чтобы экспедиция уезжала без нее, чтобы она провожала. Александра Ивановна заставляла себя думать, что беспокоится лишь о том, как развернутся работы.

— Идемте, тетя Шура,— позвал Максим.

Они медленно пошли по мягкому от жары, в оспинах женских каблучков, асфальту опустевшего перрона, следом за носильщиками с их погромыживающими пустыми тележками.

— Ваши практиканты — хилыки,— говорил Максим.— Салаги. Как они просеки рубить будут, не представляю. Нет, без меня не обойдется. Сегодня посмотрим квартиру, дня через три — переезд, а там — в дорогу,— энергично спланировал он.

— Слышал, что вчера мама говорила?

— Насчет отдыха? Да я последний месяц, когда при маяке кантовался, палец о палец не ударил, прокисал на макаронах с тушенкой. Один раз помог мичману спиртом линзы протирать. Маячный огонь окружают огромные цилиндрические линзы и цветные фильтры...

— Погоди,— остановила его Александра Иванова.— Мне, конечно, хотелось бы, чтоб ты поехал...

— Чудненько!

— «Чудненько», — передразнила Александра Иванова.— Ты забыл одну малость: нужно помочь родителям переехать. Это раз. И второе — тебе, не откладывая, надо серьезно подумать об учебе. На следующий год ты должен знать, куда поступать. И готовиться...

— Нет.— Он посмотрел на нее смеющимися карими глазами и даже погрозил шутливо пальцем.— Вы хитрите... Не хотите, чтобы мама на вас обиделась.

— Ребенок, нельзя говорить взрослым «хитрите»... Хотя отчасти ты угадал... Мама тебя очень ждала, и огорчать ее неловко. Но в основном я думаю о тебе,— сказала она серьезно.— Ты должен не тянуть с решением, а то начнешь потом метаться да разочаровываться...

— Нет! — воскликнул он.— Я в жизни не разочаруюсь, и судьба моя будет счастливой.

И по тому, как легко он нес свое молодое, сильное, жаждущее движений тело, по тому, как гордо была вскинута его голова над широкими плечами, невольно верилось, что никакой печали не устоять перед этой энергией жизни.

Новостройка, до которой они добирались с двумя пересадками и которая напугала было Александра Ивановну отдаленностью от милого ей центра города, неожиданно, едва они сошли с автобуса на последней остановке, глгнулась ей.

Определенно, что-то было для сердца в этих, как бы вырастающих друг из друга, серых и белых, пропитавшихся солнцем длинных фронтонах с голубыми, — куда доставало небо, — и серо-стальными лентами окон. Чем-то радовала просторная площадь, в центре которой на запущенном лугу благоухали заросли желтого донника. Там и тут были видны оставшиеся с деревенских времен старые яблони с бледно-зелеными лампочками белого налива в темной листве. И озерцо с бетонными берегами синело недалеко.

Даже лес зеленел плотной стеной в конце одной из улиц.

Александра Ивановна радостно указала на него Максиму:

— Может, сходим... Я в автобусе чуть не задохнулась.

— Нет, идем смотреть квартиру,— рассудительно возразил Максим.

Они поднялись на шестой этаж в новенькой, резко пахнущей пластиком кабине лифта, и Максим позвонил в дверь нужной им квартиры, из которой доносились взвизги гармошки.

Открыл им толстый губастый парень с розовой физиономией, подернутой хмельной улыбкой. И другой вышел из комнаты — его копия, тоже в майке и в трусах, но с гармошкой через плечо.

Ты рябая, я рябой.

Мы пойдем плясать с тобой.

Пусть народ любитесь —

Рябые соревнуются,—

на одном дыхании прокричал он, выпучивая глаза; и на шее у него вздулась жила. Отвопив, он сдвинул мехи и, сделав сердитое лицо, спросил:

— Это к кому?

— Комнату смотреть,— сказал Максим, решительно шагнув в коридор.



Гармонист дурашливо встал у него на пути.

— У нас сейчас приема нет. Мы закрыты на обед... Часа через два заходите...

— Чего-чего? А ну, короче.— Максим отодвинул парня в сторону, обернулся к Александре Ивановне: — Пойдемте, тетя Шура. Кажется, вот эта комната.

Они вошли в просторную солнечную комнату, с большим встроенным шкафом, с лоджией.

Александра Ивановна открыла дверь — на полу лоджии стояла аккуратная батарея пустых бутылок.

— Понятно,— кивая на них, сделал заключение Максим.

Александра Ивановна прошла в лоджию и глянула вниз на газоны, на качающиеся саженцы, на гудроново-черную крышу комбината бытового обслуживания с огромными грибами вентиляции. Из парикмахерской комбината тянуло приторным запахом одеколона. Именно он не понравился Александре Ивановне, хотя больше всего ее смущали эти пьяные парни. Но, мечтая все время о каких-то хороших соседях, она все-таки чувствовала себя виноватой, оттого что именно соседи могли стать помехой к ее скорейшему переезду.

— Ничего комната,— неопределенно пожмая плечами, сказала она Максиму и вышла из лоджии.

— Комната — блеск,— подтвердил он.— Магазины рядом, бытовое обслуживание под окном...

Близнецы вошли и встали на пороге комнаты.

— Забирай свою тетю и мотай отсюда,— сказал гармонист, снимая с плеч гармошку, укладывая ее осторожно на паркет и подходя к Максиму.

Брат его широко улыбался.

— Нам пожилых в подселение не надо. Не хотят уважить — пятаю такую подкидывают. Нам молоденькую дай.— Гармонист, как бы желая лучше втолковать Максиму свою мысль, протянул руки и небрежно ухватил его за отвороты рубахи.

Александра Ивановна хотела броситься к ним, но тут левая рука Максима, сжатая в кулак, дернулась снизу вверх, а гармонист пошатнулся и молча сел на пол.

— Пора, тетя Шура,— сказал Максим,— больше здесь делать нечего.— Он отстранил с порога все так же улыбающегося второго парня, пропустил вперед Александру Ивановну и от входной двери крикнул: — Пока, салаги...

Когда они вышли на улицу, один из толстяков, уже было не разобрать какой, из открытого окна вслед им грозил кулаком:

— Это что — с пьяным человеком драться! В другой раз тебя, бандюга, в милицию сволочем. Не приходи, гад!

— Пусть руки не протягивают,— сказал Максим.— С пьяным драться — не дело, но вам, тетя Шура, к такой компании вселяться... подумать надо.

— И район нравится и квартира хорошая, а подумать придется,— согласилась Александра Ивановна и предложила с надеждой: — Возможно, инспектора перепутала адрес... написала в открытке не ту квартиру... У нее там сотни переселяются.

Она шла, тайком поглядывая на встречающих и завидывая им, уже не замечая своим счастьем и спокойным живущим в таком светлом и чистом районе. Медовый запах донника теперь дразнил ее своей сладостью. И неопределенность, терзавшая последнее время, снова овладела ею. Когда-то теперь она уедет в экспедицию? Не подведет ли всех? И нет ли смысла прыгнуть, как в холодную воду, зажмурившись: переехать, а там будет видно? Но как же жить с такими соседями? Меняться потом никто не захочет.

Эти торопливо возникавшие вопросы вконец расстроили ее.

«Ну, расквасилась!» — прикрикнула она на себя. Тонко, не терпящим возражений, Александра Ивановна отослала Максима домой, а сама поехала к инспектору.

Но напрасно: день был неприятный.

Александра Ивановна отправилась на работу и даже обрадовалась, найдя в комнате подвала, где недавно шли сборы, тот особый беспорядок, который остается после отъезда экспедиции. С большим рвением Александра Ивановна принялась за уборку, ища для каждого гвоздика, каждой веревочки свое место и забываясь за этим тщательным хозяйственным трудом.

Ей хотелось обнаружить нечто такое важное, оставленное в спешке уехавшими, ради чего можно было бы бросить квартирные дела и мчаться без оглядки им вдогон.

☆☆☆

Хотя было поздно, но соседи ждали Александру Ивановну и даже не дали зайти в комнату.

— Максим нам ужасы наговорил всякие,— сказала Оксана Михайловна.— Сядь, расскажи...— Она усадила Александру Ивановну на табурет у окна кухни и распорядилась: — Чайничек поставьте, Лизавета Прохоровна.

Заспанный Григорий Емельянович, в спортивных брюках, в майке, вошел в кухню, сказал хрипловатым со сна голосом:

— Извиняюсь за вид... Что там у тебя с квартирой, Шуручка, стряслось?

— Ничего особенного,— отвечала Александра Ивановна, желая как-то двумя словами избавиться от вопросов.— Парни там живут... Может быть, неплохие, но бутылок пустых очень много... И говорят, до меня четверо отказались.

— Не подарочек — такая парочка,— нахмурился Григорий Емельянович.— Верно, керосинщики, будь здоров.

— Сама по себе квартира прекрасная, и лес рядом...

— А магазины? — поинтересовалась Оксана Михайловна.

— Есть — и продуктовые и промтоварный... Если вам там будут давать, соглашайтесь...

— Почему же инспектор тебе именно эту квартиру подсунула, если четыре человека уже отказались? — спросила Оксана Михайловна — Сама-то ты что у нее просила?

— Просила, чтобы тихо было, и переехать побыстрее... Мне кажется, она перепутала адрес...

— Парней приструнить можно,— задумчиво предложил Григорий Емельянович.

— Ну да, сегодня их приструнишь, а завтра они ей устроят такое, что не обрадуешься,— остерегла Оксана Михайловна.

— Максим, кажется, уже попытался это сделать,— сказала Александра Ивановна.

— Дрался?! — обеспокоилась Оксана Михайловна.— Ах, мальчишка...

— И как он их? — любопытствовал Григорий Емельянович.

— Болельщик,— возмущилась Оксана Михайловна.— Это тебе не футбол, а сын...

— Он раз только стукнул одного...

— Не рассказывайте вы этого маме,— входя в кухню, взмолился Максим; он тоже был спрошен, вышел в трусах и в майке и остановился, обхватив руками плечи.— Она теперь начнет: «Ты дерешься, тебя изувечат». А я полтора года боксом зани-

маюсь. С крейсера одного парня за самоволку к нам на остров списали, а у него по боксу первый разряд... Мы с ним часа по два каждый день работали в перчатках... Да я и не задираюсь никогда, этот друг сам сегодня напросился.

— Хватит оправдываться, боксер, — сказал Григорий Емельянович. — Иди куда тебе надо, нечего растелешенным торчать на кухне.

— Я холодненькой попить. — Максим пошел, открыл кран и, изогнув голову, ртом поймал струю воды.

— Скажи-ка серьезно, считаешь, можно там тебе Шуре жить? — спросил Григорий Емельянович.

— Не... — разгибаясь, ответил Максим и, закрывая кран, с удовольствием вздохнул. — Ни в коем случае. Нахальные хлопцы. С ними не столкнешься.

— Да что ж ты этой инспекторше говорила? Что она тебе? — все пыталась докопаться до сути Оксана Михайловна. — Вспомни хорошенько.

— Я же говорю, просила, где потише; ну, сказала, что соседей таких уже не найду, — улыбнулась Александра Ивановна.

— Это точно, — заметила Лизавета Прохоровна.

— Объяснила, что скоро должна уезжать в экспедицию... что буду очень признательна... Что еще?

— А-а-а, — протянула Оксана Михайловна с удовлетворением человека, который долго искал что-то и наконец неожиданно нашел, и она значительно посмотрела на мужа. — Понятно...

— Что понятно? — удивилась Александра Ивановна.

— Все просто. Ты ей так и сказала: буду очень признательна?

— Кажется.

— А она решила, ты собираешься ей дать.

— Что дать?

— Не будь наивной — деньги, подарок...

— Я сразу говорила, здесь нечисто. — Лизавета Прохоровна позвала, перекрестила рот. — Это от веку за услугу одаривать... Еще батюшка мой, царство ему...

— Что ты выдумываешь, Оксана! — сердито перебила Десятчиков Александр Ивановна. — Инспекторша — очень милая женщина. У нее там без меня хватает дел...

— Поэтому она тебя так точно и направляет туда, откуда уже четыре человека сбежали, — усмехнулась Оксана Михайловна.

— Ну, ошиблась, — раздраженно сказала Александра Ивановна.

— Не волнуйся, Шурочка, — остановил ее Григорий Емельянович. — Сходишь, все выяснишь. Смотровой ордер у тебя первый, а их, как в сказке, до трех дают...

— Понимаешь, мне уезжать надо. У нас в этом году човое лесничество, сложные работы. Фактически мой начальник за меня поехал — а у него отпуск на носу... За много лет человек первый раз летом едет отдыхать.

— Ах, — улыбаясь, притворно вздохнула Оксана Михайловна, подошла и обхватила соседку за плечи и даже нажала немного, пригибая их вниз. — Этой милой женщине ты должна дать, чтобы не мучиться.

— За что?! И отчего ты так думаешь о ней?! Ты же в глаза ее не видела...

— Тебе надо скорее получить комнату и уехать? Надо... Ты ей дашь, она для тебя постарается. Это азбука. Поверь, чтобы быть спокойной и счастливой, такое средство гораздо надежнее, чем запускать в новую квартиру кошку.

— Погоди шутить, — снимая ее руки с плеч, ска-

зала Александра Ивановна. — Значит, по-твоему, я должна идти к человеку и, как лакею, совать ему деньги... Но почему?! Ведь это, может быть, честнейшая натура... Нет! Чтобы себя считать порядочным, надо прежде всего хоть немного уважать других.

— Не уважать, а уважить, — поучительно поправила Лизавета Прохоровна. — Такое всякий любит.

— Конечно, — с некоторой обидой в голосе протянула Оксана Михайловна, — инспекторша твоя — чистейшая душа. — Ей было неприятно при сыне и муже вставать на одну сторону с Десятчиковой, но она терпеть не могла в чем-нибудь отступать, а уж особенно в защите своего понимания отношений между людьми, которое она, считая себя достаточно искусственной в жизни, всегда представляла единственно верным, все иное полагая лицемерием, впрочем, тоже необходимым, с ее точки зрения — как пудра или помада — и потому заслуживающим снисхождения. — Однако все единым миром мазаны...

— Деньгами никого не обидишь, — поддержала ее Лизавета Прохоровна.

— Нет, мама, — решительно сказал Максим. — Взятничество надо искоренять. Оно не достойно нашей социальной системы, оно унижает не только человека, который дает или берет, но и общество... Вот у нас на маяке повар был, сверхсрочник...

— Погоди со своим поваром, — отмахнулась Оксана Михайловна. — Хорошо, возьмем, к примеру, портниху, — не желая говорить «меня», сказала она неопределенно. — Попадает к ней сложный в работе, аморфный такой материал, его обязательно надо сажать на подкладку, иначе он форму не будет держать. Это возня? Согласись.

— Возня, — кивнула Александра Ивановна.

— Но ведь должен быть какой-то стимул, чтобы возиться не шалая-валяй, а с душой... Правильно?

— Но разве для портнихи не удовольствие в том, что она портниха? Она любит это дело. Отличается своим умением от других, от меня, например, безрукой, — постаралась она похвалить Оксану при сыне. — Я и платок толком подрубить не умею. Разве для хорошей, настоящей портнихи нет стимула в победе над трудным материалом...

— Да-да-да, — покривилась Оксана Михайловна. — Это все идеалы, которые приятно проповедовать на кухне, а после пойти и напиться чаю... Вот, кстати, и закипел, — сказала она, подходя к плите и выключая газ под чайником. — А в жизни все обыкновенно и просто... — Она на мгновение задумалась, отыскивая сравнение посильнее. — ...Как с любовью... Твердят: любовь, любовь, а эта любовь к одному сводится...

— Не ударить ли нам по тормозам, — вставил Григорий Емельянович осторожно. — На ночь больно глубоко копаем, не пора ли закрыть дискуссию...

— Тетя Шура права, — твердо сказал Максим. — Что б ни говорили, что б ни думали, сколько бы ни смеялись, а в конце концов, если разбираться, все держится на честности...

— Ты-то что можешь смыслить в таких делах? — возмутилась Оксана Михайловна. — Поработай, пооботри среди людей, тогда и выступи. — Она говорила, не глядя на сына, и не видела, как он сперва усмехнулся неловко, пожал плечами и как потом взгляд его ушел куда-то в угол и лицо окаменело. — А то вымахал детина, а все мала... — мягко сказала она и вдруг обрадованно обратилась к Александре Ивановне: — Вспомни-ка, Шурочка, ты сама рассказывала, как тебе давали взятку. Помнишь, лет семь назад? Ты в экспедиции была, и приехал к тебе председатель колхоза с медом да с

маслом, чтобы ты какой-то там луг им оставила. И ты им луг оставила. Ведь оставила?

— Оставила,—спокойно согласилась Александра Ивановна.—Только не из-за масла с медом, их я не взяла. Хотя луг и должен был отойти к лесничеству по новому плану, я приняла грех на душу—оставила его колхозу, потому что нельзя было разорять людей. У них там выпас был... Посмотрела бы ты на этот колхоз—запустение, женщины, старики и дети, последнюю рубашку можно было отдать. Им без этого луга никак нельзя...

— Вот видишь, всем без чего-нибудь нельзя,—оставила за собой последнее слово Оксана Михайловна и сказала добродушно:—Так что иди с чистым сердцем, дай ей эти деньги и поезжай спокойно в свою экспедицию...

— Мама! Как ты говоришь! — воскликнул Максим.

— Это, Шурочка, по характеру твоя копия... пока...—сказала Оксана Михайловна.—Но он—за родительской спиной, да сам какой здоровенный, ему в самый раз о высоких материях толковать... А ты? Тебе о будущем надо думать, о здоровье... За это можно заплатить, никто не осудит...

— Тут чего дорожиться,—сказала Лизавета Прохоровна,—тут и впрямь последнюю рубашку отдашь для здоровья-то, ведь до вечера доходишь, и ноги уже не свои...

— Но ведь и будущее мое—в новом доме, а жить я хочу в нем честным человеком, сама для себя честным,—воскликнула она, волнуясь оттого, что Оксана ставит ее в положение, когда нельзя отмалчиваться и приходится даже здесь, на кухне, говорить нечто такое, о чем не говорится, но что подразумевается в душе каждого человека, как сердце в груди.—Зачем мне муки совести, горше их нет ничего... Я боюсь их.—Она постаралась усмехнуться.

— От большой-то честности иногда люди погибают,—значительно сказала Лизавета Прохоровна и внимательно посмотрела на свои узловатые пальцы.—Или такой крест на себя берут, что уж и не знаю, как он их к земле не придавит...

— Ну, будет!—решил Григорий Емельянович и повел плечами.—Закрываем военный совет. Развели психологию, а надо думать, что делать конкретно. Иди, Шурочка, завтра и выясни, что да как у этой милой инспекторши. Утро вечера мудренее...

— Правильно, Григорий Емельянович,—будто умилилась Лизавета Прохоровна.—Мужское слово да вовремя сказанное—самое разумное. Спать пора. Меня из одиннадцатого дома подруга сегодня снотворным угостила. Клялась, спишь без просыпа и голова после не болит... Надо испытать.

— Завтра, тетя Шура, я с вами пойду.—Максим вызывающе посмотрел на мать.—Сегодня вы меня недаром взяли; и если завтра эта гражданка душу вам будет мотать...—Максим сжал кулаки.

— Аника-воин,—засмеялась Оксана Михайловна.—Иди, иди, только фамилию свою не бряхни, заступничек. А то эта тетя по доброте душевной упечет нас в такую тьму-тараканию, что и ты не обрадуешься,—предупредила она серьезно.

☆☆☆

Александра Ивановна лежала в темноте с открытыми глазами, рассматривая на все тот же уродливый профиль, который углом стеклянного шкафа вырисовывал уличный фонарь на стене. Это был ее немой собеседник, ставший привычным. Ей хотелось думать—он понимает, как мучает ее то, что она при Максиме ввязалась в разговор на кухне и полу-

чилось некрасиво, будто она хотела унизить чем-то Оксану.

Максим, наверное, лежит там за шкафом на своей раскладушке и переживает. «И зачем Оксане было начинать все это и так настаивать на своем?..»

Александра Ивановна не сомневалась, что Оксана возводит на инспекторшу напраслину. Она не была наивным человеком и, если бы заглазно при ней обвинили кого-нибудь в таком деле, возможно, она и поверила бы... Всякое бывает. Но она сама слышала голос инспекторши Цветковой, видела ее улыбку, глаза—то человеческое, что не может лгать, что иногда правдивее всяких слов.

Однако ей сейчас не хотелось ни о чем думать—надо было засыпать, а заснуть она не могла. Снотворного она боялась, как и вообще лекарств, и принимала их лишь в самых крайних случаях, даже головную боль старалась перетерпеть, считая, что раз уж врачи пророчат ей всяческие неприятные последствия от контузии, то, пока до них не дошло дело, лучше к лекарствам не привыкать.

Она повернулась на другой бок и скомандовала себе: «Спать!»

— Тетя Шура,—услышала она сразу робкий голос Максима,—меня сегодня Лизавета к себе в комнату звала, вишневкой угощала почему-то. Я у нее там первый раз за всю жизнь был. Вы знаете, там, на потолке, вокруг лампы, сквозь побелку надпись видна: «Шурочка! Я тебя люблю!» Кто же в ее комнате мог такие слова про вас написать? А, тетя Шура?

От внезапности вопроса она сжалась под одеялом в комок, затаила дыхание, но ей казалось, будто Максим понимает, что она не спит, и знает, почему ей страшно отвечать.

Он помолчал, потом спросил уже шепотом:

— Спите, тетя Шура?—И сам себе ответил:—Спит...

Нет! Теперь ей было не уснуть окончательно. Его слова, как кончик нитки в игольное ушко, вошли в память, и прошлое потянулось прерывистой волнующей чередой, кружа сердце в живом для нее потоке.

☆☆☆

В начале лета неожиданно приехала тетя Фрося с Николашей.

Николаша был уже подросток, большелобый, коренастый, неулыбчивый мальчик. Шурочки он стеснялся; и когда она тормошила его и целовала, он поводил плечами и уговаривал ее баском:

— Да уж полно тебе... Да чего это ты...

Николаша бредил самолетами.

— У твоего братца,—смеялся Алик,—вместо сердца и вправду пламенный мотор...

Радость от встречи с братом испортила тетя Фрося, постаревшая, но не изменившая своему характеру,—она раскрыла соседям самую сокровенную Шурочкину тайну. Все узнали историю ее и Лиды... Хотя тетя Фрося выставила Лиду в самом хорошем свете, потому что, оказалось, Лида переводила ей все деньги за свои сверхурочные и посылала к праздникам подарки.

Но Лизавета Прохоровна уже вздыхала на кухне, едва Шурочка появлялась:

— Горька сиротская жизнь, что и говорить—горька. Это надо же, как мачеха твоя судьбы чужие покорежила, а еще образованная, врач...

Чтобы не отвечать ей резко, Шурочка до боли закусывала губу.

Услышав как-то теткин причитания, Алик вбежал на кухню и срывающимся голосом крикнул:

— Тетя Лиза, не смейте так говорить...— И ласково обратился к Шурочке:— Не обращай внимания, Шура.— Он взял ее за руку и повел из кухни.

— Хм,— хмыкнула вслед Лизавета Прохорова.— При нашей бедности да такие нежности...

В аллеях Парка культуры было обычное для выходного дня оживленное движение праздных и большей частью молодых людей, которое уже само по себе располагает к беспечному веселью. Но это движение еще и распустилось цветами и воздушными шарами, флагами и зеленью, оно подхлестывалось кружением каруселей, взлетами качелей и девичьими взвизгами оттуда, сверху; его сопровождала музыка: одного духового оркестра милиции, встречавшего маршами у входа в парк, и другого — джаза пожарных, словно соревновавшегося с первым быстрыми фокстротами, звучавшими в отдалении — с набережной. Все участвовало в этом движении — солнце, перистые облака, ветер, треплющий листву и ласкающий лица; даже свежее выделенные дискболлы, копьёметатели, девушка с веслом поддерживали его самой своей неподвижностью, как бы давая ориентиры всему множеству белых рубашек, брюк, туфель, полосатых футболок, блуз, расклешенных юбок, загорелых ног, обутых в тапочки-тенниски и сандалеты, и даже нет-нет да мелькавшим драгоценным камушкам лейтенантских «кубарей».

— Если мы потеряемся,— убеждала брата Шурочка,— встречаемся около нее... Посмотри и запомни.

— Не потеряемся,— уверенно отвечал Николаша, скептически оглядывая присевшую перед броском дискболку, и, переводя взгляд на Алика, немного подумав, сказал:— Да идите, куда хотите, небось, и сам потом до дома доберусь, не маленький.

— Что ты! Что ты! — замахала на него руками Шурочка.

— Тогда пошли к парашютной вышке!

Шурочка уже была не рада, что дома пообещала брату сводить его на парашютную вышку; если Николаша решится прыгнуть, то Алику будет неловко побояться и не сделать то же самое.

Оттягивая этот момент, она сперва повела их к тиру. Здесь Алик был королем; значок ворошиловского стрелка он носил недаром. Он с одной руки стрелял в самую мелкую мишень, попадание в которую заставляло вертеться крылья маленькой мельницы; и всякий раз, едва он, оперев левую руку в бок, а правую с винтовкой вытянув, нажимал спусковой крючок, крылья бешено крутились.

Николаша смотрел на Алика с одобрением, и это радовало Шурочку... И на силомере Алик отличился — ударил деревянным молотом так, что железка, подлетев вверх, звякнула об ограничитель.

— Силен,— покачал головой Николаша.

Однако подвиги Алика раззадорили его; ему хотелось взять реванш, и он упорно тянул сестру к парашютной вышке. Пришлось идти к вышке.

Николаша полез на нее с такой привычной уверенностью, что кто-то из зрителей, окружавших у изгороди лысый круг приземления, сказал: — Дает прикурить пацан.

Едва на Николашу надели ремни подвесной системы, он без секунды промедления шагнул вниз; хлопнул белый купол, Николаша, улыбаясь, немного пролетел и, вытянув ноги под углом, как и положено, приземлился, сам отстегнул ремни и развалистой походочкой направился к ним.

— Какой ты молодец,— похвалила Шурочка.

— Ерунда,— ответил Николаша снисходительно.— Вот бы с самолета... Там на крыло надо выходить...

А вы прыгать будете? — спросил он, с вызовом посмотрев на Алика.

— Нам не хочется,— быстро сказала Шурочка.

— Ну, отчего же,— неуверенно произнес Алик, отводя глаза.— Не велик героизм...

— Ну, прыгни, прыгни,— с задором стал подначивать Николаша.

Алик пожал плечами.

— Ребята, пошли мороженое есть,— предложила Шурочка.

— Потом мороженое,— заупрямился Алик, нагнув голову, он двинулся в кассу брать билет.

По лестнице вышки он поднимался очень медленно... Когда ему пристегнули ремни, он еще что-то спросил выпускающего, сделал было шаг, но тут же отступил назад.

— Дрейфит,— определил Николаша и сплюнул.

Шурочка сердито дернула его за руку.

— Некрасиво плеваться...

Она, не отрывая глаз от вышки, мысленно приказывала Алику: «Прыгай, прыгай! Ну, прыгни же...» Пауза затянулась, и кто-то из толпы сказал:

— Слабё...

А мальчишка, стоявший рядом с Шурочкой и Николашей, озорно крикнул:

— По лестнице слазь, форсило!..

Вдруг Алик сделал решительный шаг и прыгнул, как-то странно всплеснув руками.

К ним он подошел энергично, беспечной походкой, и когда Шурочка посмотрела на его красивое лицо, то увидела такую ничем не сдерживаемую радость, что поразилась и сама засмеялась.

Неожиданно он взял ее под руку, первый раз в жизни, но с такой смелостью, будто это было для него уже давно чем-то привычным.

— Теперь очередь мороженого,— отрывисто сказал он Николаше, который смотрел недовольно и осуждающе, ожидая, когда сестра пресечет эту волюность. Но Шурочка не замечала его взгляд и не убирала локоть из ладони Алика.

— Скоро я в аэроклуб запишусь,— со вздохом сказал Николаша.— Вот годами выйду и запишусь... Летать буду, с самолета затяжными прыгать...

— Затяжными так затяжными,— засмеялся Алик.

Мороженщик в белой куртке, с синим деревянным ящиком на ремне через шею, взял маленькую жестянку с ручкой, положил на дно ее вафельный кружок, ложкой натрамбовал туда рассыпчатое мороженое из оцинкованной банки в ящике, прикрыл другой вафлей с проштампованным на ней именем «Вера», ручкой выдавил из жестянки,— протянул Николаше и сказал сочувственно:

— Бери быстрее, уж очень... — Передразнивая Николашу, он поводил языком по губам.

Николаша покраснел, и Алик дружески хлопнул его по плечу.

— Ничего, и летчики мороженое любят.

Они шли втроем, держа кругляки мороженого двумя пальцами, тщательно лизали сладчайший холод и поглядывали друг на друга, то и дело беспричинно смеясь.

(Продолжение следует)



ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ

Морская прогулка

Идет прогулочный баркас
Вдоль голубого мыса.
Семь чаек вьются за кормой
И две над головой.
А с берега глядят на нас
Дворцы и кипарисы,
А с горизонта мчится вал
К черте береговой.
Одни забыли об игре,
Другие — о потерях.
На лицах взрослых — озорство,
На детских лицах — грусть.
Все дети на море глядят,
Все взрослые — на берег.
А я на лица тех и тех
Гляжу — не нагляжусь.

☆☆☆

Проснувшись, подхожу к окну:
Отец уходит на войну!
Раз-два! Винтовка за спиной.
Уходит, не простясь со мной.
Еще не явь. Уже не сон.
Отец ушел на полигон,
Неся подмышкою мишень,
В тот мирный, довоенный день.

На языке тех лет

Был праздник под названием МЮД,
И в МОПР вступал рабочий люд.
Отец мой дважды в шестидневку
В Народный дом ходил на спевку.
[Лишь незадолго до войны
Недели были введены.]
Спорт звали только физкультурой,
Любую ткань — мануфактурой.
Мне горло кутали кашне.
С зажимом галстук был на мне.
А на зажиме пять поленьев
И пламени пять языков —
Эмблема пионерских звеньев,
Союз пяти материков.
В копилки клали мы монетки
Для новостроек пятилетки.

Друзьям на языке тех лет
Мы слали пламенный привет.
А недостатки мы вскрывали
И постепенно изживали.
И жизнь отдать за счастье масс
Мечтали лучшие из нас.

Калужские строфы

О скромные заметки краеведов
О жизни наших прадедов и дедов,
Вы врезались мне в память с детских лет.
Не зря я вырезал вас из газет.

Восточных ханов иго вековое,
И зарево пожаров над Москвою,
И сборщик дани на твоём дворе.
Все началось на Калке, на Каяле.
А кончилось стояньем на Угре,
[Там, удочки держа, и мы стояли.]

Болотников боярам задал страху.
Попрытались ярыжки и дьяки.
Нос высунешь — и голову на плаху.
И царь — мужик, и судьи — мужики.

Двойного самозванца пестрый стан
Здесь факелы возжег. И в блеске вспышек,
Кружась ночью птицей, панна Мнишек
Смутила сны усталых калужан.
«Димитрий жи-и-ив!»
Но спал упрямый город.

Димитрий лжив. Не тронет никого
Лихое счастье Тушинского вора
С ясновельможной спутницей его.

Губернской Талии, калужской Мельпомене
Пришлось по нраву острое перо.
Здесь двести лет назад царил на сцене
Блистательный пройдоха Фигаро.

Здесь как-то проезжал поэт влюбленный,
Любовью нежных жен не обделенный,
Но самая прелестная из дев
[Поэт дерзнул сравнить ее с Мадонной]
Ждала его у речки Суходрев.

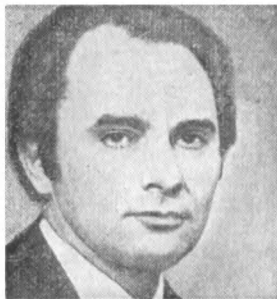
Дом двухэтажный в самом скучном стиле.
Шамиль с семьей здесь ссылку перенес.
И в их кругу семейственным гостили
Полиция, тоска, туберкулез.

Названья здешних улиц... В них воспеты
Бунтовщики, гремевшие в веках.
Не позабыты первым горсоветом
Жан-Поль Марат и даже братья Гракх.

Здесь Циолковский жил. Землею этой
Засыпан он. Восходит лунный диск,
И на него космической ракетой
Пророчески нацелен обелиск.

А он не думал вечно спать в могиле.
Считал он: «Космос нужен для того,
Чтоб дружным роем люди в нем кружили,
Которые бессмертье заслужили.
Ведь воскрешат их всех до одного».

Он был великим. Он был гениальным.
Он путь открыл в те, звездные, края...
Училась у него в епархиальном
Учительница школьная моя.



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

☆☆☆

Высокие, темные ели
В далеких ночах ветровых
Вы добрые песни мне пели.
А чем я ответил на них!
Березы, и пихты, и сосны,
По мере отпущенных сил
Вы в день согревали морозный.
А чем я за то отплатил!
Вот разве лишь тем, что доныне,
Иной попидавши предел,
Дорогу в края ледяные
Еще позабыть не сумел.
И к вам, свою совесть волнуя,
Хоть сам уже стал я отцом,
За помощью все прихожу я...
Как к старым родителям в дом.

Самолет

Эту цепь сопряжений, сращений,
Плоть, где тяжесть и легкость слились,
Замышлял человеческий гений,
А творила холодная высь.
Выступ скашивал ветер летящий.
Выгиб сглаживал вал звуковой.
Стать — крепил неотступный, блестящий,
Обтекающий свет огневой.
В зыбких отсветах чудо-махины,
От земли уходящей в полет,
Ясно виделся блеск стрекозиный,
Твердых крыльев орлиный размет.
Все сильней наливалось обличье
Высотой, быстротой, остротой...
И исчезло из облика птичье.
И дохнуло стихией иной.
Изогнулось крыло незнакомо.
Напряглось устремленным углом.
Только дух высоты и подъема.
Только длинное пламя и гром.
И, гонец беспредельной свободы,
Вот он мчится в прозрачном дыму.
Выше мира и выше природы.
И почти недоступный уму.

Исполинскому вторя размаху,
Оглушенно ревет вышина.
И восторга, подобного страху,
По земле пролетает волна.

☆☆☆

Как быстро спутанные травы
Следы и тропы замели.
Высок и молод лес кудрявый.
Горят стволы. Гудят шмели.
В лицо — смолистое сверканье,
Лучей белеющий поток.
И как самой любви дыханье —
Черемуховый холодок.
Прохладно-солнечный, пахучий,
К щеке ласкающийся цвет.
И в листьях быстрый шепот жгучий:
«Опасней счастья — выси нет!»

☆☆☆

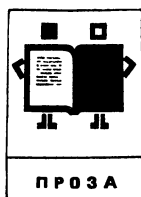
Нужна была толпа вокруг,
Лавина мчащего потока,
Чтоб невзначай увидел вдруг,
Как ловишь взгляд мой одиноко.
И гам стоустый нужен был,
Гудящий винт, скрипящий полоз,
Чтоб невзначай озноб пробил
Твой близкий — отдаленный—голос.
Я пробудил поля от сна,
Я бросил в землю семена,
И воды ветвью осенил я.
И чтобы счастье оценил я,
Теперь беда прийти должна!..

☆☆☆

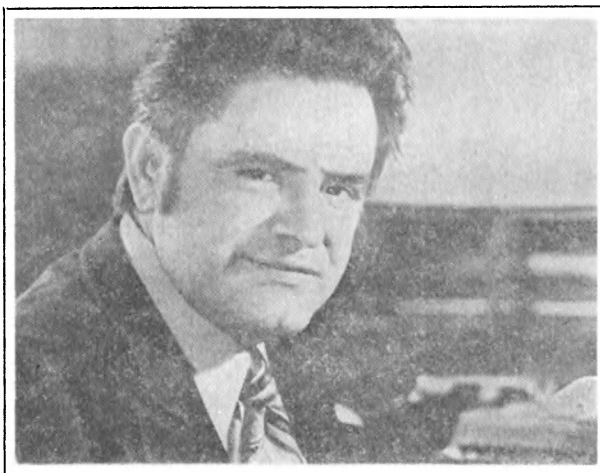
Ты зачем приезжаешь так часто
В этот город над темной рекой
И стоишь у сосны голенастой
И проходишь заросшей тропой!
Что ты ищешь во мгле предрассветной
В старой роще, зеленой глупи!
— Ничего, кроме юности светлой.
Грустной радости — чистой любви.

☆☆☆

Ствол темный, обомшелый кедра,
Лист бледный в световой пыли,
Как распахнувшиеся недра
Дремотно-замкнутой земли.
С тревогой чуткой, человечной,
Как бы упорный следопыт,
Мир раскрывающийся, вечный
В глаза, приблизившись, глядит.
Сгорающий от нетерпенья,
Он молча, жадно ждет в ответ
Восторженного подтверждения,
Чем жил свои миллиарды лет.
Глядит насупленно, сурово,
Как будто бы без моего
Никем не слышимого слова
Его бесплодно торжество.



ФАЗИЛЬ
ИСКАНДЕР



РАССКАЗ

ЗАЩИТА ЧИКА

Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть — сиди и поклевывай виноградины, охота лежать — лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши.

Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хорошим, потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена. Но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании и инжир можно было достать отсюда. Инжир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие инжиры, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкусней.

Кроме всего, это место Чик у нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще Чик взрослые не разрешали лазить по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому, что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что когда дома у него или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, груш или инжира.

— Только смотри, Чик, не упали,—предупреждали они.

— Да не бойтесь, не упаду,—отвечал Чик и с корзиной проходил в огород.

По мнению взрослых, получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит, он бу-

Рисунки
Ю. ГРИГОРЯНА

дет крепче держаться за ветки. По этому же нелепому мнению взрослых, получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с него. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной перелезая на дереве с ветки на ветку гораздо трудней и опасней, чем лазить по деревьям без всякой корзины.

Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно сказать: Чик любил людей. Но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости, надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже сумасшедший дядюшка и то надоедал.

И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор пока люди ему не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груше или два сидит на груше, а потом слезает и сам чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он посвежевшими глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказы.

Но сегодня Чика не радовало ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность. Учитель русского языка, Акакий Македонович, или, как его называли, Закидонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей.

И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, сделал такое, что его родителей вызывают в школу! Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик исподтишка.

В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил своей дурной учебой и плохим поведением ее лучшие, золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хорошим в учебе и поведении потому, что его воспитанием занималась она.

Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. Имелась в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика, и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет.

Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков.

«Что же делать?» — с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. Хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать. В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир.

Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел.

Сегодня Акакий Македонович своим красивым наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями».

**Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране!
То ли вместе, то ли врозь!
Не надеясь на авось,
Вы поймете из примера,
Нужного для пионера.
НЕКРАСИВО жить без цели,
Это так, но в самом деле,
НЕ КРАСИВО, а ужасно,
Жить без цели, жить напрасно.
И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.**

Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в головы учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу.

Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно и полезно».

На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи.

На этот раз Чик особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что когда говорят так, имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли солнечной. Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу.

И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чик особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. И им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от этого им становилось еще веселее.

Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку, и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придавал этому значения, он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самолюбие.

— А теперь, ребята,— сказал Акакий Македонович,— хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками.

**Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране! —**

грянул класс тридцатью глотками.

Высокий, со смиренно-покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи.

Когда ребята читали строчку:

То ли вместе, то ли врозь! —

Акакий Македонович развел руками и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшного запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчку:

**Вы поймете из примера,
Нужного для пионера...—**

лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным вожаком Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица.

Некрасиво жить без цели...—

читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели: «Некрасиво, нехорошо».

**Не красиво, а ужасно,
Жить без цели, жить напрасно.**

Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки уже до самого конца стихотворения лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу.

**И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.**

Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком. А Чик этого не знал.

Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал:

— Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и, если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся?

Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича.

— Я смеялся просто так,— сказал Чик.

— Нет, Чик, ты скромничаешь,— сказал Акакий Македонович,— по-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик.

Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом, но хотя Чик и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чик захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране.

— По-моему,— сказал Чик,— одна строчка неправильная.

— Очень интересно,— заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед,— какая строчка?

— У вас сказано,— бодро начал Чик,—

**Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране!**

— Удивительно, что ты это заметил,— сказал Акакий Македонович.

— Но ведь получается,— пояснил Чик,— что правильно это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится?

Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел.

— Глупый смех,— сказал Акакий Македонович,— и глупое замечание. Мы живем в солнечной стране и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну.

— А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране,— продолжал Чик, не давая себя сбить,— разве правило для него не годится?

Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать.

— Мы всегда за критику,— сказал Акакий Македонович,— но мы против критиканства. Завтра придешь в школу с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно поговорить...

И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чик хотел крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу, но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смирностью удалился из класса.

И вот теперь Чик сидит на вершине груши на пружинистом ложе из плетей виноградной лозы и думает, что же ему завтра делать.

**Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране...**

Проклятые стихи! Зачем, зачем, думал Чик, я ввязался в этот дурацкий спор! Все равно Закидонович не прав! Страна тут ни при чем! И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая! Но как быть завтра? Ведь без родителей его не пустят в школу.



Чик дотянулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым.

Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в «классики». Лёсик покачивал в коляске своих братцев-двойняшек. Оника во дворе не было, Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках чётки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен безответной, упорной любовью. Об этом все знали. Хорошо ему живется, подумал Чик, поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его родителей не вызывает в школу.

Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лёсик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще пжал теннисный мяч. Уже целых два года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мячик остановился в двух метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень и поток в конце концов загонит мяч в трубу.

В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящей в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой.

Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За два квартала отсюда был расположен стадион. Там сегодня местная команда играла с городом Армавиrom. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приез-

жая команда, на стадионе устанавливалась обидчивая тишина.

Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно: значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома — это как-то противно.

— Костя! — крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора.

— Костя спит, — ответил ему женский голос.

— Разбуди его, Тамара, разбуди!

— Зачем его будить? — ответила женщина.

— Интерес имею что-то сказать ему, — крикнул мужчина.

— Он ругаться будет, — ответила женщина.

— Не будет, клянусь детьми! — крикнул мужчина. — Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ругаться!

— Чего тебе? — раздался через минуту сиплый мужской голос. Видно, женщина разбудила своего мужа.

— Костя, — восторженно закричал человек с крыши, — наши хамяют их, как пончик! Уже два мяча забито!

— Зачем разбудила, — раздраженно сказал мужчина, — я еще полчаса поспал бы...

— Он поклялся детьми, — визгливо сказала женщина, — я думала, что-то по работе!

— Ладно, — сказал мужчина, — арбуз под кран поставила?

— Поставила, — ответила женщина.

— Тогда принеси, — сказал мужчина, — хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила.

Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе.

— Слушай, в игре забито или со штрафного? — крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза.

— Клянусь детьми, оба мяча забито в игре, Костя! — восторженно крикнул мужчина с крыши.

— Ладно, — примирительно сказал тот, что кушал арбуз, — если что-нибудь будет интересного, крикнешь!

— Обязательно, Костя! — крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломть арбуза.

Вообще Чик очень любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а наоборот, самый умный дядя Риза водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгам болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали финтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противником и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой.

Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды и поэтому она играла слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что тбилисцы про-

игрывали, а остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радостей жизни. Он понимал, что сам на это не способен.

А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока или после каждого неудачного паса их игрока, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками весь стадион оборачивался и смотрел куда-то, а куда они все смотрят, Чик никак не мог понять.

— Куда они смотрят, дядя? — спросил Чик.

— Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси, вот они все и пытаются его разглядеть.

— Они его знают? — удивленно спросил Чик.

— Не больше чем нас с тобой, — ответил дядя.

— Куда же они все смотрят? — спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека.

— Им кажется, — сказал дядя, — что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь...

Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого неведомого тбилисца, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности или разочарованности на его лице. Чик тогда хорошо почувствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы.

Ну до чего же смешные эти люди! Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то вверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем было удобнее тарашиться вверх, и они его искали там, куда им удобней было смотреть.

И еще смешно было, что все, вскакивая с мест и уставившись вдаль с торжествующей улыбкой и явно никого не разглядывая и нисколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающиеся лица с выражением дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но уж он-то никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки, а это — главное».

И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих беспечных вскакиваний, и на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца.

— Чик, кинь кисточку винограда, — услышал он чей-то голос.

Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще этот мальчик считался маленьким сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами.

Тем не менее Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика:

— Чик, кинь теперь мне грушу!

Чик неохотно потянулся за грушей.

— Не ту, Чик, в-о-н ту! — сказал мальчик и, вытянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика.

— Бери, пока дают! — сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно. Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплывать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чик самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть.

— Чик, отчего ты все время на дереве сидишь? — спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая.

Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным.

— Чтобы бросать тебе груши и виноград! — ответил Чик сердито.

— Нет, правда, Чик, — сказал мальчик, доедая свою грушу, — я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве... Кинь теперь виноград!

— На твое пузо не напасешься, — сказал Чик, но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно. Хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не бросить ему кисть винограда. Он подумал, что когда человеку уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. Это потому так получается, думал Чик, что если ты ему откажешься делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше. А тебе не хочется, чтобы оно пропадало.

— Кроме шуток, Чик, — снова спросил мальчик, — почему ты так давно на дереве сидишь?

— Я теперь отсюда никогда не слезу, — сказал Чик.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет.

Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса.

— Чик, но ты же умрешь с голоду, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери.

— Нет, — сказал Чик, — я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать.

Мать ему что-то ответила.

— Чик, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери, — но ведь хлеб из окна нельзя кидать?

— Значит, груши и виноград в окно можно кидать, — язвительно проговорил Чик, — а хлеб из окна нельзя?!

Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он снова обратился к матери.

— Мама, — сказал он, — а Чик говорит: почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?

Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а, подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чик:

— Чик, ты его отвлекаешь от уроков.

— Он сам первый начал, — ответил Чик.

Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому, стараясь осмыслить его слова, и, скорее всего, так и не

осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задачкой, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова, но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор.

Девочки продолжали играть в «классики». Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тетушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а смекавший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене.

Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захлавленной кухне. Эта кухонная стена прострела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуровывал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально соструганный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик в отличие от всех догадался (во всяком случае, он так думал) еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной.

Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, переносил с безропотной застенчивостью, а тетюшка в зависимости от настроения ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку.

Муж тети Фаины, ворча, что его жена — честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он, или забывая о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти, снова просверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно замирал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед.

Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее и очутилась за спиной дяди Коли, продолжавшего смотреть в щелочку.

Она хлопнула его по спине, дядя Коля разогнулся и, страшно сконфуженный, развел руками, видимо, показывая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли.

Чик решил, что она сейчас подымет крик, обращаясь к тетюшке, все еще пившей чай на веранде, но она неожиданно сделала совсем другое. Она сунула дяде Коле кошелку и, показывая на дерево, на котором сидел Чик, сказала:

— Груши, груши...

Дядя посмотрел на дерево, потом на тетю Фаину, потом опять на дерево и, наконец, уразумев

ее просьбу, закивал головой и радостно улыбнулся, благодарный ей за то, что она не ругает его. Он тряхнул в руке кошелку и быстро направился к груше.

Чик никак не ожидал такого оборота дела. Дяде Коле строго-настрого запрещали лазить по деревьям, да он и не пытался никогда влезать на дерево. А тут, оказывается, вон что!

Дядя Коля быстро разулся и с необыкновенной энергией, которую Чик определил как следствие его ненормальности, влез на грушу. Сумасшедший дядя и племянник, тайно залезшие на одно дерево,— это было слишком! Если он долезет до вершины, подумал Чик, то он обнаружит, что Чик без разрешения влез на дерево, и поймет, что Чик его самого застукал за тайным сбором груш для тети Фаины. Интересно, сообразит ли он все это?

Но дядя Коля до вершины не долез, а долез только до середины дерева, повесил кошелку на сучок и стал дотягиваться до груш, срывая их и перекидывая в кошелку. Действовал он быстро, но и достаточно осмотрительно, чтобы не упасть с дерева. Оказывается, сумасшедшие тоже чувствуют, как надо держаться на дереве, чтобы с него не упасть. Чик понял, что дядя Коля все это проделывает не первый раз. Человек, который первый раз влез на дерево, не может действовать столь уверенно и четко.

До чего же хитрая, оказывается, тетя Фаина! Оказывается, она использует любовь дяди Коли, чтобы получать задарма фрукты. Покамест дядя Коля собирал груши, тетя Фаина несколько раз выскакивала из своей кухонки и глядела на дерево. Чик понял, почему она это делает. Она не хотела, чтобы дядя Коля сам принес ей на кухню кошелку. Тетушка в этом случае его могла заметить с веранды.

У Чика был большой соблазн срывать виноградины и сверху бросать их на голову дяди Коли. Сидя в густой листве своего укрытия, он мог оставаться для него незамеченным. Но Чик все-таки не решился тронуть его. Все-таки он никогда не пробовал дразнить дядю Колю на дереве. Вдруг он от неожиданности сорвется с дерева и упадет? Лучше не пробовать.

Набрав груш, дядя Коля слез с дерева, а тетя Фаина, подбежала к нему, отобрала у него кошелку и, пока дядя Коля обувался, она с кошелкой, незаметно прижав ее к боку, шмыгнула к себе на кухню.

Ну и дела, подумал Чик. Вот как она, оказывается, использует любовь дяди Коли. Дядя Коля обулся и снова подошел к кухонной пристройке и стал глядеть на тетю Фаину в щелочку, по-видимому, решив, что теперь он вполне заслужил это удовольствие. Но недолго пришлось ему смотреть в щелочку. Тетя Фаина выскочила из кухни, подошла к дяде Коле и, ткнув его в бок, сказала, показывая во двор:

— Хватит, иди, иди!

Дядя Коля посмотрел на нее растроганным взглядом и виновато пожал плечами. Он как бы робко намекал на то, что на этот раз заслужил некоторую благодарность. Но тетя Фаина оставила этот намек без внимания и, снова ткнув его в бок, показала рукой, чтобы он убирался отсюда. После этого тетя Фаина быстро удалась, метнув взгляд в сторону веранды, где тетюшка Чика продолжала, сидя у окна, пить чай. Дядя, как показалось Чику, тяжело вздохнул, вынул из кармана колышек, воткнул его в дырочку и ушел во двор.

Во двор вошел дядя Алихан, катя перед собой свой лоток с восточными сладостями. Он остановил лоток у порожка своей комнаты, вынес из комна-

ты большую тарелку и, переложив в нее непродаваемые сладости, внес в комнату. Потом он зажег керосинку, стоявшую у порога дома, и поставил на нее кувшин с водой. Подогрев воду, он вынес из комнаты таз, налил в него воду из кувшина, уселся на маленькой скамейке, разулся и окунул ноги в таз с водой. Распаривать ноги в горячей воде было его любимым занятием. Обычно, распаривая ноги, он скреб подошвы особой ложечкой, при этом постанывая от удовольствия.

Но на этот раз до ложечки не дошло, потому что во двор вошел Богатый Портной с нардами под мышкой. Жена Алихана вынесла два стульчика. На один из них они поставили нарды, а на другой уселся Богатый Портной. Они раскрыли доску, расставили фишки и стали метать кости. Дядя Алихан, играя в нарды, время от времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, с удовольствием замирая и прислушиваясь к действию воды на его покрытые мозолями ноги. При этом Богатый Портной с раздражением смотрел на него и нетерпеливыми восклицаниями тормозил его и заставлял браться за кости. Так было всегда. Богатый Портной ни за что не хотел верить, что такое пустяшное занятие, как распаривание ног и поскребывание подошв ложечкой, может человеку доставлять какое-то удовольствие.

Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга толпы. Видно, наши забили гол.

— Разве это футбол! — воскликнул Богатый Портной. — Это не футбол. Алихан!

— Почему не футбол? — миролюбиво возразил Алихан, подымая свои круглые брови над круглыми глазами.

— Потому что футбол кончился, — сказал Богатый Портной, — кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? В Армавире всегда только семечки кушали. Футбольные годы — это тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой! Это золотые годы футбола!

Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он играл в футбол.

— В тридцать пятом году, как сейчас помню, — начал Богатый Портной, — играем с Батумом на нашем поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая подает, и я с ходу иду на прорыв. А трибуны волнуются: «Браво, bravo, правый инсайд!» А кто правый инсайд? Я правый инсайд! Одного хавбека обвожу! Второго хавбека обвожу и врезаю в девятку! Трибуны с ума сходят: «Браво, bravo, правый инсайд!» А сейчас Армавир бросил семечки и начал играть в футбол.

— Значит, научились, — мирно возразил Алихан и подлил в таз воду из кувшинчика.

— Что ты говоришь, Алихан, — крикнул Богатый Портной, — где Армавир, где футбол?!

— Ладно, играй, — сказал Алихан и метнул кости. Богатый Портной продолжил игру, ворча и постепенно успокаиваясь.

Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дяде Коле. Дядя Коля сидел на одном из камней, огораживающих клумбу со сливой посредине, и, помахиывая веточкой шелковицы, отгонял от себя мух.

Человек что-то стал спрашивать у дяди Коли, но дядя Коля явно его не понял и стал отмахиваться от него веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и дядя Коля несколько более раздраженно отмахнулся от него веткой.

Тут Богатый Портной и Алихан заметили этого человека и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, что он имеет дело с сумасшедшим. Но Богатый Портной движением руки остановил его, чтобы позабавиться этим недоразумением. Человек

снова обратился к дяде Коле, а Богатый Портной затрясся от сдерживаемого смеха. Дядя Коля уже довольно резко отмахнулся от него своей веточкой шелковицы.

— Отстань,— сказал он ему по-турецки и добавил по-русски: — Иди, иди!

Небольшой словарь дяди Коли, по подсчетам Чика, около восьмидесяти слов, состоял из абхазских, турецких и русских слов. На этих языках говорили дома, и он составил себе небогатый, но затейливый язык из смеси трех языков.

— Что вам надо, товарищ? — наконец обратился к этому человеку Богатый Портной, словно только что заметив его.

— Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе Габуния,— сказал человек, недоумевая,— а он мне ничего не отвечает.

— Так он же сумасшедший,— ответил Богатый Портной восторженно,— разве вы не знаете?

— Нет, конечно,— ответил человек и опасливо отстранился от дяди Коли.

— Да,— восторженно подтвердил свои слова Богатый Портной,— он самый настоящий сумасшедший!

— Я же не знал,— сказал человек, опасливо косясь на дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и Богатому Портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, обращающегося к нему с праздными вопросами.

— Если вас что-нибудь интересует,— продолжал Богатый Портной с важностью,— вы можете спросить у меня. У Алихана тоже можете спросить, но у него нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. А если вас интересует Габуния, работающий сторожем в школе, он живет в следующем дворе направо.

— Спасибо,— сказал человек и, как показалось Чикю, с облегчением покинул их двор.

— Вот люди,— сказал Богатый Портной,— мы здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а спрашивает у бедного Коли.

Богатый Портной разговорился и, видно, ему еще хотелось поговорить.

— Ладно, играй,— прервал его Алихан, и Богатый Портной метнул кости.

И тут внезапно Чика осенила гениальная мысль: он приведет в школу дядю Колю! Ведь его там никто не знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо слышит. Он ведь и в самом деле плохо слышит.

Осчастливленный своей удивительной догадкой, Чик быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежала к нему и стала прыгать вокруг него, показывая, до чего она по нему соскучилась. Поглаживая прыгающую Белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, деловито вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впечатление он произведет завтра на Акакия Македоновича. Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком. Ему казалось, что Чик присматривается к нему, чтобы начать его дразнить.

— Собака,— по-абхазски прикрикнул он на прыгающую Белку, тем самым предупреждая, что готов дать отпор любому злому умыслу Чика.

Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был броситься на шею дяде Коле и восторженно прижать его к груди. К сожалению, дядя Коля такие вещи не понимал. Чик отошел от него и стал ходить по двору, обдумывая план завтрашних своих действий.

Как дядю Колю выманить со двора и привести его в школу? Конечно, лучший способ пообещать

ему лимонад. Дядя Коля больше всего на свете обожал лимонад. Магазин, где продавали лимонад и всякие другие продукты, был расположен рядом со школой. Надо привести туда дядю Колю, опохит его лимонадом и потом, когда благодушие его достигнет предела, завести его в школу.

Но где взять деньги на лимонад? У Чика денег не было, а дома с деньгами было трудно. Дома денег не дадут. Где же их взять? Конечно, у Оника, сына Богатого Портного. У него копилка, в которую он опускает монеты почти каждый день.

Чик имел большое влияние на своих товарищей по двору. Он мог уговорить Оника одолжить ему эти деньги. Но он знал, что от этого у Оника испортилось настроение. Чик не хотел, чтобы у Оника испортилось настроение. Он решил что-нибудь обменять на деньги, которые даст ему Оник. Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, что бы могло понравиться Онику.

Но, видно, гениальный замысел не приходит один, он приводит с собой другие гениальные догадки, чтобы выполнить этот замысел. Чик понял, что он предложит Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрял в желобе крыши. Хотя формально мяч этот Чикю не принадлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, что он будет принадлежать Чикю.

Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уговорить Оника, потому что во время грозы поток воды в желобе может подхватить мяч, и он, пройдя водосточную трубу, бултыхнется в бочку.

Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков ухудшения погоды Чик не заметил. Но ничего, все равно теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег на две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо больше, чем две бутылки лимонада.

— Наши выиграли четыре — ноль! — восторженно закричал Оник, вбегая во двор.

— Армавир это не команда,— сказал Богатый Портной, уже обращаясь к Онику,— в Армавире только семечки кушают!

Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизан восторгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя было сделать, решалась судьба.

— Оник,— сказал Чик,— мне позарез нужно сорок копеек для одного дела.

— Но у меня нет,— сказал Оник, постепенно тускнея.

— Знаю,— сказал Чик,— но ты их должен вынуть из своей копилки.

— Из копилки папа не разрешает,— сказал Оник, окончательно загрустив.

— Знаю,— сказал Чик,— но мне позарез нужно сорок копеек. Я тебе продаю свой теннисный мяч за сорок копеек.

— А он что, уже выкатился? — оживился Оник и даже удивленно посмотрел на небо.

— Нет,— сказал Чик, как человек, придерживающийся суровой правды,— но скоро начнутся ливни, и он выкатится.

— Выкатится,— уныло повторил Оник, опять потускнев,— он целых два года все выкатывается...

— Обязательно выкатится,— сказал Чик уверенно,— ведь больше ему некуда деться.

Оник уныло посмотрел на синее небо.

— На небе ни одной тучки,— сказал Оник.

— Правильно,— сказал Чик,— но что это значит?

— Это значит,— сказал Оник,— что погода хорошая и дождя не будет.

— Нет,— сказал Чик,— это значит, что скоро будет дождь.

— Почему? — удивился Оник.

— Как же ты не понимаешь,— сказал Чик,— раз уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен пойти дождь. Не может же быть все время хорошая погода?

— Все-таки еще неизвестно, выкатится мяч или нет,— сказал Оник.

— Выкатится,— повторил Чик убежденно,— ему больше некуда деться... И вот что... Если тебе жалко денег, так я у тебя потом выкуплю мяч, и получишь, что ты все это время бесплатно пользовался моим мячом.

— А когда выкупишь? — оживился Оник.

— Не знаю,— сказал Чик честно,— но ведь чем дольше я у тебя не буду выкупать мяч, тем больше ты будешь им бесплатно пользоваться.

— Ладно, сейчас принесу,— сказал Оник, задумавшись над двусмысленным предложением Чика. С одной стороны, вроде лучше бы Чик его быстрее выкупил, а с другой стороны, чем дольше он не будет выкупать, тем дольше можно им бесплатно пользоваться.

Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал выгодную сделку. Он вытряхнул из копилки сорок копеек, поставил копилку на место и вернулся во двор. Он передал деньги Чик, и Чик положил их в карман. Тут Оник вспомнил, что мяча еще нет и погода не портится. Он опять загрустил, и Чик это почувствовал.

— Не унывай,— сказал Чик, щупая в кармане две двадцатикопеечные монеты,— скоро у тебя будет прекрасный теннисный мяч.

— Нет,— вздохнул Оник,— я ничего.

Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине или когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался сказать, что он его любит и никогда, никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, к какому большому и важному делу он приставлен Чиком.

Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то, значит, Чик собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слегка подобравшись и глядя на Чика твердым, почти не мигающим взглядом. В конце концов кроткий взгляд Чика дяде надоел и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке:

— Мальчик смотрит.

— Уж и посмотреть на тебя нельзя,— сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине.

На следующий день перед началом занятий Чик воспользовался моментом, когда дядюшка был вне поля зрения взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, наклонившись, внимательно их рассмотрел.

— Лимонад, лимонад,— громко сказал Чик и, махнув рукой, дал ему знать, что он может пойти с ним в магазин и выпить лимонаду.

— Лимонад? — обрадованно переспросил дядюшка.

— Лимонад,— подтвердил Чик и положил деньги в карман.

— Пошли,— сказал бодро дядюшка по-турецки и добавил по-русски:— Мальчик хороший.

Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, знаком остановив дядюшку, забежал домой за портфелем и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот пиджак и собирался по дороге напаять его на дядю. Чик считал, что в пиджаке у дяди будет более солидный, интеллигентный вид. А так он выглядел как-то несолидно — то ли деревенский пасечник, то ли сторож какого-то сада.

Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и выскочил во двор. Он очень боялся, что мама, или тетушка, или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстрыми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целенаправленный вид, какой у него бывал, когда они шли на море, на базар или в баню.

На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. Дядюшка с удивлением оглядел пиджак.

— Черим-баба? — догадался дядюшка, что пиджак принадлежит отцу Чика. Так он его называл.

— Надевай, надевай,— кивнул Чик.

— Колю ругать? — спросил дядюшка, имея в виду, что без спросу надевать чужие вещи не положено, хотя он очень любил всякую обновку.

— Нет, нет,— замолот головой Чик, а потом утвердительно закивал,— можно.

— Можно? — спросил дядюшка, склоняясь надеть пиджак и радостно глядя на него.

— Да, да,— сказал Чик и подал ему пиджак. Дядюшка надел пиджак и взволнованно оглядел его. Он сунул руки в карманы и вынул из одного из них платок. Тут взыграла его обычная безразличность: пиджаку он был рад, но грязный платок ему был ни к чему.

— Гадкий,— сказал он по-турецки и, держа платок двумя пальцами, вручил его Чик. Чик молча положил платок в карман, и они подошли к магазину, где торговал толстый продавец Мисроп.

— Дядя Мисроп, две бутылки лимонада,— сказал Чик и, стукнув монетами, положил их на прилавок.

Дядюшку распирала радость и от предстоящего лимонада и от нового пиджака.

— Черим-баба, Черим-баба,— сказал он продавцу, хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец Чика подарил ему новый пиджак.

— Хороший, хороший,— сказал Мисроп, знавший дядю Колю, и показал ему большой палец в знак высокой оценки пиджака.

— Хороший,— согласился дядя Коля и поощрительно похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его действий. Он был взволнован и возбужден.

Мисроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе в стакан желтый, бурлящий лимонад и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую руку ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, выпил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испаряется, налил второй стакан, и не успели пузырьки на нем успокоиться, как он с такой же быстротой выпил его себе в горло. После третьего стакана, опорожнив бутылку, он сделал небольшую передышку.

Пока он пил, толстый, тяжело дышащий Мисроп добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами, и одновременно радуясь за себя, за то, что он в отличие от дяди Коли нормальный человек, а не сумасшедший.

Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать Мисропу свою запутанную историю взаимоотношений с



Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонадом.

После второй бутылки дядя был в полном восторге. Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся в сторону школы, которая находилась рядом, и, показывая на нее, сказал:

— Пойдем в школу.

— Школа, школа,— согласился дядя, взглянув на нее, но еще не понимая, что Чик его туда приглашает. О предназначении школы дядя, как понимал Чик, догадывался. Но в таких мелких подробностях, как учителя, директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался.

Чик, взяв его за рукав, слегка потянул в сторону школы.

— Школа, школа,— повторил Чик, стараясь голосом довести до его сознания свое намерение и внушить, что это намерение ничего опасного для него не содержит в себе.

— Школа? — переспросил дядя.

— Да, школа, школа,— повторил Чик и снова потянул его за рукав.

— Пошли,— сказал дядя по-турецки и отправился вместе с Чиком в сторону школы. Чика несколько тревожило, что дядя, общаясь с учителем русского языка, может употреблять нерусские слова. В крайнем случае, решил Чик, он скажет учителю, что дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит.

Как раз прозвенел звонок на большую перемену, и Чик у вдруг пришла в голову возможность нового препятствия. Он боялся, что кто-нибудь из его друзей, встретив его в школе с дядей и не понимая, для чего он его привел, невольно выдаст, что дядя сумасшедший.

В самом деле, как только они вошли в школьный двор, навстречу им бросилась Сонька.

— Чик, зачем ты дядю привел? — крикнула она.

— Молчи,— сказал Чик,— потом все узнаешь.

— Что узнаю, Чик? — спросила Сонька, но Чик, сделав страшные глаза, прошел мимо Соньки.

Перед учительской была большая открытая веранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Что-

бы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить: «Я, я, я...»

У него была привычка принимать за себя всякое изображение понравившегося ему человека, будь то скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок.

Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение. Он понимал, что решается его судьба.

Акакий Македонович стоял один у перил веранды. Чик с дядей подошли к нему.

— Акакий Македонович, здравствуйте, — сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не любил из брезгливости.

— Здравствуй, — обернулся Акакий Македонович, смотревший в другую сторону.

Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо.

— Это мой дядя, — сказал Чик и, как бы открыто признаваясь, добавил: — Он плохо слышит.

Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде. Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заболел не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, его хитрость состояла в том, что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей.

Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи.

**...И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.**

— Спрашивается, что тут странного? — сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо. Незнакомое, ждал ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал. Но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят.

По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то, что человек этот важный, дядя мог понять, потому что тот был в галстук и в шляпе. Акакий Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой.

Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще более не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика.

Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек.

— Я думаю, тут сказывается влияние улицы, — донесся до Чика голос Акакия Македоновича.

— Улица, улица, — повторил дядя по-русски знакомое ему слово.

Дойдя до конца веранды, они повернулись и пошли к Чик.

— Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке? — сказал Акакий Македонович.

— Да, — согласился Чик смиренно, — осознал.

— Я тут обсудил с твоим дядей твоё поведение и надеюсь, он все передаст твоим родителям.

— Конечно, — сказал Чик, как бы слегка сожалев о неизбежной пунктуальности дяди.

— Не скрою, — добавил Акакий Македонович, lowering голос, — твой дядя мне показался странным.

— Он необразованный, — пояснил Чик странность дяди.

— Да, это заметно, — подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протянутую ему руку.

— До свидания, — сказал Акакий Македонович.

— До свидания, — ответил Чик за обоих и поспешил увести дядю с веранды.

Чик шел с дядей по лестнице. Рядом вприпрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая:

— Чик, что случилось?

— Ничего, не спрашивай, — отвечал ей Чик, — потом все расскажу.

Сонька отстала. Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закралась какие-то подозрения. Чик хотелось, чтобы дядя как можно благопристойней покинул школьный двор.

Внезапно посреди двора дядя остановился у колонки и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-нибудь здоровался. Чик это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям.

Чик украдкой оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадается какая-нибудь колонка.

Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал показывать на нее рукой и, радостно стучая себя в грудь другой рукой, повторять:

— Я, я, я...

Акакий Македонович еще более удивленно наклонился над перилами веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По видимому, он все-таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил, он не мог слышать.

Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался на скульптуру. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру трубача. Но теперь его с веранды не было видно.

Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что как только дядя придет домой, с него совлекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде.



ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

Атолл

Где выгнута отмель сырая,
где воткнуты пальмы в атолл,
старуха идет,

собирая
ракушки в цветастый подол...
Я общей судьбы не миную,
и внук ее, смугл и броваст,
вот эту ракушку цветную
в порту за монетку продаст...
Тоскливо московское утро,
и с первым лучом из окна
всей радугой перламутра
заблещет на полке она...
Уж память про то позабыла!..
Но ответ, упавши на стол,
мне скажет, что все это было:
и отмель, и даль, и атолл.

Аэропорт

Как ты дрожишь, душа!
Иль ты боишься мира,
вот этих рук, холодных рук его!..
Но истины разящая рапира
ответит выпадом на это торжество!
Как ты дрожишь, душа! Уже гудят вокзалы.
И в чуткой синеве чудит аэродром,
где в зале уже подняты бокалы
за то, что мы летим, за то, что мы живем!
Как ты дрожишь, душа,
боясь непостоянства!
И вот уж все молчат, бокалы осуша...
И то не просто тост, и то не просто яства,
то проводы твои!..

Как ты дрожишь, душа!

Оторвавшаяся доска

Пролетела мимо, пролетела...
Ну еще немного — и в висок!
И лежало б стынущее тело
возле груды струганых досок.
Вот мы ходим, что-то ищем, спорим...
Ну, а тут доска — и все дела!
И тогда бы с нестерпимым воем
к стройке неотложка подошла.
Что же, значит, ты такой везучий!
Бледный бы лежал в большой крови.
А ведь это просто только случай...

Что же ты! Иди себе! Живи!

Казино

А кто видал, как неудачник мечет,
как все его лицо искажено,
когда опять два слова — «чет» и «нечет»
ночное сотрясают казино,
и как его рука ползет за сдачей
в карман,
а там кончатся стала медь!..

Перед великой этой неудачей
способны все
почти благоговеть!
Толпа молчит,
уже все понимая...
Ничто тому не может быть виной!..
И дикий взор и бледность неземная.
Над залом веет ужас неземной.

Брюссель,

Ниагара

Не избежать канадского загара,
и на руке висит мое пальто...
И вот передо мною Ниагара,
и хочется воскликнуть «Ну и что!»
В моем блокноте будет эта дата
и краткая отметка: повидал...
Но мне не то мерещилось когда-то,
я большего когда-то ожидал!
Расспрашиваю гида деловито
и что-то вскользь бросаю о красе
и, головою покачав для вида,
притворно удивляюсь, как и все.
Я подступил еще поближе к краю:
вода бежит обычна и темна...
Считаюсь и иллюзии теряю.

Вот и еще потеряна одна.

Заклинатель

Я говорю: — А ну, приятель,
пусть спляшет нам твоя змея!..
И поднял флейту заклинатель,
в глазах тревогу затая...

Что это: мистика иль шутка!
В двадцатом веке, как и встарь,
бывает все ж немного жутко,
когда танцует эта тварь!

Глаза холодные недобры,
и язычок двойной во рту,
но как душа у этой кобры
обожествляет красоту!

Вот встала, извиваясь плавно,
чтоб задержала вздох толпа,
как хладнокровно, как исправно
она выделяет па!..

Того, что мы не видим, видя,
чему-то подчинясь на час,
она танцует, ненавидя
и флейту, и себя, и нас.

Вомбей.



ТАТЬЯНА БЕК

☆☆☆

Пожелтел и насупился мир.
У деревьев — осенняя статья...
Юность я износила до дыр,
Но привыкла—и жалко снимать!

Я потуже платок завяжу.
Оглянусь и подумаю,
что
Хоть немножко еще похожу
В этом стареньком, тесном пальто.

☆☆☆

Перед полуденной, полынной
Землей...
Перед лесной калиной...
Перед поляной смоляной —
Так стыдно жизни половинной,
Так сильно хочется иной!
Я больше не пойду домой.

Тут на вопрос: «Ты мой?»
«Я твой!» —

Шиповник мне ответит хрипло
С любовью резкой и прямой,
А я к прямому не привыкла.

От радости займется дух.
Скорей бежать!
Сорвать лопух.
Он полетит к тебе в конверте
Письмом про то,
Что мир не глух
И что в лесу не страшно смерти.

Посвящение Грузии

За тридцать земель я слышу горный гром.
Особенно Тебя люблю, букварь листая.
Какая блажь — писать на языке Твоем,
Где всякое словцо—жуков гудящих стая!

Овалы да крючки чертить, и лампу жечь,
И азбуке грозить, что слезы отольются...
Кричу:

«Открой лицо, загадочная речь!»—
Но буквы «т» и «ч» смеются, не даются.

Язык и должен жить,
дух от зевак тая:

Попазят по верхам
И убегут с добычей!
...Но я вожу пером.
Писать: судьба Твоя,
Младенчество Твое, руки Твоей обычай.

☆☆☆

На дачном,
На невзрачном полустанке,
Где вянут одуванчики во рау,
Я запишу на телеграфном бланке
Изысканные ямбы.
Но — порву.

...Уборщица прошла, старинный китель
Одернула неженственной рукой.
— Ты никому на свете не учитель,—
Я о себе подумала с тоской.

☆☆☆

Сила слабости, робости мощь—
В лепетании маленьких рощ.

Властный шорох, неясственный шум
Обнадежат метафорой ум:
— О, родные!—
...Но сумрачный вяз
Глянет сотней оранжевых глаз:

— Что ей надо и кто вообще
Эта дачница в мокром плаще!

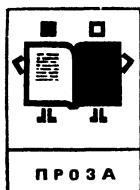
☆☆☆

Я люблю тебя, разлука!
Принесу сегодня с луга
Сорняков букет.

Сяду на сундук—услышу:
Желуди стучат о крышу.
И разлуки—нет.

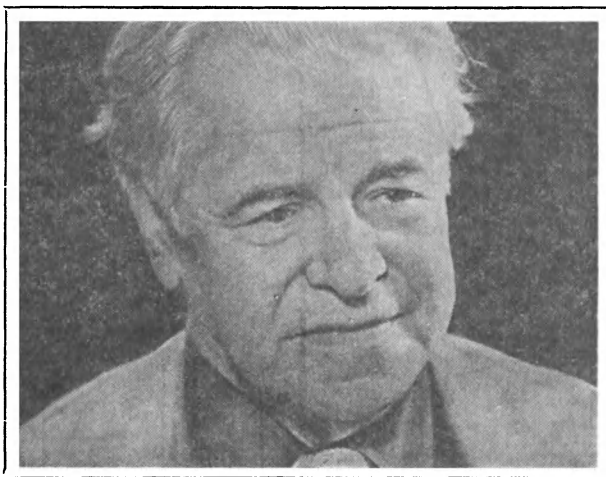
Это хутор
Вдруг распутал
Спутанную нить...

Жесткий веник.
Жидкий вереск.
Можно—дальше—жить.



ЛОПУШОК

**АЛЕКСЕЙ
КАПЛЕР**



РАССКАЗ

С самого раннего детства объявилось у Робки Зайцева этакое неудобное свойство: надо—не надо говорить правду. Нет даже и необходимости высказывать правду, а она возьмет да сама и вырвется.

Бывало, ребята нашали, напакостничают и молчат, конечно, не признаются. А Робка скажет.

Лупили его за это частенько. Потом поняли, что не ябеда он — просто чудак, а может быть, даже больной в этом отношении.

И в музыкальной школе, где Роберт учился по классу скрипки, тоже бывали на этой почве неприятности. Вырос Зайцев, стал взрослым, а это неудачное качество каким было, таким и осталось.

Квартировал Роба в доме почти сплошь музыкантском. Здесь жили несколько оркестрантов городского оперного театра, а остальные просто «лабухи», как они сами именовали себя.

В том тысяча девятьсот двадцать шестом году лабухи играли в основном на свадьбах и похоронах. А старый поляк — пан Пухальский был тапером маленького крайнего кинотеатрика «Гранд-Палас».

И жил, как сказано, в этом дворе Роберт Зайцев, Робка — лопух, сын лабуха, внук лабуха и сам музыкант. Хоть Роба и учился по классу скрипки, а стал ударником в оркестре оперного театра. Он сидел справа, у самого края оркестровой ямы, бил в барабан, в медные тарелки и позванивал в звонкий треугольник. Были у него абсолютный слух, абсолютное чувство ритма и торчащие лопухами уши.

В оркестре он играл уже два года. Все свободное время читал. Он глотал книги с невероятной скоростью — все подряд, беря их у мальчиков из соседнего «докторского» дома, — Жюль Верна и Пушкина попеременно с «Профгратом» Розенфельда, Стивенсона и Гоголя, Флора и исторический материализм, Блока и старые выпуски Ната Пинкертон, Ника Картера и Ирмы Дацар. И тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и Антона Кречета. При всей бессистемности чтение это все же составило изрядное образование.

Огромное впечатление произвел на Робу Шарль Фурье. Стройная система фаланстера, ассоциации, фаланги казались ему самым лучшим устройством мира. Комсомольцы клеймили Фурье утопистом и идеалистом, но Роба сохранял к нему симпатию и, не умея скрывать свои взгляды, открыто высказывал их на собраниях и в частных беседах, рискуя быть за то исключенным из организации. Впрочем, просвещенных комсомольцев было, кроме него, в ячейке месткома номер пять портовых грузчиков — всего двое. Остальные слушали Робку, вообще ни черта не понимая в его фурьеризме. К этой ячейке Робу прикрепили по той причине, что в городском оперном театре он был единственным членом комсомола. В то время в театре и партийная прослойка была крайне незначительна: директор и двое рабочих сцены.

Да если бы тогда сказать, что со временем в оперном театре будут и тенора-коммунисты и балерины — члены партии, животы бы надорвали от смеха.

Рисунки
Е. МУХАНОВОЙ.



В ячейке грузчиков состояли грубые ребята, с утра до вечера таскавшие пятипудовые мешки. Вместо обычного в те дни выражения «от станка», «рабочий от станка» здесь в качестве определения истинно пролетарского положения человека говорили «из-под мешка» или, как оно чаще произносилось, «сподмешка», «это наш, сподмешка».

Грузчики в эти годы нэпа крупно зарабатывали и крупно тратили деньги. Один из них, Василий Деревенский, взамен своих безукоризненных, белых с желтизной, крепчайших зубов вставил себе все до одного золотые зубы. Если бы не железные кулаки и слава первого силача, ни за что не сберечь бы Васяке эти тридцать два сверкающих во рту солнца.

У портовых девочек с Васькиной улыбкой могла бы состязаться только улыбка всемирно знаменитого американского киноартиста Дугласа Фербенкса, если бы ему вздумалось заглянуть в Советский Союз, в этот город и именно сюда — в порт. И потом это еще вопрос, стал ли бы Дуглас так щедро угощать и так красиво швырять деньги, как грузчик месткома номер пять Деревенский. Большой вопрос.

Среди грузчиков Робка был просто нищим. Ребята не раз предлагали ему «грóши», даже совали

насильно в карман, но он неизменно отвергал их и продолжал изворачиваться на свою крохотную зарплату, ел раз в день в столовке нарпита жидкий суп и жидкую кашу.

За вычетом квартплаты, комсомольских и профсоюзных взносов, на остающиеся деньги можно было лишь с трудом прокрутиться от зарплаты до зарплаты.

Имя «Роберт» было дано ему отцом. Мать плакала, умоляла мужа забыть это варварское имя, но Зайцева был неумолим. Никакого «Роберта» в святцах, естественно, не существовало, и батюшка наотрез отказался записывать в церковную книгу ребенка под таким названием.

Остался сын трубача Зайцева некрещеным.

Пристрастие к имени «Роберт» у Зайцева-отца объяснялось тем, что некогда, в молодые годы, ему, не изгнанному тогда еще из оперного оркестра за беспробудное пьянство, довелось сыграть соло на своей трубе в опере Мейербергера «Роберт-дьявол».

За это действительно замечательное соло коллеги воздали Зайцеву высшую музыкальную похвалу: постучали смычками по декам скрипок.

То было самое, а вернее, единственное счастливое событие в жизни Зайцева, и все, связанное с оперой «Роберт-дьявол», стало с той поры его ин-



тересовать: и биография Джакомо Мейербера, и то, что либреттистом был автор знаменитого «Стакана воды» — Скриб, и многое другое.

И когда появилось на свет ушастое существо, папа-Зайцев (давно уже не оперный оркестрант, а свободный лабух-халтурщик) категорически потребовал, чтобы ребенок был назван Робертом и никак не иначе.

Жил Робка Зайцев один в крохотной комнатенке. Родители давно ушли в мир иной, и с двенадцати лет он содержал себя сам.

Ровесницы Робы — девочки с его двора — не обращали на него как на кавалера ровно никакого внимания. Он у них не котировался. Честно говоря, был Робка действительно, ну прямо черт знает как некрасив. Заячья губа, конопатое лицо, большущие уши перпендикулярно поставлены к голове — абсолютно неудачная внешность. И только глаза... Да кто там стал бы присматриваться к его глазам... А именно в этих синих глазах отражались душевная чистота и благородство, доверчивость, наивность, любовь к людям и безграничная доброта.

Девочки постоянно поддразнивали Робку на тему невинности. Откуда они узнали об этом его крупном недостатке — непонятно.

Однако же узнали.

Жила в том же дворе одна рыжая Вика — дочь оперного скрипача-альтиста Ткача.

Приглаживаясь к походкам портовых шлюх и изрядно порепетировав дома перед облезлым зеркалом, эта девчонка научилась покачивать на ходу бедрами и нужно — не нужно демонстрировала свое искусство. Когда она шла по улице таким манером и обмахивалась белым носовым платочком, не было мужчины, который не оглянулся бы ей вслед.

Родители Вики смотрели сквозь пальцы на ее образ жизни, она могла возвращаться домой когда угодно, гулять с кем хотела.

Мать Вики была толстой, грубой, краснолицей женщиной, но, как ни странно, в ней ясно просматривалось будущее хрупкой Вики. По временам мать все же начинала ругать дочь за поведение, но в ответ на ее базарные тексты Вика, упершись кулачками в свою осиную талию, сыпала такой виртуозно-отборной бранью, какой позавидовал бы любой портовый босяк.

И странное дело, в эти минуты хорошенькая Вика вдруг становилась уродом. Куда исчезла красивая линия рта?.. Теперь это был рот жабы. Ярko-зеленый цвет глаз превращался в мутно-грязный. И вся она, выплевывающая ругательства, бывала в такие минуты отвратительна.

Отец неизменно вступался за Вику, и на этом воспитательная работа матери заканчивалась.

С отцом у Вики отношения были особые. Они никогда не выражали своих чувств, но любили друг друга, и он только улыбался, слыша о Викиных похождениях.

Кроме отца, был во дворе еще один человек, странным образом не замечавший ее вопиющего поведения, — Роба Зайцев. Каким-то образом он просто не слышал, даже будучи совсем близко, Викиной ругани. Физически не слышал. Так же, как не замечал, что она постоянно яхшется с какими-то подонками. Не видел, не слышал, не понимал — такой образовался феномен. Для Робы она была Викой, и этим все для него было сказано.

Вика поглядывала на Робку, всегда посмеиваясь и прищуривая свои кошачьи глаза. Она всех громче смеялась над ним и находила для него самое хлесткое, самое обидное слово.

Обычное ее место, когда Вика бывала дома, — конец гладильной доски, выдвинутой из окна верхнего, шестого этажа, где находилась квартира Ткачей. Один конец доски она заводила под столешницу тяжелого отцовского письменного стола, другой высовывала из окна.

Взяв с собой иллюстрированный журнал, она бесстрашно выходила на самый кончик доски и там усаживалась со своим журналом, поджав по-турецки ноги. Это производило сильное впечатление на прохожих — окна Ткачей выходили на улицу.

И вот в жизни этой Вики однажды произошла неприятность. То ли ее бросил кавалер, то ли еще что-то в таком роде. Во всяком случае, Вике понадобилось срочно кому-то отомстить.

Человечеству с древних времен известно, что женщины считают самым страшным способом мести измену. Вот и Вика решила прибегнуть к такому методу, полагая, что она его сама только что изобрела.

Ввиду срочности вопроса Вика не стала выбирать, а, увидев во дворе первого попавшегося человека — Робку, взяла его под руку и, ничего не объясняя, сказала:

— Пошли.

Как ни неопытен был Робка, он понял, что подразумевала Вика, и, волнуясь, повел ее в пустынное место на обрывистом морском берегу. Пришли.

Вика неприязненно поторопила:

— Ну что ты тянешь резину?

Роба попытался поцеловать ее, она отвернулась:

— Ну, ну, без этих глупостей...

Луна зашла за облако, стало темно.

Сердце у Робки колотилось так, что казалось, вот-вот разорвет и рубашку и кургузый пиджачок и вырвется наружу. Дышать стало трудно, точно с берега Черного моря исчез весь воздух.

Неловко обняв Вику, Роба усадил ее у подножия большого дерева. Она не сопротивлялась, села. Но как только он наклонился над ней, Вика вдруг с диким воплем вскочила и, продолжая кричать, бросилась в сторону.

Когда Роба, недоумевая и тревожась, подошел к ней, Вика залепила ему изо всей силы оплеуху, потом другую и посыпала их раз за разом. Одной рукой била, а другой что-то с себя сбрасывала. И называла Робку при этом оскорбительнейшими словами.

Невезение есть невезение. Если человеку на роду написано быть невезучим, то с этим ничего не поделаешь. Жди неприятностей. В самом деле, как мог знать Робка, что именно под этим проклятым деревом пристроился муравейник и что он усадил

свою даму прямехонько на него? Да к тому же и муравьи тут жили не простые, а какие-то особо свирепые — черные и кусачие, как звери.

К счастью, эта любовная неудача осталась неизвестной, не то затравили бы Робку насмешками.

Между тем Роберту давно уже снились по ночам женщины. Были они всегда кинозвезды — то Пола Негри, то Мэри Пикфорд, а то итальянская красавица Франческа Бертини или Грета Гарбо... Эти знаменитые в те годы звезды не только приходили к Робке по ночам, но и говорили с ним — между прочим, по-русски, — а некоторые даже обнимали и целовали его. И, если уж выкладывать всю правду, в снах у Робки кое с кем из этих артисток складывались довольно близкие отношения. Так обстояло дело до трагикомического происшествия с Викой.

Теперь же вместо кинозвезд во сне стала ему являться Вика. Он снова и снова, как тогда на берегу моря, обнимал ее, но финал с муравейником не приснился ни разу.

Однако же чем свободнее вел себя Робка в снах, тем скромнее, скованнее становился в реальной жизни. Он сторонился балерин за кулисами театра, сторонился девочек, с которыми гуляли его друзья.

Он всячески избегал женского общества.

А тут в театре случилось происшествие, которое вовсе отвлекло Роберта от всех на свете проклятых женских вопросов.

Произошло это на «Травиате».

Как утверждал дирижер Евгений Иванович Слепцов, во время интродукции к «Травиате» альт Ткач — Викин отец — сыграл ему «та-ра-ра-та-там», что на музыкантском языке означало нечто совершенно непристойное. А проще говоря, «иди, мол, туда-то и туда-то».

Сыграл это товарищ Ткач совсем тихо, и в публике как будто ни одна душа того не услышала. Слепцов же швырнул дирижерскую палочку и вышел из оркестра. Один за другим смолкли инструменты. Зрители с недоумением заглядывали в оркестровую яму.

За кулисами стоял крик, и все по временам еще громче кричали: «Тише!»

Прервать спектакль! Бросить дирижерскую палочку! Уйти из оркестра! Чудовищно!

Нужно сказать, что Слепцова оркестранты не любили и имели для того основания.

Капризный, вздорный человек, Слепцов изводил их на репетициях, придирался ко всякой мелочи, заставлял бесконечно повторять одно и то же место партитуры, хотя ничего нового вытянуть из инструментов все равно не мог, не умел. Он чувствовал свою беспомощность, свой «потолок» и злился, вымещая эту злость на ни в чем не повинных оркестрантах.

За кулисы прибежал директор театра, примчался главный администратор и просто администратор, зашел сидевший в директорской ложе секретарь горисполкома и оба дежурных пожарника, сияющие надраенными мелом медными касками.

Музыканты перешли из оркестровой ямы за кулисы.

Слепцов, бледнее чем манишка его фракной рубахи, пил валерьянку и рвал галстук-бабочку.

Оркестранты в один голос отрицали вину Ткача. Играл он свою партию и ничего такого себе не позволял. Это болезненная галлюцинация Евгения Ивановича.

— В конце концов вы могли заявить об этом в антракте или после спектакля, — кричал Слепцову

директор.— Сорвать спектакль, и где? В городском оперном театре!!!

— Вот послали бы вас по матушке,—кричал ему в ответ Слепцов,— посмотрел бы я, как вы бы отреагировали.

— А меня, может быть, сто раз посылали! — кипятился директор.

— Позвольте, Евгений Иванович,— успокаивал Слепцова контрабас Головчинер,— никто ничего подобного не играл...

— А вы, Головчинер, смолкните, ваше дело лавать на свадьбах... Думаете, никто не знает...

Головчинер вспыхнул и отошел.

Первая скрипка — он же профессор местной консерватории — Кудрявцев молчал.

— Но вы, вы-то слышали? — кричал ему Слепцов.— Вы же порядочный человек...

— Извините, мне очень жаль,—отвечал порядочный человек,— но я ничего не слышал.

— Вообще, что за разговоры, пусть местком разбирается,—сказал кто-то.

Реплика эта вызвала некоторое смущение. Председателем месткома был именно альт Ткач.

— Союз, Союз разберется, передать в Рабис. А сейчас все по местам,—приказал директор и, наскоро проверив, все ли у него застегнуты пуговицы, раздвинул занавес и вышел на авансцену к публике.

— Администрация приносит извинения,— произнес он хорошо поставленным голосом бывшего драматического артиста.— По чисто техническим причинам нам пришлось прервать интродукцию.

— Хрен там — техническим,—раздался оглушительный бас с галерки,—чего заливаешь? Или я не слышал, что лабух сыграл?..

Послышался смех.

— Товарищи, товарищи... — растерянно говорил директор,— это некультурно, мы продолжаем спектакль...

— Давай, давай... — добродушно согласился бас,— валяй, продолжай.

Капельдинеры пытались вывести с галерки шумного зрителя — им оказался всем известный алкоголик Вадык Кузякин, хорист этого же оперного театра, давно уволенный за беспорядочное пьянство.

Вадык, однако, сопротивлялся. Соседи стали защищать его, и капельдинерам пришлось бесславно отступить.

— Вот видите,—взволнованно говорил Слепцов, приводя в порядок свой галстук-бабочку и одергивая перед зеркалом на себе фрак,—видите? Какая же это галлюцинация, если даже Вадык Кузякин слышал?

— Хорошо, хорошо, мы разберемся,—подталкивал его директор,— но сейчас идите...

Когда Слепцов стал за дирижерский пульт, в зале послышался смех, а Вадык на галерке отчетливо пропел: «Та-ра-ра-та-там-там...»

Слепцов бросил в направлении галерки огненный взгляд, но поднял палочку, и заново началась интродукция.

Вероятно, конфликт так ничем бы не закончился, ибо свидетельство алкоголика Вадыки не приняли бы во внимание, но тут объявился еще один свидетель — ударник Зайцев.

Роба долго, мучительно сомневался — как быть?.. Совесть комсомольца и врожденная правдивость подсказывали ему — выступить, сказать правду, но как отнесется к этому Вика? Ведь это ее отец... А оркестранты, коллектив — раз они все молчат, Робкино признание сочтут предательством... Пойти против коллектива?.. И снова Вика, Вика, она будет презирать его...

Шло бурное собрание оркестра. Роба сидел у окна, болезненно переживая раздвоение личности. Одна половина личности подсказывала ему — молчи, не суйся. Слепцов свинья, нечего за него заступаться. А другая половина личности говорила: «Ткач сыграл? Сыграл. Ты слышал? Слышал. Ну и скажи». И снова первая половина: «Зачем же ты будешь говорить? Ткач Викин отец. Ткач хороший человек, его, правда, не увольт — он лучший альт в оркестре,— но все равно нечего тебе лезть в это дело, без тебя разберутся...»

И Роба первый раз в жизни твердо решил промолчать, не говорить правду.

Но тут сама собой вдруг поднялась его рука.

— Слово Робке,—сказал председательствующий.

— Не Робке, а Роберту Зайцеву,—поправил его старейший музыкант оркестра Скоморовский,— пора уже, кажется... тут не лабухи, а государственный оркестр. Говори, Роберт.

И Роба встал. Его большие уши, вертикально приложенные к голове, горели ярким пламенем.

— Я считаю своим долгом заявить,—сказал он твердо,—что хотя товарищ Слепцов порядочный гад...

Тут дирижер Слепцов вскочил с места, открыл рот, но никакого звука не последовало. От возмущения у него пропал голос.

А Робка продолжал:

— Тем не менее правда есть правда. И товарищ Ткач сыграл ту штуку. Это было.

И в ужасе от сознания совершенного сел.

Что тут поднялось! На Робку наскakивали музыканты, кричали, размахивали руками. Председатель безуспешно стучал карандашом по графину.

Но крики криками, а игнорировать такое заявление невозможно. Дело передали в Союз, а Робке был объявлен бойкот. Никто с ним не здоровался, не разговаривал. Его не замечали. И не только в театре, но и дома, во дворе, поскольку население состояло сплошь из музыкантов.

На правлении Союза Рабис конфликт оперного театра слушался под председательством товарища Мазепова.

До занятия председательской должности в Рабисе Тимофей Петрович Мазепов был квалифицированным маляром и хорошо зарабатывал. Воспоминания об этом по временам срывали с уст председателя тихий стон. Нынешняя его ставка руководящего работника не шла ни в какое сравнение с прежними малярскими доходами.

Но что подлаешь — направили на выдвижение — куда денешься? А тут еще в таких вот кляузах разбирайся.

Страсти на заседании разгорелись до последней крайности.

Ораторы, едва различимые в сизом табачном тумане, кричали и перебивали друг друга. Из окон правления на улицу валил до того густой табачный дым, что прохождение останавливались, раздумывая, не вызвать ли пожарную дружину.

К вечеру ораторы выдохлись, устали. Сидели, тяжело дыша, и спокойно согласились с мудрым решением: объявить выговор обоим — Слепцову за то, что бросил дирижерскую палочку и прервал спектакль, Ткачу — за то, что сыграл такое.

Кроме того, назначили внеочередные перевыборы месткома на следующий же день.

И тут, на этом перевыборном собрании, произошел еще один конфуз. После оглашения списка кандидатов в местком один из музыкантов предложил внести дополнительно кандидатуру бывшего председателя — товарища Ткача, которого, естественно, в списке не было. Внесли. При голосовании оказалось, что имен-

но Ткач получил абсолютное большинство. Против была поднята только одна рука — дирижера Слепцова.

С Робкой ни на правлении, ни на перевыборном собрании не поздоровался ни один человек.

Презрение коллектива, косвенные реплики о предательстве. А тут еще начались репетиции новой оперы — и с кем же? Со Слепцовым, который почему-то тоже стал его врагом. И главное, самое главное... Ведь встретится же он когда-нибудь с Викой...

В ячейке, где Роба рассказал свою историю, грузчики посоветовали ему плюнуть на все это и послать подалше и оркестрантов и Слепцова.

Но легко было им говорить...

О Вике он, конечно, умолчал.

И однажды, когда Роба в самом мрачном настроении подходил к дому, стараясь не смотреть по сторонам, его окликнул голос с неба:

— Ты что же это, лопушок, людей не замечаешь?

Он поднял голову.

Там, высоко-высоко, на фоне ослепительно белых облаков сидела на кончике доски, поджав под себя ноги, Вика.

— Подожди меня, — крикнула она.

Замерев от страха, Роба следил за тем, как она гибко поднялась, качнулась на пружинящей доске и скрылась в окне.

Роба вошел во двор. Через минуту туда же выбежала Вика и протянула руку.

— Ну, здравствуй, что ли... — Она звонко рассмеялась: уж очень глупый был у Робки вид.

— Давай лапу, чудак.

Роба протянул руку, и его словно током ударило прикосновение к Викиной ладони.

— Пошатаемся? — предложила она.

И как была, в тапочках, в старом ситцевом сарафанчике, пошла к воротам. Роба, все еще потрясенный, — за ней.

То был яркий летний день. По-южному неторопливо гуляли люди. Даже среди разряженных эзпманских женщин Вика в своем сарафанчике выглядела так, что мужчины как всегда оглядывались ей вслед, хотя на этот раз она шла скромно и не виляла бедрами.

Роба с изумлением смотрел на нее. То была Вика и не Вика.

Они спустились крутой улочкой к морю и шли по берегу.

Вика впервые говорила без подначек и насмешек — вполне дружески; она сказала, что ее отец простил Робку и считает, что он поступил честно, как настоящий комсомолец.

Роба улыбался. Подавленность и тревога, которые в последние дни угнетали его, теперь отпускали, освобождали...

Он с удивлением заметил, как весело светит солнце, как радостно бьются о берег маленькие волны, какие все хорошие люди идут навстречу.

Вика сбросила тапочки и пошла по воде. И Робка, следуя ее примеру, снял свои стоптанные сандалии, закатал брюки до колен и ступил в теплую воду.

Он громко засмеялся.

— Ты чего? — спросила Вика.

— Так. Ничего.

На самом же деле это было не «ничего», а настоящее счастье — шлепать вот так, вместе с Викторой по пенистой кромке воды, идти за Викторой, смотреть на нее...

— Послушай, Робка, что это за тип, про которого ты рассказываешь? Ну, за которого тебя все время кроют...

— Это Шарль Фурье, великий утопист.

— И что он там за петрушку придумал?

Торопясь, перебивая сам себя, Роберт стал рассказывать о фаланстере, в который, несмотря на все проработки, продолжал верить.

Вика задумчиво слушала.

Они давно вышли за пределы окраины и продолжали идти, все дальше и дальше удаляясь от города.

Пляж кончился. Берег стал обрывистым, и Вика, а вслед за ней и Робка, взобравшись наверх, пошли по краю обрыва.

Вскоре перед ними открылась небольшая бухточка, на ее берегу стоял заброшенный рыбацкий домик. Возле него — наполовину погруженный в воду остов рыбацкого баркаса. Из трубы полуразрушенного домика, однако же, поднимался дым.

— Ну вот мы и пришли, — сказала Вика и, вложив пальцы в рот, громко свистнула.

Ничего не понимая, Робка с изумлением взглянул на нее и ужаснулся внезапной перемене. То была уже совсем другая Вика — злая, презрительно смотрящая на него. Со стороны домика послышался ответный свист, и на пороге показались Пат и Паташон — двое воров, известных всему городу.

Говорили, что они промышляют еще и контрабандой, но поймать их на этом не удавалось. Они несколько раз судились и отсиживали в тюрьме за крупные кражи.

Еще говорили, что Вика гуляла одно время с Паташом.

Настоящие их имена были: Пат — Пупков, а Паташон — Карапетян. Прозвища, данные им за то, что один был высоким, другой низеньким, коренастым, эти прозвища добрых кинокомиков совершенно не подходили к ним, ибо то были мрачные, грубые парни, злобные хулиганы, уголовники, нахватавшиеся тюремной науки.

Пат, впрочем, был бы довольно красивым малым, если б не расплывчатый в лепешку во время драки нос и угрюмый взгляд исподлобья.

Карапетян-Паташон, приземистый, могучей силы армянин, любил хвастать своей редкой способностью ходить на руках. Он сбрасывал пиджак и закатывал рукава шелковой рубахи, обнажая толстые руки со вздувшимися мышцами. Затем, неожиданно легким для такого мощного тела движением вскидывал ноги и становился на руки. При этом обнаруживались его ярко-лиловые носки. Паташон был франтом и неизменно носил лакированные полуботинки и лиловые носки.

Выпив, он мог довольно долго ходить так на руках, произнося по-армянски какие-то стихи и вызывая восторг дружков.

— Тот самый? — спросил Пат, когда Вика с Робкой подошли к домику. — Иди, комсомол, иди, не бойся.

Пат с интересом разглядывал Робку.

— Так, так... вот мы, значит, какой? Говорят, ты сильно принципиальный пацан. Викиного папашу ты, говорят, заложил, верно? Верно говорю? Чего молчишь?

И Пат треснул Робку «под вздох». Паташон подхватил его, не дав упасть, ударил своим кулаком-молотом в лицо и отпустил.

Роба лежал в траве. Кровь текла изо рта и из носа.

Он смотрел на Вика

Она стояла, заложив руки за спину, и покачивалась, то поднимаясь на носки, то опускаясь на пятки.

Паташон между тем вынес из домика табуретку и почерневший от времени пустой дощатый ящик. Поставил. Вытащил из нагрудного кармана яркий — в горошек — шелковый платочек. Смахнул с табуретки и с ящика пыль. Сказал: «Же ву при», — раскрыл коробку «Посольских», и все трое закурили. Пат

уселся на табуретку и ткнул лежащего на земле Робку ногой.

— Знаешь, сопляк, что по нашему закону стукачу полагается? — Он вынул из кармана бритву, как-то по-особому, профессионально тряхнул ею. Бритва раскрылась.

Упираясь спиной в ствол дерева, Роба стал подниматься.

— На твое счастье, паразит, нам нужен в городе человек. Будешь оставаться как был, а что делать — мы тебе скажем. Усек? И помни: в случае чего, бритва тебя всюду достанет. Расфасуем, как куренка, — туловище отдельно, головка отдельно. Усваивай. А теперь повторяй за мной: «Я, вонючка и гад, отрекаюсь от своего задрипанного комсомола. Будь он проклят. Принимаю воровской закон и на том буду жрать землю...» Ну, говори: «Я, вонючка и гад...»

Роберт молчал. «Как быть? Как быть?.. — лихорадочно думал он. — Убьют, конечно... надо сказать все, что хотят, а потом рассчитаемся... сказать надо, конечно...»

— Ну, чего молчишь? — ударил его кулаком Паташон.

— Повторяй, — сказал Пат, — «я, вонючка и гад, отрекаюсь от задрипанного комсомола...»

«Говори, говори, — думал Робка, — говори им что угодно...»

Паташон нагнулся, набрал горсть земли и поднес к кровоточащему Робкиному рту. Засмеялся:

— Пожрешь у меня сейчас...

И начал заталкивать комья земли Робке в рот.

— Ну, последний раз, — рассердился Пат, — повторяй: «Отрекаюсь от своего сволочного лекесема...». «Повторяй! — приказал себе Робка. — Повторяй, а потом видно будет...»

Отталкивая волосатую руку Паташона, выплевывая кровавую землю и заорав: «Да здравствует комсомол!» — Робка выхватил бритву у Пата. Лезвие полоснуло бандита по кисти, и, вскрикнув, он прижал руку к груди.

К Робке бросился Паташон.

Но Робка, размахивая бритвой, шагнул ему на встречу, и Паташон остановился, попятился.

Впервые в жизни был Робка сейчас не смешон. Бритва взблескивала у него в руке. Кровь стекала по подбородку на грудь, на белую апаху.

Паташон кинулся в сторону, Робка за ним.

И вдруг невозмутимо сидевшая на ящике Вика подставила Робке подножку.

Он упал на землю плашмя, бритва отлетела далеко в сторону.

Через мгновение Паташон сидел уже на Робкиной спине и выкручивал ему руки за спину.

Пат нагнулся, не торопясь, поднял бритву и сказал: — Ну, что ж, дело ясное. Уговоров больше не будет. Переверни-ка его, Паташон.

— Уши, уши бы ему... — поворачивая Робку на спину, хрипел Паташон. — Чересчур он хорошо слышит, кто чего играет, кто чего говорит...

— Ну, хватит, — сказала Вика, отбрасывая окурки, — поугади, и хватит с него.

— Не мешайся, — огрызнулся Пат.

— А я говорю — довольно. Отпусти.

Не слушая ее, Пат оттянул Робкино ухо.

Вика бросилась к нему, но Пат успел полоснуть бритвой, и Робка закричал от боли.

Вика била Пата кулаками, била ногами, а он, отдавая бритву за спину, свободной рукой отталкивал ее.

Она колотила, и ругалась, и впивалась ногтями в лицо Пата.

И тут со стороны моря послышались крики. Четыре человека бежали к домику. У берега стояла лодка, в которой эти люди приехали.

Идея прокатиться на лодке пришла в голову Васькиному «предмету» — Лариске, Ларисе Безбородко.

Лариска служила учетчицей в местном грузчиков номер пять и сама была здорова, как грузчик.

С Васькой Дерезенским у нее была любовь вот уже скоро год.

Все бы шло по-хорошему, но Лариска постоянно грустила о каком-то настоящем, красивом чувстве — со вздохами, цветами, нежными ласками.

Василий ее любил хорошо, и его тридцать два золотых зуба ей нравились, но нежности она от него не видела.

Цветы он ей иной раз притаскивал, правда, в ответ на ее упреки и, стесняясь этого, будто слабости, не подносил их, как того ждала Ларискина душа, а совал ей, словно веник с базара.

В тот день у грузчиков почти не было работы. Пароход, которого ожидали, не пришел. Ребята «кантовались» и зубоскалили.

Василий заглянул в окно конторы. Лариса, скучая, сидела за столом и полировала ногти замшевой подушечкой. Увидев Ваську, она томно потянулась и прореяла:

— Скучно, Вась... хочется чего-то красивого, а чего, не знаю...

Была у Ларисы вполне нормальная речь, а шепелявить она начинала, когда нужно было изобразить негу.

— Пойдем в «Амбир», — предложил Вася, но Лариска наморщила нос. — Ну, на «Розиту», новая кинокартина идет в «Бомонде»...

— Поедем, Вась, на лодке, далеко-далеко, уплывем на край света до самой ночи.

— Идет. Сашку возьмем и Петра. Пусть гребут. А мы с тобой будем, как Степка Разин с персиянкой.

— Да... еще в воду меня... — кокетливо шепелявила Лариска.

И экспедиция отправилась сразу же после закрытия конторы. Набрали с собой выпивки и закусок. На веслах действительно сидели Петр и Александр — ближайшие Васькины кореша, а сам он в позе Разина развалился на корме; Лариска — у его ног.

Пели. И про Степана Разина, конечно, и про бублички, и «Кирпичики», и другие модные песни.

Лариса пела, закрыв глаза:

**...Все, что было, все, что ныло,
Все давным-давно уплыло.
Только ты, моя гитара,
Прежним звоном хороша...**

Петро первый увидел тихую бухточку, где стоял на берегу развалюга — рыбацкий домик. Он предложил причалить и тут устроиться.

Причалили. Выгрузились, Лариска сказала:

— Мальчики, а что это там такое?.. — И показала в сторону домика.

Василий, а за ним ребята и Лариса пошли к домику, но, вдруг поняв, что там происходит, бросились бегом.

Подбежали. Увидели лежащего на земле окровавленного Робку и бандитов, готовых к защите.

— Бросай бритву, гад! — закричал Василий, кинувшись к Пату.

Этого грузчика, знаменитого силача, Пат, конечно, знал. Он послушно отшвырнул бритву.

Через несколько минут Пат и Паташон лежали, крепко связанные, на земле, благо в рыбацком домике нашлась веревка.

Сашка остался сторожить их и Вика, которой тоже связали руки. Василий, Петро и Лариска волокли под руки теряющего сознание Робку.

Василий был голым до пояса — его модная рубашечка, разорванная на полосы, пошла на перевязку Робкиной головы.

Кровь сразу же промочила поязку и капала на дно лодки.

Петро и Василий лихорадочно гребли, видя, как все бледнеет и бледнеет Робка.

Прошло два месяца.

Свинцовым стало море.

У подъезда больницы чернобородый, старорежимный еще дворник подметал опавшие листья и ругался:

— А ну, давай отсюда! Стал, подумаешь, генерал-губернатора встречать...

Шофер, к которому относилось это обращение, подал свой «австро-даймлер» немного назад, и дворник стал свирепо сметать оставшиеся под машиной листья в железный совок.

Длинного, низкого «австро-даймлера» выпросил на этот случай товарищ Мазепов у своего друга — начальника порта.

Выписывали из больницы Роберта Зайцева.

То, что произошло с ним, взволновало весь город. Пупкова и Карапетяна судили и дали им по пять лет.

Вика была оправдана, ибо Роберт, давая показания приезжавшему в больницу следователю, утверждал, что она не имела никакого отношения к бандитам.

Не было дня в течение трех месяцев пребывания Робы в больнице, когда его не навестили бы друзья — грузчики или оркестранты оперного театра. А то и те и другие в один день.

Приносили угощения, книжки.

И вот наступило время выписки.

Встречал Робу товарищ Мазепов и местком оперного театра в полном составе вместе с членом местного товарищем Ткачом.

Встречал Вася Деревенский и еще пять грузчиков с ним.

Вышел с узелком в руках похудевший Робка с черной повязкой вокруг головы.

Его обнимали, пожимали руку, а Ткач, Викин отец, шепнул «спасибо» — ведь Робка спас его дочь от тюрьмы.

И потекла по-прежнему жизнь в музыкантском доме.

Роба еще не ходил на работу, посиживал, читая, у окна.

Он выходил из дому, только когда нужно было купить еду в лавочке.

Вику он не встретил ни разу.

И вдруг — это было в воскресный день — Роба услышал крики. Крики, совсем не похожие на те, что частенько слышались во дворе, когда ссорились соседки или кто-нибудь являлся «подшофе» и ему попадало от рассерженной супруги.

То, что послышалось на этот раз, было криками ужаса, криками потрясенных чем-то людей.

Роба выглянул в окно и увидел, что несколько человек бегут через двор в подворотню, на улицу. Роба бросился вниз по лестнице.

Вика лежала на блестящих после дождя булыжниках лицом вниз. Одна рука была вытянута вперед, другая загнута за спину, как у сломанной куклы. В кулаке зажат носовой платок.

— Я сама чуть что не умерла, — говорила тетя Клаша, жилища первого этажа. — Как птица, понимаешь, падала с этой проклятой доски... Так и летела, как птица, на моих глазах, как какая птица...

— Сорвалась-таки, — всхлипывала другая соседка. — Я же всегда говорила, сорвется она когда-нибудь... Разве они думают о родителях...

— А я иду, задумался и вдруг замечаю — доска так и заходила... Я с угла шел, увидел. Заорал, а она уже лежит...

Зеваки смотрели на доску, что все еще торчала в высоте из окна шестого этажа на фоне радостного голубого неба.

Быстрым шагом приближался к месту происшествия милиционер.

С воплем выбежала из подъезда Викина мать.

И во всей этой суматохе никто не замечал стоящего у стены бледного паренька с черной повязкой на голове, никто не видел его мертвых глаз.

Через день после того, как похоронили Вику, Роберт получил по почте письмо.

Это было первое письмо, полученное Робой за всю жизнь.

Он повертел удивленно конверт, прочел свое имя. Почерк он видел впервые.

Наконец надорвал конверт и вынул листок тетрадной бумаги.

Письмо было от Вики. Отправлено ею утром в день смерти.

«Почему я пишу тебе, Робка, сама не знаю. Хотела было послать тебя куда-нибудь подальше. Какого, собственно, черта ты меня выгораживал у следователя? Кто тебя просил, скажи, пожалуйста? И куда же твоя правдивость девалась? Врал, как последний. А, может быть, мне эта тюрьма больше всего и нужна была? Может быть, я там бы опомнилась? Дурак ты, Роба, настоящий дурень. Проснулась сегодня, вижу — солнце светит, ветер занавеску, как флажок, поднимает, и вдруг я так ясно поняла, что не имею уже к этому никакого отношения, да и ни к чему другому в жизни. Это все меня уже не касается. В общем, точка. Привет издалека, Лопушок.

Вика».

Письмо пришло рано утром, и когда Роберт читал его, в окно светило веселое солнце и ветер поднимал ситцевую занавеску, как флажок.



РУДОЛЬФ ОЛЬШЕВСКИЙ

Светлый день

Кудрявый и седой от мыльной пены,
Без зеркала, на ощупь, наугад
Брил подбородок молодой военный,
Чтоб не трясло, откинувшись назад.

Вагон скрипел, стаканы дребезжали,
Бежало солнце низко стороной,
Позвякивали новые медали
На кителе, висящем надо мной.

В окно глядела мама, пела тихо.
Столбы, холмы, проселки, воронье.
И молодой военный, бредясь лихо,
Стеснительно косился на нее.

Таким запомнил я обыкновенный
Тот день, когда закончилась война.
Стаканы, солнце, бредется военный,
Звенят медали, мама у окна.

У Вечного огня

Возможно ли, что кто-то жил до нас —
Считал потери, праздновал победы,
Лечился, ездил летом на Кавказ,
Курил, ходил на званые обеды!

Возможно ли, что вся моя судьба
Кому-то до меня принадлежала,
И кто-то верил, втайне от себя,
Что нет конца, как не было начала!

Возможно ли, что кто-то после нас
Увидит, как волнуется пшеница,
И много раз
нам выделенный час,
Возможно ли, с другими повторится!

Возможно ли, другой придет к другой,
Произнесет магическое слово —
И наш с тобой покой и непокой
В который раз уж повторится снова.

Жизнь, к счастью, на фантазию бедна,
Она, не опасаясь плагиата,

Все повторяет — чувства, имена —
Из века в век. И тем она богата.

Мы греемся у вечного огня.
Что б ни читал я, каждую строкою
Я чувствую, что это про меня,
Про всех про нас. Возможно ли такое!

Слово

Вовсе не было слова сначала —
И не в первый день и не в седьмой.
Безымянное солнце вставало
Над еще безымянной землей.

Жизнь менялась, металась, сурово
Глаз светлел, прорезалось крыло,
В горле билось предчувствие слова,
Только слово еще не пришло.

Его отзвуки слышались в чаще,
Голос трогал озерное дно,
Стае воющей, стае мычащей
Слово выстрадать было дано.

Иногда возвращается снова
В сны тревожные та маета,
Когда силишься вымолвить слово,
Но сковала уста немота.

Мы прошли полосу испытаний,
От истока измерили срок,
Чтоб в награду по гулкой гортани
Покатился осмысленный слог.

Слово ожило — дышит и слышит,
Осязает и мыслит оно.
Оттого и казалось, что свыше
Нам прозрение это дано.

Радужные слезы

Какое это было наслаждение —
Стать одиноким и, закрыв глаза,
Почувствовать то острое мгновенье,
Когда в тебе рождается слеза.

Легко от горла ком горячий горя
Откатывал, стихая вдалеке,
И оставалась только капля моря,
Бесцветная кровинка на щеке.

И сквозь нее казалось небо выше,
И все вокруг туманно и светло,
Как будто смотришь на траву и крыши
Впервые в разноцветное стекло.

Как сладко быть участником спектакля,
Где все твои обиды на миру,
И все всерьез, и маленькая капля
Слепит глаза, как солнце на ветру.

Мгновенные младенческие слезы,
Так радостно летевшие из глаз,
Степенных лет крещенские морозы
В душе однажды высушили вас.

Печалей наших потайная дверца
Закрылась, наступила полоса,
Когда любая боль уходит в сердце
И там молчит — сухи мои глаза.



ЮРИЙ
ЦИШЕВСКИЙ

ВЫСТАВКА В МИНСКЕ

В апреле прошлого года молодые художники из всех союзных и автономных республик, вооружившись этюдниками, планшетами, складными мольбертами и всей прочей художнической снастью, разъехались по крупнейшим стройкам нашей Родины, по совхозам и колхозам, пограничным заставам и рыболовецким станам с тем, чтобы собраться осенью и представить свои полотна для Всесоюзной молодежной выставки «Страна родная». Эта экспозиция открылась в новом великолепном Дворце искусства в столице Белоруссии Минске в январе этого года.

В светлых, просторных залах разместились около семисот живописных полотен, графических листов и скульптурных произведений. За два-три часа осмотра выставки посетитель совершает своеобразную экскурсию на БАМ, КамАЗ, Нурекскую ГЭС и еще на многие другие большие и малые стройки и бескрайние поля нашей Родины.

В залах, отведенных для живописи, зрителю попадаются интересные работы молодых москвичей, такие, как «Панорама стройки» Е. Вахтангова, «Буровая установка на Самолоре» Д. Шушкалова, «У Курильской гряды» А. Волкова, «Солнечный день. БАМ» В. Грызлова, серия портретов передовиков Красноярского алюминиевого завода В. Вольского, и многие другие. Только одни названия перечисленных работ говорят о том, насколько широк был географический охват творческих поездок молодых мастеров.

Большинство художников из братских республик представили работы, отображающие темы, подсказанные жизнью родного края. Среди них выделяются картина Л. Фролиновой из Душанбе «Таджикские нефтяники», картины В. Аникиваса из Вильнюса «Ры-

боловецкий порт», Д. Арушаянца из Мары «Мост», А. Гоксадзе из Тбилиси «Мой родной город», А. Когтева из Минска «Июль на Полесье».

Что же касается раздела графики, то и тут глаза разбегаются от большого количества талантливых работ — краткой статье трудно их охватить. Стоит только сказать о том, что фамилии многих художников знакомы нам по прошлым молодежным выставкам и нам приятно отметить их творческий переход в иное, более интересное и высокое качество.

Этот обширный смотр нашей художественной молодежи явился творческим отчетом всех тех, кто побывал в командировках от Союза художников СССР, ЦК ВЛКСМ и ощутил на себе отеческую заботу мастеров старшего поколения.

Художники вышли за пределы своих мастерских, они зашагали вперед по широкой и неизведанной дороге, но дорога эта оказалась для некоторых из них очень сложной, им пришлось преодолевать немалые трудности и частенько терпеть неудачи. Вот тут-то и возник разговор о мастерстве, о качестве работ, привезенных из командировок.

Если раньше на молодежных выставках нам не хватало работ, отражающих современную тему, то теперь работы есть, и на повестке дня — улучшение качества произведений. Сейчас для нас ясно, что многим участникам выставки не хватило времени для того, чтобы обобщить свои впечатления и создать продуманную высокопрофессиональную композицию. На представленных холстах много заводских труб, подъемных кранов, всевозможных строительных механизмов, а проникновенного образа советского человека подчас не хватает. Многие участники выставки увлеклись декоративизмом или, как говорят, «производственной орнаменталистикой», что привело к своеобразной манерности и стилизации. Часть из них покатила по проторенной дорожке беглого репортажа или слепого копирования натуры.

Наряду с этими издержками приятно отметить, что многие дебютанты, находясь в командировке, испытали, что называется, «на ходу», ломку своего художественного мышления, что выразилось в глубокой внутренней эмоциональной перестройке, происшедшей под влиянием встреч с новыми людьми, с новой окружающей средой и с новыми художественными задачами. Молодой художник почувствовал, что для углубленного отражения образа своего современника, для более правдивого показа сегодняшнего промышленного и сельского пейзажа необходимо ему самому ощутить причастность к тому, что он хочет перенести на свой холст.

Секретарь Союза художников СССР О. Лошаков так оценил значение Всесоюзной молодежной выставки в Минске: «Ее нельзя рассматривать как итог длительной работы с молодежью. Мы лишь нащупываем дальнейшие пути воспитания художнической поросли. Выставка подчеркнула колоссальную пользу творческих командировок, она дала возможность выявить новые талантливые имена, она показала большой идейный и творческий рост многих ее участников, она позволила сделать вывод о том, что следует разнообразить формы творческих отчетов молодых художников и дать им больше времени для создания полнокровных произведений».

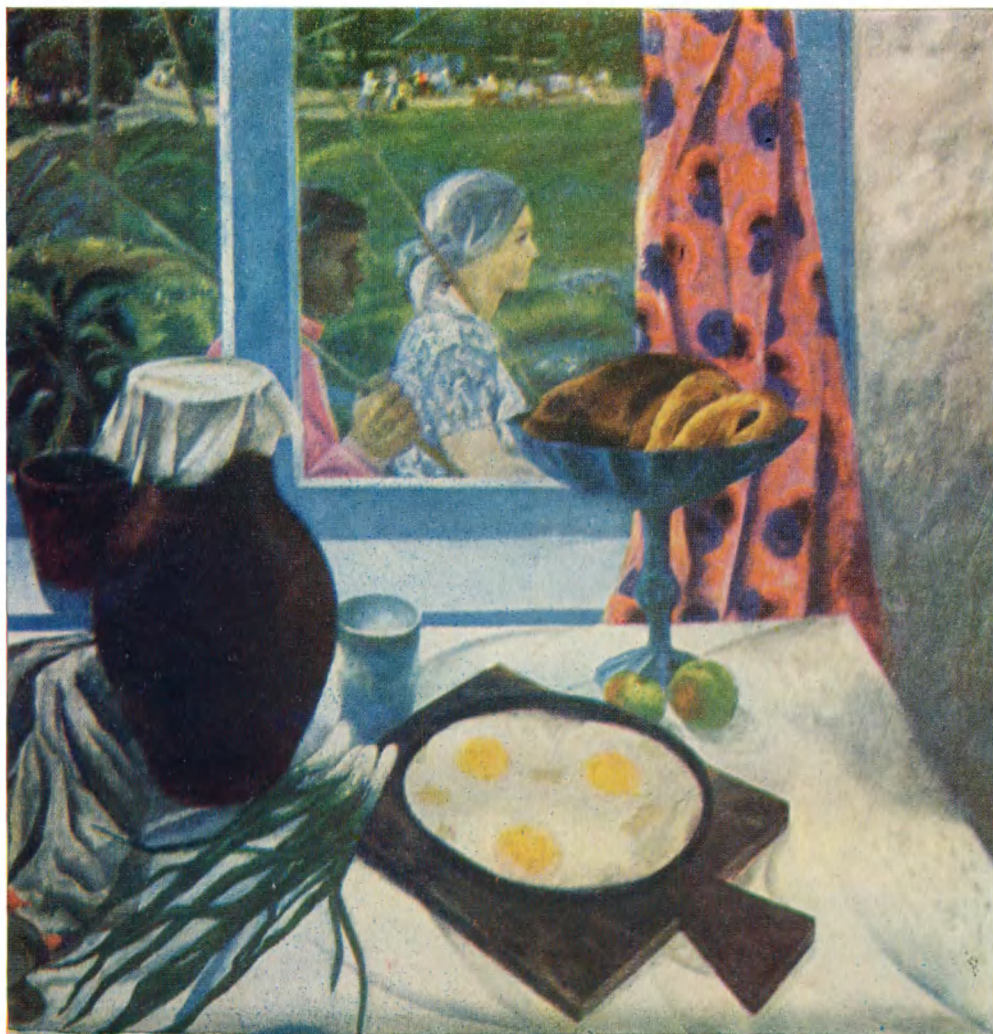
Нам остается пожелать доброго пути как старшим наставникам, так их ученикам — новому молодому поколению, успевшему весомо заявить о своем появлении в советском изобразительном искусстве.

По залам Всесоюзной художественной выставки «Страна родная».
Молодые художники на новостройках 10-й пятилетки. Минск, 1978 г.

Д. ШУШКАЛОВ (Москва).
Буровая установка на Самотлоре.



**В. ГРЫЗЛОВ (Москва).
Солнечный день.
БАМ.**



**А. КОГТЕВ
(Минск).
Июль
на Полесье.**



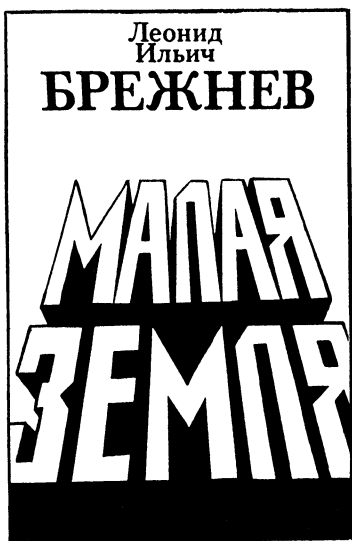
Л. ФРОЛИКОВА (Душанбе).

Таджикские нефтяники.



Р. ДАЛИНКЯВИЧУС (Вильнюс).

Мотоциклисты. Поворот.



ЗНАМЕНА НАД МАЛОЙ ЗЕМЛЕЙ

В те первые дни февраля телефонных звонков было больше чем обычно.
— Читал?

Спрашивали мои знакомые — люди разных возрастов и профессий, иногда очень молодые, но больше всего товарищи по фронту, по восемнадцатой десантной армии. Все только и говорили о появившихся в печати военных воспоминаниях Л. И. Брежнева «Малая земля».

...Слава Малой земли возникла не с опозданием на годы, как это иногда бывает, нет, она ровесница боев на Мысхако.

Тогда, в 1943 году, у причалов Геленджика, у домиков Фальшивого Геленджика, на шоссе, идущем от Новороссийска и Туапсе, иногда можно было услышать, как кто-нибудь, показывая на группу бойцов, по всему видно вышедших из госпиталя, произносил с необычной интонацией: «Ребята с Малой...» Даже матросы сейнеров и мотоботов, ходивших в Мысхако, — сами славные герои — с трогательным уважением относились к тем, кого доставляли на огненный полуостров.

А воины Малой земли, чувствуя это уважение, оставались скромными и простыми, но понимали

свое исключительное положение, ответственность, стратегическую важность своего небольшого участка фронта.

Выражалось это больше всего, пожалуй, в песнях. Песни были удивительной и очень характерной чертой жизни малоземельцев. Среди огня и грохота — песни!

Их было много. И пелось в них о Малой земле. Сочиняли их, конечно, сами бойцы, оставаясь неизвестными.

Звучали песни всюду, порой в самом неожиданном месте, в самое неожиданное время. Это были строки о том, что «чуждо затишье матросам, тревога их сердцу сродни. На крохотной узкой полоске в боях мы и ночи и дни...» О том, как «волны лижут темный берег, мотоботы пристают. И бесстрашно батальоны под огнем вперед идут...» О том, что когда «стемнеет в ущельях немного — собираться в разведку пора...»

С наибольшим вдохновением пелось о том, что «скоро Малая станет большой», что

**На карте лишь точкою в мире
Ее очертанья видны.**

Мы Малую землю расширим От края до края страны.

Мне сейчас, наверно, потому прежде всего припомнились и эти и другие мысхаковские песни, что их существование тоже подчеркивает одну из больших тем, высказанных Л. И. Брежневым. Эта тема — вдохновение боя, высокий воинский оптимизм, братство с теми, кто в сражении рядом с тобой, любовь к прекрасному, не гаснущая в самой суровой обстановке.

Малоземельские песни мне приходилось слышать и на Большой земле. Они тоже помогали славе небывалого полуострова.

А сколько слов уважения, восторга было в письмах, приходивших к бойцам на этот участок фронта! Авторы писем иногда знали, иногда только догадывались, где воюют их сыновья, отцы, братья, мужья, сестры, дочери...

Слава у Малой земли давно стала народной. Поэтому с неослабевающим интересом в послевоенные десятилетия были встречены книги, фильмы, скульптуры, картины, посвященные легендарному полуострову на окраине Новороссийска. Во многих городах школьники-следопыты посвящают свои поиски этой героической эпопее. В городе Черновцы уже десять лет в одной из школ существует музей-клуб «Малая земля», который переписывается с ветеранами-малоземельцами, многим бойцам находя после войны их фронтовых друзей. Людская память восстанавливала, берегла боевые месяцы славного кусочка суши...

И вот сейчас — воспоминания Леонида Ильича Брежнева.

Повествование, заставляющее о многом задуматься, наполненное глубокими обобщениями, живыми проблемами — политическими, военными, моральными, творческими. Записки, которые интересны и участникам войны, и людям, не знавшим ее, и молодежи, и школьникам.

Среди многочисленных читателей и ветераны восемнадцатой десантной.

Они читают по-особому.

Они помнят и караваны небольших судов, идущих под смеркающим небом по морю от Геленджика. А потом — уже ночью — крутой берег Мысхако, вражеские осветительные ракеты, повисающие над причалом на маленьких парашютах, снаряды, поднимающие огромные всплески воды, разноцветные линии трассирующих пуль, переkreщивающиеся над холмами... Выстрелы. Вспышки. Зарева...

Но вот и твердая почва под ногами. Малая земля вся в траншеях, ходах сообщения, окопах, капонирах, землянках. Все открыто глубоко. Во многих местах можно идти, не пригибаясь.

Рассвет обнаруживает порыжелые обожженные холмы. Срезанные взрывами деревья. Разбитые домики. Шершавые кусты. Долина смерти. Тропы разведчиков.

Короткая пауза, и снова: артиллерийские налеты, автоматные и пулеметные очереди. Самолетные атаки. Бомбы.

Приведу только одну цифру: за три дня боев на Малой земле на нее упали сбитыми сто семнадцать вражеских самолетов. Сбитыми!.. А сколько же всего их летало над нашими малоземельцами!

...И помнят ветераны армейских и флотских частей — пехотинцы, связисты и пулеметчики, артиллеристы и саперы, зенитчики и санитары, бойцы, командиры, политработники — легкую пружинистую походку стройного полковника, начальника политотдела восемнадцатой десантной армии... Помнят его живой взгляд из-под темных бровей, его улыбку. Добрый, всегда не очень громкий голос.

Полковник был везде. Беседовал с бойцами. Там, на Малой земле, вручал молодым коммунистам партийные билеты. Расспрашивал солдат, матросов, командиров обо всем — о бое, о доме, о боевом и продовольственном снабжении, о письмах, о друзьях... И призывал. И переживал вместе с бойцами. И гневался. И радовался. И шутил.

Своеобразное ощущение было у того, кто беседовал с ним. Воину казалось, что сейчас он для начальника политотдела самый важный, самый нужный человек. Что полковник, может, и приехал на Малую землю для того, чтоб встретиться именно с ним, расспросить именно его, что-то посоветовать именно ему.

Ветераны восемнадцатой армии читают записки Л. И. Брежнева и многое узнают. Узнают знакомые им черты автора — его бесстрашие, общительность, спокойно-мужественное жизнелюбие, неутомимость, строгую доброту... Сколько в строках воспоминаний очень важных мыслей о человеческих отношениях, об организаторской роли руководителя, об уважении к фронтовикам, о наших героических женщинах, о силе слова в бою...

Узнают ветераны и еще одну памятную черту — умение увидеть светлое в самой суровой обстановке. Л. И. Брежнев пишет, что в ночь высадки кунковского десанта он «не видел ни одного хмурого лица, лица были скорее веселые, на них читалось нетерпение». Он приводит строки из дневника героической морячки Марии Педенко: «Вылезешь из подземелья поглядеть на белый свет, и сердце радуется. Так хочется жить. А вокруг поля вспаханы жестокой машиной войны. Всюду развалины домов и пятна порыжевшей крови на изуродованной, искромсанной земле...» Да, всюду разрушение, огонь, но сильнее всего — любовь к жизни, стремление к победе, вера в силы народные.

В представлении моряков бригады Мария была неотделима от выпускаемой ею газеты «Полундра». Была Мария огневолосой, и прозвали ее бойцы «Рыжая Полундра». Она не обижалась, ей даже, наверно, нравилось это прозвище — и после войны она своим боевым товарищам дарила на память фотографии

На переднем
крае.

Картина
художника
Л. КОТЛЯРОВА

Выставка,
посвященная
60-летию
Вооруженных Сил
СССР



с надписью «От Рыжей Полундры». Одной из главных черт этой бесстрашной, дважды тяжело раненой девушки была веселость.

И еще приведу одно место из воспоминаний Л. И. Брежнева.

«Хороший подарок малоземельцам был преподнесен в честь 1 мая 1943 года. Когда рассвело, люди ахнули и заулыбались от радости. Ночью в разных местах расположения бригады бойцы водрузили красные знамена... На Малой земле, изрытой бомбами и снарядами, усеянной осколками, прокопченной и окровавленной, в окружении врага, водруженные знамена буквально ошеломили. Гул восторженных голосов прокатился над этой истерзанной землей. Что-то очень дорогое лично каждому ощутили люди. После первого порыва волнения всех охватило веселье. Смеялись от радости, от сознания своей силы...»

Восемнадцатая армия в первые дни войны начала создаваться у нас в Харькове. И сейчас в нашем городе живет много ее ветеранов... И армейцы и моряки. В ней было много флотских частей. Я тоже пришел из флота, но не чувствовал себя оторванным от него — здесь было немало морских бригад.

И среди ветеранов-харьковчан много моряков... Несколько лет назад ушел из жизни отважный боец

отряда Куникова, талантливый художник, харьковчанин Борис Жуков. Этот прошедший огненные бури человек рисовал мирные добрые картины — весну на харьковском проспекте Ленина, детвору возле первых ручейков. Перед самой кончиной он создал лучшее свое произведение — картину «Стоять насмерть». Матросы на картине дышали боем, но было что-то сделано так, что эти парни представлялись где-то и в солнечном мирном дне, рядом с девушками, мечтающие и нежные...

Бывают разные воспоминания. Одни увлекут мысль в прошлое и оставят ее там. Другие, взволновав героическим прошлым, с новой силой направят ее в будущее.

Вот такими, верой устремленными в завтра, мне кажутся воспоминания Л. И. Брежнева о войне, о незабываемых днях Малой земли.

Борис
КОТЛЯРОВ

г. Харьков.



НАТАН ЗЛОТНИКОВ

Дикая утка

О птица, где была ты,
Наивна и смела!
Скажи, какие даты
Своим крылом смела!

Какие океаны
Твой взор легко вместил!
Легли какие страны
Меж кончиками крыл!

Какая только сила
Тебя несет за край
Всего того, что было!
Прощай, прощай, прощай...

Чья женщина земная
Кладет ладонь на грудь,
Пока, конца не зная,
Течет твой тайный путь!

Слово и число

Напишешь слово и число,
Поднимешь долгий взор,
Как будто змея унесло
В заоблачный простор.

И будет в небе, вдалеке,
Он до тех пор парить,
Покуда держишь ты в руке
Трепещущую нить.
Рвет ветер склеенный тростник,
Витой мочальный хвост
Не выше помыслов твоих,
Не ниже главных звезд.

А слово, что тебе далось,
Так молодо еще,
Живет, надеясь на «авось»,
Наивно, горячо.
И кружит, кружит в небесах,
Как змей бумажный твой
Или как стрелки на часах
С пружиной вековой.

А вот число, что вывел ты,
Суровый цедит свет,
В нем холод крайней высоты,
Где слову места нет.

Учебная батарея

На маленьком плацу разводят караулы,
Снег лепит по лицу и обжигает скулы.

В него прожектор наш, как ветер, бьет наклонно,
Ему играет марш оркестр дивизиона.

Еще кружить, кружить ему здесь, что есть мочи,
А нам служить, служить все три полярных ночи.

Мы слушаем приказ. И долго дисциплина
На каждого из нас глядит, как мать на сына.

Память

Помню, как уезжал «Арсенал».
За Днепром эшелены бомбили.
Помню голод и камский причал.
Помню мать и отца еще в силе.
Это память в свои дневники
То напишет темно, то понятно,
И природе самой вопреки,
Время вдруг возвращает обратно.
Чтоб крещенные грозной войной —
Все—от мальчика до полководца—
Не забыли, какою ценой
Эта жизнь дорогая дается.
Чтоб зерно благородства суметь
Отделить от половы липучей,
Верной славы спокойную медь
Возвышает судьба или случай.
И тогда через все времена,
Как с горы, открываются дали,
Где родные звучат имена,
Где мое вслух давно загадали.
Там любовь впереди, впереди
Ждет-пождет, не дождетсЯ, бедняжка,
И цветет у нее на груди,
Лепестков не роняя, ромашка.

☆☆☆

Когда летел за Пиренеи,
За невысокий перевал,
Как в первый раз, прощался с нею,
Хоть я в разлуке и бывал.
За всей Центральной Европой,
За дальней далью перемен
Она стояла, и Кастрополь¹
Теснился у ее колен.
А та волна, что от удара
Взлетала к небу озорно,
Толику соли Гибралтара
Таила, как зерно—зерно.
Я видел мельницы и храмы,
И бронзу статуй и мортир,
И руку опускал в тот самый
Гвадалквивир, Гвадалквивир.
В тиши библиотек, музеев
Судьбы не замыкался круг,
Свет совершенства тихо реял
Над делом человеческих рук.
По тем картинам и по книгам,
Наивной страстью одержим,
Учился малым и великим
Внимать, родство питать к чужим.

¹ Поселок на южном берегу Крыма.

Не зная устали и лени,
 При свете солнца, при луне
 Я шел, за мной брели две тени
 На ослике и на коне.
 И если только верить чуду,
 Две тени эти — тени крыл...
 Испанию я не забуду.
 Любовь я нес — любовь открыл.
 Когда летел за Пиренеи,
 За невысокий перевал,
 Как в первый раз, прощался с нею,
 Хоть я в разлуке и бывал.

Зимний шторм

Вытряхнул шторм из гнезда
 Много пустячного сора.
 Длинные, как поезда,
 Волны шли ровно и скоро,
 Двигались наискосок
 Линии берега впалой,
 Так что прибрежный песок
 Вдруг оседал, как под шпалой.
 Вздрагивали деревья,
 Круто кренилась ограда,
 Сор унесло до конца
 Долгого-долгого взгляда.
 И не запомнил никто,
 Как, отступая от стужи,
 Стая над волнами кружит,
 Точно живое гнездо.

Путь

Возвратишься — не будет пути.
 И от сердца отхлынет охота.
 Словно долго сидел взаперти,
 Слаще меду мне эта работа.
 Тьма сверкнет, ослепит свет в конце —
 Дальше жизни ушедшей — дороги,
 На младенчески-мудром лице
 Лед и пламя оставляют ожоги.
 Может быть, не спасет никого,
 Может быть, никому не поможет
 Одинокое ремесло,
 Что на легкую прихоть похоже.

☆☆☆

Долгие тянулись речи, сипли голоса.
 Не люблю я эти встречи, эти чудеса.
 Что ни гость, то знаменитость... Как же я попал
 В дом, где суетность и сытость скучный правят бал!
 Не велит моя природа хаживать туда,
 Где, пусть пьяная погода, — все трезвы всегда.
 Где тщеты зудит бессонно маленький порез.
 Где я, белая ворона, сам мертвецки трезв.
 В чем же дело!.. В том, что случай
 В самый первый раз
 Щедрым был; здесь душу мучал
 взгляд прекрасных глаз.
 Заслонен он разговором, — нет его вины, —
 Словно мертвым зимним бором
 Дальний день весны.

☆☆☆

Любовь, не прошу я отсрочки,
 Владычица и раба,
 Но, может, последние строчки
 Дописывает судьба.
 Пока меня носит по свету,
 Закончит она приговор

И перышко выбросит в Лету —
 Сверкнет оно, как топор.
 И станет летать над простором, —
 Где я тебя мало любил, —
 Как будто за миг перед взором
 Отбилась от трепетных крыл.

☆☆☆

Пройду, не спеша, мимо светлого зданья
 вокзала.
 Потом, не спеша, — мимо темного зданья кино.
 Спокойное солнце горит над водой вполнакала,
 И чайка роняет свое отражение на дно.
 Уже на пороге недалекой зимы, по приметам,
 С древесной коры облетает сухая пыльца.
 Я все это видел, другим освещенное светом,
 А он нисходил с твоего молодого лица.
 Куда торопились мы! Время вернется обратно.
 Но страсть ничего не сумеет сберечь за душой.
 Была ты близка, и таинственна, и непонятна.
 А стала понятной, далекою стала, чужой.

☆☆☆

Вот зима встает к рулю
 И ведет корабль погоды
 Там, где сумрачные воды
 Бьют по кораблю.
 Ты себя побереги!
 Голоса звучат все тише
 Под грохочущею крышей
 Северной пурги.
 Твой бы только не затих!
 Так он слаб, что слышен еле.
 Мир огромный неужели
 Тесен для двоих!
 Не хочу я знать сейчас,
 Что в прекрасном быстром снеге
 С вечным другом не навеки
 Кто-нибудь из нас.
 В слабом снеге уловлю
 Вечности небесной свойства.
 Я люблю, не беспокойся,
 Я люблю, люблю.

Час, завершающий работу

Час, завершающий работу,
 Несет и чернь и позолоту.
 Как он пришел, ты не приметишь.
 То мрачен лик его, то светел.
 Ты к делу приступал под осень,
 Ты сладил с ним, довел, не бросил.
 А поднял взор, расправил спину —
 Декабрь зашел за середину,
 И на последнюю страницу
 Предновогодний снег садится...
 Жизнь забытью придет на смену,
 Она одна нам знает цену.
 Как мяч, забросит в небо слово,
 А про тебя забудет снова.
 Не подчиняется расчету
 Час, завершающий работу.
 Все то, что было, было, было —
 Все срубит времени зубило.
 Все то, что будет, будет, будет,
 Согреет снег, жара остудит.
 А все, что там еще осталось,
 Припомнит смерть, забудет старость.
 К работе прикует кого-то
 Час, завершающий работу.



ВЛАДИМИР
ЛЕЙТЛАНД

МЫ ДЕРЖИМ



САМОТЛОР!

Владимир Лейтланд приехал в Нижневартовск, когда ему было девятнадцать лет. А в двадцать пять стал главным инженером крупнейшего строительного управления на Сомотлоре. Был отмечен Почетным знаком ЦК ВЛКСМ. Мы публикуем его рассказ о строительстве автодороги на крупнейшем нефтепромысле Западной Сибири, о становлении молодых руководителей — о всех тех, кому «держат» Сомотлор еще долгие-долгие годы.



Недавно я посмотрел документальный фильм о студенческом строительном отряде, который работал летом на севере нашей области. «Кто, если не ты...» — так он назывался. Пожалуй, это даже не фильм, а кинопротокол эксперимента, проведенного учеными-социологами вместе с кинематографистами. Помните роман Н. Островского «Как закалялась сталь»? Эпизод строительства узкоколейки? Примерно так же работали студенты на строительстве автодороги. Конечно, жилищные условия и материальное снабжение были совсем иные, но студенты трудились больше месяца в глуши, в отрыве от остальных. А когда срок вышел, комсомольцам (им, понятно, не сообщалось, что проводится социальный эксперимент) было объявлено, что ожидаемой замены не будет и дальнейшее их здесь пребывание зависит от собственного выбора. Каждый волен решать сам!

Автотрасса Нижневартовск — Сомотлор пролегла среди бесчисленных болот Приобья.

Владимир Лейтланд (третий слева) с мастерами и рабочими строительного управления № 909 на одной из построенных ими сибирских автострад.

Никто не прельстился возможностью уехать, немедленно покинуть дискомфортную (как говорят социологи) зону. И я подумал тогда, что нравственная сила, духовная стойкость не привилегия трудных времен. В любое, самое благополучное по бытовым меркам время они необходимы молодому человеку, чтобы, «делая себя», делать и свое время. После этого фильма и появилась мысль рассказать о нашем сомотлорском эксперименте, проходившем, правда, без кинокамер и социологических анкет.

Я хочу рассказать лишь о некоторых его этапах, свидетелем которых мне довелось быть. Слова Леонида Ильича Брежнева: «То, что было сделано, то, что делается в этом суровом крае, — это настоящий подвиг», — хорошо известны. Но Сомотлор даже для Западной Сибири — новое, живое дело, которое не может не увлечь молодых. Сомотлор не может обойтись без молодежи. Ну, а молодежь — без Сомотлора, как и не могла обойтись она без Магнитки и Комсомольска, Братской ГЭС и Байкало-Амурской магистрали. Едва только появилось в газетах это загадочное слово «Сомотлор», как сотни молодых людей из многих городов страны стали просить назна-

чения на ударную стройку. Мне посчастливилось поехать на Самотлор в год его рождения, быть у истоков его биографии...

В поселок Нижневартовский, а точнее, в строительное управление № 909, я прибыл после окончания Омского автодорожного техникума. Долго плутал болотными тропками, пока наконец не вышел к двухэтажному зданию конторы. Представляюсь начальнику СУ Юрию Григорьевичу Шереметьеву. Сидящий за столом седой, голубоглазый мужчина весело изучает меня. Смотрит на ноги: следы путешествия по болоту ликвидировать не удалось.

— Первое крещение, вижу, принял, — говорит он. — Болотные сапоги уже приобрел?

— Неужели до сих пор нельзя подвести дорогу к аэропорту? Здесь семь километров от силы! — говорю неожиданно для себя.

— Приветствую вас, молодой новатор! — озорно гудит Юрий Григорьевич. — Нам, рутинерам, и в голову не приходила эта смелая идея! Проморгали гениальное инженерное решение!

Отступать поздно, и я продолжаю:

— Сапоги-болотники не решение вопроса. Дорожник в сапогах не эмблема современной стройки!

— Современной? — переспросил Юрий Григорьевич. Он вдруг подошел к окну, широко распахнул его. Кабинет заполнили скрежет железа, густые сигналы машин.

— Смотри, Володя! Эта армада идет туда, где еще несколько лет назад были непроходимые болота. Подход к Самотлору есть! Теперь нам предстоит все озеро взять в бетонное кольцо. Каждый километр такой кольцевой дороги — сотни тонн самотлорской нефти. Ее ждут все. В этом году получим первые тонны, а через три года обгоним Азербайджан! Еще через несколько лет здесь будут добывать нефти больше, чем на любом промысле страны! Фактор времени сейчас главный! Нам никто не даст укладывать семь километров дороги в сторону аэропорта. Эти семь километров на самом Самотлоре сейчас нужнее! Вот и приходится жертвовать собственной обувкой! А что касается эмблемы, то над ней стоит подумать. Я недавно, грешным делом, на одном большом совещании высказывался по этому поводу. Слышу, одно и то же повторяют: «Три кита Самотлора. Три кита Самотлора». Что, думаю, за киты такие? Потом уразумел. Оказывается, так называют вышкострое-ние, бурение и нефтедобычу. Попросил я тогда слова, встал и спросил: «Скажите, дорогие товарищи, а на чем ваши киты держатся? В таком болотистом краю не на чем им, бедным, поместиться, кроме как на наших дорогах». Так я сказал. Хорошо бы нам такую эмблему изобрести. Понимаешь? Мы держим Самотлор!

...Вскоре эмблема родилась. Символом управления стал крутой вираж, вписанный в круг. И нефтяная вышка на горизонте.

Крутой вираж бетонки прочно вписался и в мою биографию. Я работал в управлении сначала мастером, потом прорабом, старшим прорабом и, наконец, начальником комсомольского участка, первого крупного молодежного соединения строителей на Самотлоре. Трудностей в то время хватало. Обустройство Самотлора началось невиданными ранее темпами. И надо сказать, три «кита» Самотлора нашли такие инженерные решения, которые помогли форсировать наступление. Вышккомонтажники и буровики впервые в стране осуществляли совместный эксперимент — бурение группы наклонных скважин с одной площад-

ки, так называемыми «кустами». Промысловики тоже нашли свой самотлорский вариант, появились «кустовые» насосные станции по извлечению нефти и закачке воды для поддержания пластового давления. Ускорение добычи нефти диктовало расширение сети дорог. Мы сразу почувствовали, как тяжело «держат» Самотлор». Трудность была в том, что мы не могли «консервировать» строящиеся участки дороги, не могли предоставить земляному полотну годичный «отпуск» для окончательной стабилизации. Сразу же после сдачи нового отрезка он становился действующим. Вынужденная, но необходимая мера! Мы не имели возможности также надолго закрывать проезд и на тех участках, где шла укладка бетонных плит. Это создало бы транспортные пробки, пульс Самотлора сразу замедлялся: весь поток машин двигался по единственной дороге, которая с двух сторон охватывала озеро, брала его в клещи, чтобы затем стать бетонной опорой «нефтяной жемчужины». Я подсчитал однажды, что в часы «пик» здесь за час проходит больше машин, чем на самой напряженной магистрали Омска. Только ночью поток этот уменьшался. И первым постановлением комсомольского штаба было проведение операции «Белые ночи».

Ребята решили перекрывать движение на жизненной артерии Самотлора не днем, а лишь в ночные часы. Но дать согласие работать по ночному графику могли лишь люди, понимающие необходимость такого шага, пренебрегающие собственными удобствами ради дела, которому посвятили себя. Как тут не вспомнить фильм «Кто, если не ты...»!

...Сейчас операция «Белые ночи» возобновляется каждое лето.

Хорошо помню день, когда я сдавал экзамен за пятый курс института (в Тюменский инженерно-строительный институт я поступил на заочное отделение сразу же после окончания техникума). С большим трудом удалось уговорить преподавателя принять экзамен раньше положенного срока.

В билете был вопрос о новейших типах дорожного основания. Не знаю, что побудило меня, перечисляя распространенные виды материалов, идущих в насыпь, назвать торф. Преподаватель, видимо, удовлетворенный характеристиками остальных материалов, тут же поправил меня:

— Вы, вероятно, оговорились. Я не спрашивал о материалах, которые удаляют из насыпи. Торф — всегда инородное тело в дороге. Это же азбука.

Мне надо было согласиться. В учебниках торф рассматривался именно как нежелательный для дороги компонент. Но вместо этого я сказал упрямю:

— Любой материал может стать основой насыпи... Дело в том, какими инженерными методами на него воздействовать!

Выторфовка — то есть удаление торфа — классическая операция дорожников, распространенный инженерный прием. Еще год назад у меня и в мыслях не было зачислять текучий, зыбкий торф, составляющий основу самотлорских болот, в почетный разряд строительных материалов. Но внешний экзамен я сдавал после совещания в тресте, где пришлось отстаивать новый взгляд на торф. Я почувствовал необходимость поделиться тем, что занимало всех руководителей нашего управления. Начинать пришлось издалека, но преподаватель ничем не высказал своего нетерпения, наоборот, слушал, как мне показалось, с интересом. Я говорил о том, что самотлорское кольцо долгое время было главным объектом ударной стройки. Но вот кольцо замкнулось, озеро взяло в бетонную оправу. Это не означало, однако, что все проблемы решены. Сама акватория озера оставалась нетронутой. А между тем именно

под ней, по всей площади, скрыта нефть. Как показали геологоразведчики, одна озерная скважина должна давать нефти столько же, сколько пять скважин на периферии месторождения. Как взять близкую, но недоступную пока нефть? Строить эстакады, подобные тем, что есть на Нефтяных Камнях в Баку? А может, проще осушить озеро, спустив его воды по каналу в таежную реку Вах? Или вести бурение с барж-катамаранов? Ни один из этих подсказанных опытом других районов проектов не отвечал главной задаче: извлечь нефть быстро, с наименьшими затратами. Неглубокое, окруженное болотами озеро требовало принципиально новых инженерных решений.

Мы решили сделать так: создать посреди озера архипелаг искусственных островов, связанных между собою сетью дорог, способных пропустить автопоезда с блоками нефтяного оборудования. Требовалось только найти решение этой замысловатой задачи. Мы, в который раз, должны были доказать, что три «кита» без нас, дорожников, бессильны. В те дни контора управления немного напоминала... патентное бюро. Очередная разрядка заканчивалась обсуждением вопроса, как приступить к строительству озерных дорог. В учебниках по научной организации управления не раз читал я о так называемых «мозговых атаках» как о средстве коллективного решения проблемы. Нечто подобное происходило и у нас. Каждый день рождал новые, иногда довольно неожиданные предложения. Никто из авторов не обижался, если его идею отвергали. Не помню, кто первый вынес на рассмотрение идею плавающей торфяной насыпи, назвав торф не врагом, а основой будущей дороги. Мне только кажется, что на идею эту никто бы внимания не обратил, если бы старший прораб Виктор Арсеньевич Ковтуняк не сказал:

— Во всяком случае, нам не придется жаловаться на недостаток материала. Не покусился господь бог на торфяники в этом краю...

Так было замечено, а затем всесторонне взвешено поначалу казавшееся утопическим предложение сделать торф орудием в борьбе с озером. Так возникли термины «плавающая насыпь», «плавающее основание».

...В разгар зимы по Сомотлору ходили поливальные машины, разбрызгивая воду, словно готовили огромный каток. Тщательно проморозив один слой, снова возили торф, повторяя последовательность. Многослойная конструкция, похожая на вафельный торт, не должна была растаять летом.

В день, когда я пришел сдавать экзамен, «ледовое строительство» только начиналось. Доказать свою правоту мне предстояло на деле. И надо же: случилось так, что мой экзаменатор через год прилетел на Сомотлор с группой научных работников. Когда самолет заходил на посадку, в иллюминаторы они увидели Сомотлор, весь изрезанный зигзагами белесых молний — это и была сеть озерных дорог, построенных без выемки грунта, на торфяе. Каждый зигзаг заканчивался островком, на котором виднелись столбики буровых вышек. По всем направлениям двигались машины.

— Придется зачистить вам этот предмет, — сказал преподаватель.

Сомотлор осваивается так бурно, что ему нет аналогов в практике строительства. Для любого руководителя это означает прежде всего подтягивать себя до уровня, достигнутого производством, и определять свой стиль в соответствии с новыми требованиями. Чаще, чем где-либо, у нас приходится вырабатывать новый подход к делу, отказываться от вчерашних представлений. Это закономерный процесс. До сих

пор помню, как один из молодых инженеров предлагал расшифровать загадочное слово древних ханты «Сомотлор». «Надо говорить не Сомотлор, а Сомотвор», — убежденно говорил он. И пояснял: это означает сокращенно — «Сами себя творим». Что ж, доказательно не такое уж наивное!

Расскажу в этой связи о себе, о своем неожиданном назначении. Однажды секретарь сообщил, что меня срочно разыскивает начальник управления. Я этому не удивился. В последнее время я стал замечать более ревностный и строгий контроль со стороны Шереметьева за всеми моими действиями. Чаще, чем обычно, бывал начальник управления на объектах нашего участка, примечал все, что ускользало от меня.

— Я пригласил тебя, Володя, чтобы сообщить неприятное известие. — Мне показалось, что Шереметев поморщился, произнося эту фразу. — Я был в тресте и официально уведомлен, что тебя хотят назначить главным инженером вновь организованного управления в Тобольске.

Я о готовящемся назначении знал. Несколько дней назад мне сообщил о тобольском варианте один из работников треста. Но я не думал, что это произойдет так скоро, сейчас, сегодня.

— Поскольку в нашем управлении возникнут кадровые прорехи, прошу сообщить, кого ты можешь порекомендовать на оставляемую должность! — Голос Шереметьева был непривычно сух. Он говорил о моем переводе как вопреки решенному.

— Юрий Григорьевич! — сказал я, чувствуя, что пауза затягивается. — Я не могу принять этого предложения! Решительно не могу!

— Отчего же?

Мой монолог был достаточно сбивчивым и путанным, но начальник управления слушал внимательно. Я утверждал, что нашел себя именно на должности начальника участка. На посту командира среднего звена я чувствую себя уверенно и спокойно, если, конечно, можно всерьез говорить о спокойствии на Сомотлоре.

— Мой кабинет — кабина, — бросил я последний аргумент.

Мне действительно не хотелось покидать Сомотлор! Я был счастлив, что получил направление именно на эту стройку, что мое становление по времени совпало со становлением главного нефтепромысла страны. Шутка Шереметьева о трех «китах», которые разместились на наших дорогах, стала для меня моделью мира большой нефти, мира, в котором я чувствовал себя одним из тех, кто держит Сомотлор!

Но всего этого я Шереметьеву сказать не мог. Не мог потому, что сомотлорский период моей биографии был тесно связан с этим седым, голубоглазым человеком, беспощадным и щедрым, насмешливым и зорким. Признание в своей привязанности к Сомотлору невольно влекло и другое признание.

Но оказалось, я все же плохо знал своего учителя.

— Кабинет — кабина? — медленно повторил мою лихую фразу Юрий Григорьевич. — Я вижу, ты боишься своего назначения. Да, да, боишься, — жестко повторил он. — И я тебе докажу. Разве может современный инженер заявлять, что работа руководителя скучна, не отвечает, видишь ли, его духовной конституции, да еще и гордиться этим? Разве должен он умиляться черновой работой, перевозить ее до небес, противопоставляя организаторскому труду? С руки ли считать себя «рыцарем кабины»? Не предпочел ли ты легкий путь прямого оперативного вмешательства в выработку стратегических направлений? Стоило ли тогда заканчивать институт?

Я молчал.

— Не торопись с отказом, — сказал Шереметев. — Хорошенько обомзгуй все...

Он переложил в сторону какую-то бумажку из кнй лежащих перед ним документов. Я никак не мог предположить тогда, что это был проект приказа о назначении Лейтланда В. Г. исполняющим обязанности главного инженера в нашем управлении — СУ-909!

Владимир Лавринов был самым близким моим товарищем по курсу еще в автодорожном техникуме. Вместе поехали на практику, строили дорогу в горах. Вместе хотели работать и после техникума. Но разминулись. Лавринов взял круто на юг, я распределился на Самотлор.

Вскоре я узнал, что Владимир стал начальником штаба Всесоюзной ударной стройки на Омском нефтеперерабатывающем комбинате. Я порадовался за друга. «Должность словно создана для него», — думал я. И вот неожиданная телеграмма от Лавринова: «Встречай, прилетаю на Самотлор с туристской группой». Потом Владимир признался мне, что собрался на Самотлор не только из туристского любопытства, прежде всего ему хотелось увидеть меня.

Как, должно быть, отличалось восприятие Самотлора у Лавринова от моих первых впечатлений! Он прилетел на реактивном лайнере в новый аэропорт, которого восемь лет назад не было и в помине. Мы ехали по современному городу, застроенному многэтажными домами.

В этот день мы надолго задержались в небольшом здании системы автоматизации и промысловой телемеханики Самотлора (ПАТ-нефтяник, как называют ее).

В прохладную, тихую комнату, где разместились оборудование системы, стекаются сведения, полученные с помощью автоматики на каждой действующей скважине. Девушка, сидящая за небольшим пультом, на котором перемигиваются зеленые лампочки, принадлежала к «самым информированным кругам» Самотлора. Владимир долго говорил с Тамарой Ильенко, и по его вопросам я понял, что он достаточно осведомлен об этой новейшей системе. И когда в конце экскурсии я привез Лавринова в помещение нашего участка, первое, на что обратил внимание Владимир, — это на отсутствие связи с базой. Мне стало обидно. Вот уже битый час я говорил Лавринову о своих ребятах, энтузиазме, присущем дорожникам, приехавшим на Самотлор по комсомольским путевкам. Неужели это не может возместить отсутствия ради? Так ли уж это важно?

И вот здесь Лавринов сказал:

— Думаешь, я придираюсь? Бросилась в глаза мелочь, а главного не усмотрел? Никто не отнимает у вас всего, что сделано за такой короткий срок. Но пойми, оптимизм в наше время должен сочетаться с оптимальностью. Так же вот, как у нефтяников: комплексная система сбора первичной информации, научная организация управления.

И Лавринов сообщил, что решил продолжать свое образование: поступил на факультет организации управления в Омском автодорожном институте.

Впервые я услышал, как рядом ставят два понятия: «оптимизм» и «оптимальность». Перемены, которые я обнаружил в своем товарище, еще раз доказали правоту Шереметьева: энтузиазм и экономический расчет не исключают — скорее, дополняют друг друга. И еще одно понял я. Время меняет не только начинающих руководителей. Оно вносит свои коррективы и во вполне сформировавшиеся стили и методы. Вот почему изменился Шереметьев. Этот страстно верящий в энтузиазм молодежи седой человек сумел увидеть то, о чем говорил Лавринов, то, что долго укрывалось от меня.

Нужно было и мне делать переоценку ценностей. Я знал, что мне потребуется помощник по организации производства, человек, влюбленный в свое дело. И неожиданно для Лавринова я предложил ему остаться на Самотлоре. Владимир согласился.

Сейчас Лавринов — мой заместитель по производству. Сделано немало. Проведена машинизация бухгалтерского учета и полная диспетчеризация управления. Необходимой оргтехникой оснащены все кабинеты. Смонтировали установку промышленного телевидения, которая позволяет держать под контролем все вспомогательные цехи. Появились и микрокалькуляторы, постоянная радиосвязь со всеми участками, портативные интегральные машины. Заключены договоры по внедрению системы АСУ с сибирским автодорожным институтом. Это долговременная, рассчитанная на всю десятую пятилетку работа. Как аспирант-заочник Омского института, я занят обобщением всех показателей, сведением их в систему. Эта работа проводится без отрыва от производства. Напротив, именно благодаря ему!

Деловитость, деловой стиль, рационализм — сейчас эти качества мы воспитываем в себе так же, как раньше воспитывали рабочий оптимизм, который так помогал нам в годы становления Самотлора. Я помню день, когда Шереметьев, Лавринов и я собрались вместе, чтобы опробовать установку промышленного телевидения. Юрий Григорьевич подошел к приемнику, включил его, и на экране появились наши ремонтно-механические мастерские. Сварщик в защитной маске водил электродом, оставляя дорожку медленно остывающего шва. Наконец сварщик откинул щиток, и мы увидели скуластое лицо Петра Дорина.

Юрий Григорьевич вдруг спросил нас:

— А нельзя ли, молодые люди, предусмотреть еще один канал для того, чтобы подключить к установке наш клуб?

В принципе это было не очень сложной технической проблемой, мы просто не думали об этом. А Шереметьев подумал. Мы знали, как по-детски влюблен Юрий Григорьевич в нашу самостоятельность, как готов бесцельное количество раз слушать того же Петра Дорина, когда тот исполняет марш самотлорских дорожников. И мы знали, как часто посещение таких концертов у него срывается по различным производственным обстоятельствам. Да и у многих строителей так бывает.

В предложении Шереметьева увидел я и другое. Он, учивший нас рационализму, сам не мог быть только рационалистом, сугубо деловым человеком. Эти качества он считал важными, но не определяющими. Со времен комсомольской юности он отдавал свои симпатии прежде всего увлеченности, бескорыстности, отсутствию страха перед трудностями. Самотлор сплавил воедино, казалось бы, две несоместимые вещи. В спектре характера современного строителя прекрасно уживаются эти две полярные черты: рационализм и романтика...

Клуб мы все же подключили...

Выходя из кинозала после просмотра фильма «Кто, если не ты...», я думал о своих товарищах, о том, кому предстоит «держат» Самотлор еще долгие годы. Эти записки можно рассматривать и как попытку взглянуть на проблему «изнутри». Самотлор — моя жизнь. Кто расскажет о ней? «Кто, если не ты...»?

Рассказ В. ЛЕЙТЛАНДА
записал А. ШВИРИКАС.

Дорога построена... А как эксплуатируется?



Добрый день, уважаемые товарищи! Десять лет ваш журнал шефствует над строительством железной дороги Тюмень — Сургут. Все, кто принимал и принимает участие в преобразении Тюменского края, кто следил, как километр за километром уходят на север стальные нити рельсов, знают, как близка «Юности» эта магистраль.

Сейчас, когда в Сургут поступили и продолжают поступать грузы, можно по-настоящему оценить трудовой подвиг (не боюсь этого слова) строителей железной дороги и совсем не «шефское», а по-деловому конкретное участие «Юности» в этом строительстве.

Я работаю в г. Сургуте заместителем управляющего трестом Запсибэлектросетейстрой. Наш трест строит высоковольтные линии электропередачи. Это тоже непросто. В тресте я занимаюсь материальным обеспечением наших объектов, и поэтому вы должны понять мое особое отношение к железной дороге. А если учесть, что в прошлом году по ней нам доставлено около 100 тысяч тонн грузов, которые в прежние времена должны были ждать начала навигации в различных речных портах, то трудно найти меру, чтобы измерить значение этой магистрали.

Сегодня строители-транспортники спешат дальше на север, на Уренгой.

Но давайте на миг остановимся. Оглянемся. Не будем брать пока в счет количество перевозимых по дороге грузов. Можно возить и больше, но это — наше внутреннее дело.

Уже почти год из Тюмени в Сургут и обратно приезжает ежедневно по железной дороге около 500 пассажиров. Теперь в Сургут уже можно не только самолетом долететь. И люди с предвкушением удовольствия садятся в вагон пассажирского поезда, чтобы совершить это двадцатичасовое путешествие. Едут старожилы-тюменцы, едут те, кого давно позвала тюменская нефть, — обветренные морозами геологи, нефтяники, строители. Едут и люди, для которых знакомство с тюменской землей только и начинается с пассажирского поезда Тюмень — Сургут.

Я тоже несколько раз ездил в этом поезде. И каждый раз, выходя из него в Тюмени или в Сургуте, становилось как-то не по себе от глубокого несоответствия между тем, как строили дорогу и как ее эксплуатируют.

Убогие, грязные, с выбитыми стеклами вагоны, изломанные замки дверей, замызганные окна. Двадцать часов в пути без буфета, почти без света и воды. Поезда обслуживают неквалифицированные, не знающие своих обязанностей проводники, вагоны не отапливаются.

По новой дороге, на которую истрачено столько средств и человеческой энергии, идут старые, собранные из подлежащих списанию вагонов «пассажирские поезда». Чувство большого разочарования и досады вызывает эта поездка. Разве таких поездов заслужила рожденная в тяжелейших условиях дорога?

Разве не достойны создатели ее ездить в комфортабельных вагонах?

Конец дело красит. Построить дорогу — это половина дела. Большая работа требует достойного завершения. И, думается, было бы символично, если сквозь разбуженную тайгу и болота, как ответ на мужество покорителей тюменского меридиана, поплывет алый фирменный поезд с кратким и емким названием. Скажем — «Юность».

Почему пишу именно в «Юность»? По вполне понятным причинам. Тюмень — Сургут — это дорога юных.

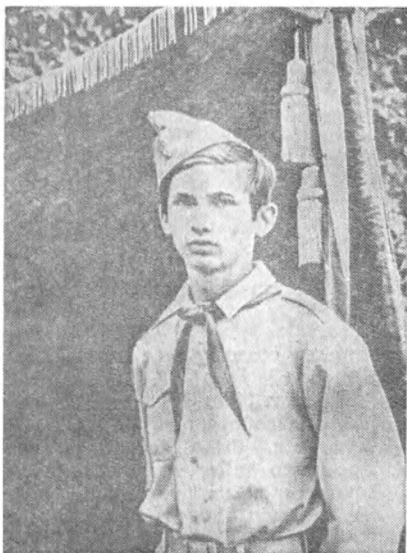
С уважением

Б. ЛОГВИНСКИЙ,
заместитель управляющего трестом
Запсибэлектросетейстрой.

☆☆☆

Получив этот острый сигнал, наши корреспонденты побывали в Тюменской области и пассажирским поездом № 124 проехали по дороге-новостройке до Сургута. Факты, изложенные в письме Бориса Логвинского, полностью подтвердились: обслуживание пассажиров на участке от Тюмени до Сургута поставлено из рук вон плохо. Мы познакомились с письмом Б. Логвинского начальника главного управления вагонного хозяйства МПС СССР А. В. Шовского. Вот его комментарий к письму из Сургута.

«Действительно, до последнего времени по участкам новостройки Тюмень — Сургут ходили плохо оборудованные, мало приспособленные для северных условий, вагоны. Сейчас начальник вагонной службы Свердловского отделения дороги тов. Челышев получил указание в кратчайшие сроки заменить вагонный парк и укомплектовать маршруты на линии Тюмень — Сургут бригадами опытных проводников. Уверен, что у строителей, нефтяников, газовиков Тюменской области больше не будет нареканий в адрес железнодорожников».



ВАЛЕРИЙ ЦЕЛЁРА: «РАБОТАЮ СЛЕСАРЕМ»

*В третьем номере
нашего журнала
было опубликовано
письмо Наташи Крамаренко
«Сбор десять лет спустя».
Наташа рассказала
о ребятах-артековцах,
которые десять лет назад
на сборе у костра
написали своеобразное
«письмо в будущее» —
каждый поделился
своими мечтами,
планами, надеждами.
Ребята, следуя
романтической традиции,
зарыли свои записки
под артековским кипарисом.
Как сложилась судьба ребят?
Кем они стали?
Оправдались ли их мечты
и ожидания?
Первым на письмо Наташи
откликнулся Валерий Целёра —
слесарь из Киева.*

Я долго думал, прежде чем решился откликнуться на письмо Наташи Крамаренко. Нет, я уверен, что ребята меня не забыли. Дело в другом... Есть ли у меня, что сказать им? Интересна ли будет им моя жизнь? Ведь, в общем-то, за десять лет со времени нашего сбора в Артеке ничего примечательного со мной не произошло. Подвигов я не совершал, никаких выдающихся дел за мной не значится... Работаю слесарем механосборки на опытном производстве Киевского научно-исследовательского института механики АН УССР. Разряд у меня, правда, высший — шестой, ну да на нашем производстве много таких слесарей...

И все-таки я решил написать...

У меня дома до сих пор хранится артековская форма — та самая, которую нам выдали тринадцатого июля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, когда мы — ребята разных национальностей, из разных городов и республик — приехали в Артек на Всесоюзный слет пионеров. Нам всем — мальчишкам и девочкам — выдали совершенно одинаковую форму: шорты, рубашка цвета хаки, пионерский галстук... Но, странное дело, форма эта нас не обезличивала, как можно было ожидать, не делала нас всех на одно лицо. Каждый из нас был тем, что он собою на самом деле представлял, и не важно было, из города ты или из деревни, красивая у тебя рубашка, модное ли платье или так себе, — ценилось другое. Артек был для нас экзаменом на искренность, на умение жить в коллективе — и все мы его выдержали.

Еще до приезда в Артек у меня был солидный (если это слово применимо к шестнадцатилетнему парню) опыт пионерской работы. Я был комиссаром Киевского городского пионерского штаба, на всех пионерских парадах носил знамя. Девятнадцатого мая 1966 года, в день рождения пионерской организации, на параде пронес знамя по Красной площади в Москве. В том же году ездил в Чехословакию по обмену между городскими пионерскими штабами социалистических стран. В лагере «Горный», в нашей дружине «Алмазной» я был одним из самых старших делегатов слета. Мне было шестнадцать, я перешел в десятый класс...

Для того чтобы понять, что такое Артек, надо постараться побывать там в детстве. Артек поражает не столько морем, которое плещется у самых домов, и кипарисами, и разнообразными увеселениями (каждый день новыми), сколько отношениями с окружающими тебя ребятами, которые устанавливают как бы сами собой, без всяких с твоей стороны усилий. Сейчас, когда я слышу или читаю про «новые отношения в коммунистическом обществе», я всегда вспоминаю Артек. Хотя, может, это и наивно. Вспоминаю ребят — делегатов Всесоюзного слета: Лио Прокудину — начальника городского пионерского штаба Ростова-на-Дону, Сашу Воронкова — застенчивого сельского паренька (он собрал тонну металлолома один и был очень удивлен, когда узнал, что его избрали делегатом на этот слет). Я вспоминаю девочку из Узбекистана Матлюбу. На «вечере мечты», когда мы сидели на берегу моря и говорили о будущем — о том, кто кем станет, о том, как мы встретимся через десять лет на Красной площади около памятника Минину и Пожарскому, она сказала: «...Это так не скоро. Но я думаю, к этому времени у меня еще будет мало детей и я сумею приехать...». «А сколько будет?» — спросил кто-то. «Ну...

Валерий Целёра — делегат III Всесоюзного слета пионеров в Артеке, 1967 г.

пять, наверное... — ответила Матлюба. — А что вы думаете, нас в семье одиннадцать!»

Как самозабвенно, как искренне мы дружили! Я вспоминаю два белых ватмана на стене. Надпись на одном: «Что тебе нравится в Артеке?», на другом: «Что тебе не нравится?» Это была наша «анкета». Писали не таясь, кто что думал. Помню, кто-то написал: «Все хорошо, только мало купаемся!» Мы, активисты, ответили: «Ты приехал сюда заниматься пионерской работой, набираться опыта, а вовсе не купаться!» Вот какие серьезные мы были... И в то же время смешные... Я был одним из самых старших, мне часто приходилось организовывать различные мероприятия. Помню, так увлекся, так закрутился с этим вечером «Твоя мечта», когда мы зарывали под кипарис бутылку с записками, что сам я забыл, что мне тоже надо опустить записку. Но, к счастью, кто-то про меня вспомнил, и моя записка упала в бутылку самой последней...

Пионервожатые и преподаватели мне тогда говорили: «У тебя прямо дар работать с детьми. Тебе надо поступать в педагогический». Я и сам видел свое будущее в этом. Читал Макаренку, Ушинского. Любимым поэтом был тогда Маяковский, а любимым писателем — Гайдар. После окончания школы я поступал в Киевский университет на филфак — хотел изучать русскую литературу. Не получилось. Не набрал нужные баллы... Этим же летом я поехал в Симферополь к Жене Главацкому, моему артековскому товарищу. Мы с ним побывали в лагере. Все так же, только в Артеке совсем другие ребята... Постояли на месте, где зарыли бутылку. Грустно мне тогда было. Первые неудачи воспринимаются особенно тяжело...

Я пошел работать на опытное производство в академический институт сверхтвердых материалов — в отдел технического контроля. Попутно продолжал оставаться почетным комиссаром городского пионерского штаба. Ездил в штаб каждое воскресенье.

Проработал в ОТК около года, пришло время идти служить в армии...

Был старшим сержантом, командиром взвода. В подчинении у меня десятки людей. Армия — это, конечно, не пионерский штаб, но опыт общения с людьми мне там пригодился. Не будь за плечами всех этих лет моего «комиссарства», было бы мне в армии значительно труднее. Другие сержанты, тоже командиры взводов, часто спрашивали: «Как тебе удастся и дисциплину держать и с подчиненными в конфликты не вступать?» А я и сам толком не знал, как мне это удастся. Наверное, надо быть чуточку терпеливее, чуточку внимательнее к людям, искренне стараться их понять — и это даст свои результаты.

Я никогда не забуду, как ко мне в часть однажды приехали ребята из Киевского пионерского штаба! Я тогда даже чуть не заплакал... Ребята были на экскурсии в Москве и — надо же — не забыли своего бывшего комиссара. Отыскали часть и приехали на электричке! Тогда я подумал, что неудачи — дело житейское; подумаешь, не поступил, главное, что у тебя есть настоящие друзья, которые тебя помнят и любят, а это в конце концов не так уж мало! Ребята говорили, что ждут не дождутся, когда я вернусь в штаб. «Какой штаб? — разводил я руками. — Я старый для этого...»

Мне было двадцать лет...

После армии я вернулся на прежнюю работу в институт сверхтвердых материалов, только стал уже слесарем. Начиная с самых элементарных вещей, постепенно выходил на разряды. Помогали мне все, кто рядом работал. Я ведь никакого ПТУ не кончал, приходилось специальность «на ходу» осваивать. И осваивал. А что делать, отставать-то от других не



Валерий
Целера
с дочкой.
1977 г.

хочется! Подал заявление в партию. Поступил на подготовительное отделение в университет. На этот раз на философский факультет. Ездить туда было тяжело. После работы полтора часа до университета, полтора обратно. Вот и получалось, что почти три часа ежедневно я тратил на дорогу.

Постепенно стал входить во вкус своей слесарной работы. Мы изготавливали алмазные пилы для обработки камней. Через год меня избрали в партбюро участка и в партком института. Я отвечал за работу с молодежью...

Знаю, обо мне порой говорят — «не вышел в люди...». По-моему, ничего не может быть глупее этой формулировки. Ведь если бы все поступали в университеты, кто бы тогда у станков стоял? И все-таки я до сих пор не оставил мысли учиться. Хотя сейчас это будет куда сложнее: жена, ребенок! Я сам чувствую незавершенность своего образования, не удовлетворен уровнем собственных знаний. Я хочу учиться! Хочу получить серьезное гуманитарное образование. «А не поздно ли переучиваться? — как-то меня спросили. — Все-таки ты слесарь высшего разряда...» Я начал объяснять, что вовсе не собираюсь переучиваться и бросать профессию слесаря. Так и буду я работать слесарем, но учиться мне необходимо. Потому что только тогда наступит в жизни моей (не побоюсь этого слова) гармония!

Работа у меня сейчас очень интересная, главным образом потому, что нет в ней однообразия. Берешь у конструктора чертежи — знаешь, что эту машину еще никто до тебя не изготавливал. Ты первый! Приходилось работать и над лазерным отражателем, и над сложнейшим зеркалом, и над машинами для испытания образцов материалов на изгиб, на сжатие, на кручение. Сейчас, например, делаем вакуумный стол. Я ведь не только слесарь, смежная специальность у меня заточник. Иногда мне говорят: чего, мол, застрял на этом опытном производстве? Иди на большой завод, будешь втрое больше получать! Да, буду, не спорю. Но в нынешней моей работе я больше всего ценю элемент творчества. Потому что конструктор приносит тебе только чертежи. Как изготовить деталь, каким инструментом, как это сделать лучше и эффективнее — решаешь ты сам. Иногда вдруг совершенно неожиданную вещь придумаю-

ешь — бежишь к инженерам, к конструкторам. Вместе думаем...

Вообще у нас на опытном производстве работают люди, которые, так же как и я, превыше всего ценят в работе элемент самостоятельности, творчества. Василий Черных, например, — мы пришли с ним сюда в один день, — фрезеровщик. Он иногда даже опытным конструкторам оригинальные решения подсказывает. Очень образованный человек. О литературе, искусстве может говорить часами. Завзятый театрал. И при этом свою профессию досконально знает! Вот он понимает и поддерживает мое стремление учиться. «Двадцать семь лет, — говорит, — не такой возраст, чтобы останавливаться...»

Но двадцать семь лет такой возраст, когда вдруг с удивлением обнаруживаешь, что ты не такой уж и молодой, что полным-полно ребят на заводе, которые моложе тебя... И все равно я был очень удивлен, когда меня недавно избрали председателем совета наставников. Три человека входят в этот совет: опытейший токарь Николай Иваненко, фрезеровщик Альфред Рубацов — тоже старше меня — и я. «Ничего, — мне сказали, — у тебя дело пойдет...» И действительно, пошло! Недавно я подготовил своего первого подопечного Петю Толпекина на слесаря второго разряда. А пареньку еще шестнадцати нет! Кто же я для него, как не старший товарищ и наставник?

Прошлым летом ездил с бригадой строителей на БАМ. Месяц проработал на Байкале. Время быстро идет, работаешь на своем заводе, а люди магистрали, нефтепроводы строят — в газетах о них пишут, по радио говорят. Интересно мне стало, я и поехал. За месяц, конечно, трудно во все тонкости вникнуть, но мне на БАМе понравилось. Там работают толковые искренние ребята. Недавно прислали письмо, не хочу ли со всей семьей в их края податься. Я еще сам не решил...

Вот, пожалуй, мой «портрет» на сегодняшний день. Более или менее подробное описание десяти лет, прошедших со времени Всесоюзного слета в Артеке. Но я хочу сказать еще одно: всегда, когда мне не везло, когда мне становилось трудно, когда жизнь, как говорят моряки, «давала крен», — всегда на помощь мне приходили воспоминания об Артеке. Да, мы были, в сущности, детьми, да, жизнь оказалась гораздо сложнее, чем мы думали, да, далеко не все мечты сбываются, но все равно Артек остается для меня синонимом дружбы, счастья и веры в будущее.

Тогда, десять лет назад, я опустил в бутылку записку такого содержания: «Хочу со всеми вами встретиться, как договорились».

Я и сейчас этого хочу!

г. Киев.

☆☆☆

Публикуя письмо Валерия Целёры, редакция надеется, что остальные участники сбора откликнутся на его призыв и рассказ о судьбах бывших артековцев будет продолжен в следующих номерах журнала.



ВЛАДИМИР КАЛИНИЧЕНКО

Народный артист

Певец у нас на шахте выступал.
Во фраке,
в лакированных тиблетях
и пел он знаменитые куплеты
про род людской,
что гибнет за металл.

А после — песни.
Тихие. Простые...
Почудилось, что к нам
на шахтный двор
сошлись березы
изо всей России
и повели с ветрами разговор...

Эх, как он пел!
Народный — сразу видно.
И, говорят, что из шахтеров.
Свой.
Окончился концерт,
и тут он выдал:
мол, так и так,
желаю к вам в забой.

Ну нам, конечно,
тоже интересно, —
уж в шахте никого не проведешь:
ты, скажем,
мастер петь на сцене песни,
а что ты после лавы запоешь!

Спустились.
Он берет спокойно стойку
и крепит по науке — хоть учись.
Работает без суеты и с толком,
как будто уголек рубил всю жизнь.

Артист довел «упряжку» до конца.
И с той поры
мы вроде бы прозрели:
рабочий корень важен в каждом деле,
а без него —
ни песни, ни певца!



АНДРЕЙ БОГОСЛОВСКИЙ

Ощущение весны

Когда весна,
то все теряет свою меру.
Мне дороже мальчик с мячиком,
чем контрольная, что не сдана.
Мне хочется петь песни,
расцеловаться с милиционером,
И в этом, как я подозреваю,
не моя вина.
Я люблю этот ветер
с черной реки маслянистой,
А листва еще пылью не съедена,
гарью не сожжена.
Мне дороже книжных цитат
первые велосипедисты,
И в этом, как я подозреваю,
не моя вина.
Гроыхает железо крыш
от дождей новых, спесивых,
А закаты розовы и нежны,
как ветчина!
Мне дороже телевизионных программ
сотни девушек, таких красивых! —
И в этом виновата
сиренью пахнущая весна!

☆☆☆

Привет тебе, нежнейший первый снег!
Я так привык по серому асфальту
Ходить. а тут, струя искристый свет,
Белеет под ногами снег,
как свадьбу
С бездонным небом празднует земля.
Она невеста, в белое одета,
И, как во фраке черном, стынет небо,
Звездами от волненья шевеля.
А город спит. Ему так сладко спится.
Жемчужный свет от улицы идет.
Заиндевели брови и ресницы,
И клубы пара выдыхает рот
В холодный воздух.
Что ж, благослови
Меня, прозрачный и морозный вечер,
Чтоб первый снег ушел со мною в вечность.
Как первый взгляд нечаянной любви.
Пусть будет так. Предчувствия беды
Я не боюсь, и в том я не раскаюсь.
Я просто прохожу и растворяюсь
За новым снегом, путая следы.

☆☆☆

Комната сонная-сонная,
Полная тихих теней.
Днем и трудом утомленная
Спит моя бабушка в ней.
Снится ей молодость вешняя,
Разных времен маета.
Снится ей жизнь небезгрешная,
Та, что почти прожита.
Под одеялом маленькая,
С детским дыханьем булькающим,
Спит моя бабушка старенькая,
Но для меня она — будущее!
Кто меня честно вырастил,
Кто мне навек привил
Жажду к стихам и вымыслам —
Чем я живу и жил...
Милая моя, славная,
Вот на стене они, тут,
Грамоты,
грамоты,
грамоты

За твой общественный труд.
Спят на столе твои спицы,
Спит все твоё жильё...
Пусть тебе сладко спится —
Я — продолженье твоё.

Круг

Ты подарила мне любовь...
Какая трепетная строчка!
Но у тебя была свекровь,
И муж, и маленькая дочка.
И были все твои миры
С моими несоединимы,
И мы ходили на пиры
Печально дики и ранимы.
Когда я оставался вдруг
Один в пустой-пустой квартире,
Мне так казалось: замкнут круг —
Мы неразлучны в этом мире.
Но ты звонила мне, и вот
Летели смутно-отчужденно
Слова, как в мусоропровод,
В кривую трубку телефона.
Но было вновь касанье рук,
И фразы, льющиеся льстиво...
И был не замкнут этот круг.
И был он замкнут.
Что за диво!

Стихи о встречах

Где-то посреди света,
Где-то среди печали,
Суетно и бессмертно
Мы друг друга встречали.
Было полуйскусство,
Было полуначало.
Чудилось, было чувство —
Высветилось — пропало...
Пусть не проходит это
В ярких потоках света:
Вот появится лето..
Вот появится лето...



**СТЕЛЛА
ИЛЬИЧЕВА**

СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ СПОРИТ...

*Прошло немногим
более двадцати лет с тех пор,
как на страницах газет, журналов,
а затем в отдельных книгах
появились произведения
Сергея Чекмарева.
Его стихи, письма, отрывки
из дневников получили горячий отклик
в сердцах наших читателей.
Его полюбили
за искренность стихотворений,
за благородство помыслов
и поступков, за постоянную готовность
к подвигу.
Решением Бюро ЦК ВЛКСМ
в 1976 году Сергей Чекмарев
посмертно награжден премией
Ленинского комсомола.
Мы публикуем в этом номере
очерк С. Ильичевой —
первого биографа С. Чекмарева,
которая более двадцати лет
работает над изучением жизни
и творчества поэта.*

Творческая биография поэта часто придает негромким географическим названиям не только широкую известность, но и особый смысл, особое значение. Как бы освещенные изнутри светом таланта незаурядной личности, они, эти названия, приобретают вторую жизнь — долгую и дорогую всем нам.

Станция Карталы, село Ибряево, деревня Беззубово — эти затерявшиеся на обширной карте нашей страны «населенные пункты» тесно связаны с жизнью и творчеством Сергея Чекмарева.

Карталы — узловая станция на железнодорожной магистрали Москва — Магнитогорск — важная веха на его жизненном пути. С башкирским селом Ибряево связаны лучшие стихи Чекмарева, его трагическая смерть.

«Божественное Беззубово» — так называл тульское село — родину своего отца — Сергей Чекмарев. Сюда ежегодно на летние каникулы приезжала вся семья. Здесь, в старом запущенном помещичьем парке, провел он много добрых часов, узнал притягательную силу живой природы, ее поэзию и очарование. Здесь, среди столетних деревьев, возник замысел первого школьного сочинения на «вольную» тему «О чем рассказывают старые березы». Деревенские впечатления вызвали к жизни первые трогательные по своей искренности стихи:

«Красавка» и «Маруся»
Ходили у двора.
Рогатых я боюсь,
А в стадо гнать пора.

Чем-то были дороги Сергею эти совсем еще ребяческие строки. Он бережно хранил их в своей памяти. И, размышляя над истоками своего «писательства», назвал их «самое первое».

В Беззубове была написана юмористическая картинка с натуры «Викторина», в которой 16-летний Сергей воспроизвел один из парадоксов неумело организованной просветительной работы на селе. Местный священник за участие в антирелигиозной викторине получает ценный приз — самовар. Ради самовара он опровергает все то, что внушал своим прихожанам с церковной паперти, ссылаясь при этом на достижения науки и техники.

В Беззубове написано стихотворение «Губерния бывшая Тульская», где впервые в его стихах появился слав интимной лирики и высокой публицистики. Вместо идиллических описаний близкого его сердцу села возникает картина отсталости, хозяйственного запустения, нищеты бедняцких единоличных владений. «Кривые глухие избушки», «деревянные сохи», «сухая, погибшая ветка, торчащая странно» и другие увиденные и отобранные детали вызывают в нем внутренний протест. Сочувствием и возмущением, болью и гневом проникнуто это стихотворение совсем еще юного поэта. Он обращается ко всем, в ком бьется «сердце большевика», с горячим призывом вырвать из «плена тысячелетий» одну из самых отсталых в прошлом «бывшую губернию», превратить ее землю в «плодоносное чудо».

Из села Беззубово почти ежедневно шли его письма в Москву. Письма-информации, письма-отчеты о летнем пребывании всей семьи в деревне. Письма были подробные и обстоятельные (ведь они адресовались отцу — человеку деловому и практичному) и в то же время веселые и озорные, излучавшие энергию и жизнелюбие, проникнутые тем самым мироощущением, которое многие годы спустя мы назовем «чекмаревским».

«Дорогой папа. Сегодня к обычному «здравствуй!» посылаю тебе десятка два поклонов. Писать письма

никому «не хочется». Пользуясь моей безграничной кротостью и пристрастием к листу белой бумаги, все мои недалекие и отдаленные родственники поручают это мне и просят передать тебе приветы и поклоны. В своем письме ты робко намекаешь: «Хорошо бы обмолотить рожь». Но «что было сном, то стало явью!» Мелотика пропылила у нас все воскресенье. Рожь обмолочена, и теперь молотит бабку по нервам. Работаем с утра до вечера, и часто обед приходит в близкое соприкосновение с ужином. Но это нас не расстраивает, живем весело, сытно и вкусно»¹.

К веселым хлопотам деревенской жизни добавлялся выпуск рукописного журнала «Метеор», в котором сотрудничала вся семья. Кроме того, значительную часть багажа, привозимого в деревню, составляли «полные и неполные» собрания русских и иностранных писателей. Жизнь без книг, журналов, газет представлялась Сергею нереальной. Чтение было активным, действенным, вызывало творческий импульс. Впечатления о прочитанном воплощались в рецензии, критические наброски, юмористические зарисовки, в стихи. Их много и в его рукописях, и сколько начатых, незавершенных, оборванных на полуслове...

Он столь же страстно любил живое общение с людьми. Вечера поэзии, на которых чтение стихов сопровождалось горячими спорами, литературные дискуссии, где скреплялись стрелы всевозможных «измов», были для него и удовольствием и живой атмосферой. Здесь обогащался его пылкий ум, заострялось его перо, разнообразилась его поэтическая палитра.

Легко можно себе представить, что означало для него добровольное «изгнание» в глухое башкирское село, где в те времена трудно было найти не только книгу, но и человека, владеющего грамотной русской речью. И все же решение остаться в совхозе, если не навсегда, то, во всяком случае, на годы, не представляется невероятным. И это была не жертва. Работа в башкирском совхозе, в «полудиких» в те годы края стала другой его потребностью, такой же неодолимой, каким было для него несколько лет назад духовное совершенствование. «Среди снежинок шелковых, в нагромождение скал» найдет он для себя все то, что искал всю жизнь. Невидимыми узами свяжут его с этими местами и «мохнатые горы», и «бескрайние степи», и «голубые глаза телят». Полюбившаяся работа, новые значительные интересы отбрасывают привычные привязанности и увлечения, казавшиеся постоянными и незыблемыми. Но это произойдет через несколько лет, в самом конце его короткой жизни.

Время, о котором идет речь в этом рассказе, относится к более раннему периоду жизни Сергея Чекарева. Окончена школа-девятилетка — школа с профессиональным уклоном. Она давала Сергею право работать счетоводом. Но работы не было. Через год-два в разгар первой пятилетки появится большой спрос на любые профессии, в том числе и на счетоводов. Но в описываемые нами годы Сергей, заполняя графу в анкете «социальное положение», вынужден был писать: «иждивенец». С учением тоже обстояло не лучше. Три года подряд он держит экзамены в вуз и не находит своей фамилии в списке принятых. Вузов еще было мало, а желающих учиться великое множество. После третьей неудачной попытки поступить в университет Сергей приезжает в Беззубово. Конец лета, вся семья возвращается в город. В деревне остается только бабушка, которая живет здесь безвыездно. Поначалу у Сергея полно дел. «Нужно заготовить топливо, утеплить избу, окопать

деревья, починить крышу и т. п. и т. д. И все это должна сделать последняя буква алфавита», — заключает он свое письмо в Москву.

Но наступает осень. Все дела по дому переделаны. Идут проливные дожди. Нет ни книг, ни журналов. Случайно оказался комплект газет за август. «Я перечитал его от строки до строки... и теперь в октябре живу августовскими событиями». Но сколько можно жить прошлым, пусть даже и недавним?

В селе Беззубово еще не началась коллективизация. Здесь нет ни клуба, ни библиотеки, ни школы — никакого культурного общения. Сергей живет в деревне, но все его мысли в Москве. Он узнает о предстоящем выступлении Маяковского 25 октября в Большой аудитории Политехнического музея: доклад «Что делать?», чтение новой пьесы «Баня». Не быть на этом вечере — невозможная утрата. Сестрам в Москву он отправляет письмо. «Жаль, что не смогу быть на вечере. Жалею не столько о стихах, сколько о докладе. Постарайтесь попасть. Внимательно прослушайте доклад. Запишите сразу же».

Бабушка уговаривает Сережу остаться на зиму. Ей хорошо с внуком: и помощник прекрасный и собеседник, каких не сыщешь. В долгие зимние вечера она будет охотно слушать его рассказы.

Есть еще одно обстоятельство, «голосующее» за то, чтобы зимовать в деревне. В семье Чекаревых единственный кормилец — отец. Жить в Москве — значит числиться «иждивенцем». А это вызывает в Сергее внутреннее содрогание. Значит, оставаться в деревне?

Сергей в полном смятении — он не знает, на что ему решиться. И, как обычно, спасительным средством оказываются лист белой бумаги и «чаша» чернил. Они выручали в трудные минуты, спасали от острой тоски и даже отчаяния. Есть еще хороший помощник — юмор. Это все испытанные и верные друзья.

И вот рождается стихотворение, своеобразное, необычно построенное. Лирический герой представлен здесь не как целостная личность. Он как бы разведен на три составные части. Каждая из них живет своей обособленной жизнью, у каждой свои требования, свои интересы, своя логика. «Товарищ Глаза» — интеллектуал, «товарищ Руки» — рабства, для которого старый устоявшийся деревенский уклад представляется единственно правильным и надежным, «товарищ Желудок» — существо, ограниченное физиологическими потребностями. Каждый из них несет в себе какую-то свою правоту, и ни одну из них нельзя полностью принять. Из-за узости, однобокости взглядов они не могут понять друг друга. То, что дорого одному, чуждо другому...

Стихотворение задумано как шутка, но шутливая интонация где-то переходит в ироническую, раскрывая отношение девятнадцатилетнего автора к теме.

Беседа с товарищами Чекарева, знакомая с его неопубликованными записями, в которых чувствуется еще не остывший пыл принципиального спора, я не раз обнаруживала его стремление противопоставить широту взгляда субъективной ограниченности. Не всегда в таком столкновении сил ему удавалось одержать победу. Но это уже другая сторона вопроса. Важно то, что однобокость мышления была ему чужда, противопоказана. И он восстает против нее теми средствами, которыми располагает. В свете обстоятельств, вызвавших к жизни эти стихи, они, как и многие другие, автобиографичны. Но и здесь способность создавать обобщенные образы выводит замысел из сферы интимной в сферу общественно значимую. И факт личной биографии поэта становится фактом литературным.

¹ Публикуется впервые.

Вот это стихотворение (публикуется впервые). Оно начинается с прозаической фразы, которая как бы дает понять, что, открывая «собрание», его «председатель» изложил все обстоятельства обсуждаемого вопроса.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Председатель тихим голосом говорит, заканчивая речь:

...Оставаться ли здесь
на осеннее время?

Ехать ли в понедельник?
Итак, товарищи, жду выступлений,
Но только серьезных и дельных.
В первую очередь слово «за»
Имеет товарищ Глаза...

Товарищ Глаза поднялся,
Надел очки иначе,
Оглядев голов бушевавшую кашу,
и начал:

— Господа!

Я люблю ходить в кино,
Чувствовать ветер времени.
Неужели же мне навек суждено
Оставаться в этой деревне?
Я разные книги люблю читать,
Особенно за обедом.
Я, может быть, странен, может, чужак.
Но книга, которая начата...
Да что говорить об этом!
Ведь там — в витринах книги! стихи!
Очки, сверкай от восторга!
Быть может,

там солнце

«Кросс Кодитри»

Спорит с Сириусом «Пушторга»¹.
Быть может, уже земля на оси
Ближе к солнцу повернута!
Теория относительности
Уже давно опровергнута!
Быть может, над миром

уже шелестит

Какое-то новое знамя!
А мы тут спим от шести до шести.
А мы ничего не знаем.
Что же тут делать?

Считать ворон?

Глядеть на плетни и избы?
А там — огни с четырех сторон.
«Измы» лезут на «измы».
Как можно спорить

об этом вопросе!

Конечно же, брать билеты.
Я буду не в силах вынести осень,
Довольно с меня и лета.

Глаза замолчал.

Шорохи, стуки.

В зале — глухое брожение.

— Дальше имеет товарищ Руки
Слово для возражения.

— Почти рыдая на нашей груди,
Играя словами всякими,
Много оратор нагородил
Чуши и поросятины.

Во что же сердце его влюблено?
Посмотрим-ка — книги разные:
Какие-то «Измы»...

«Пушторг»...

Кино.

Витрины... Знамя...

(Конечно, не красное!)

И все!

А сельские зори, бьющие в стекла?
А солнце, сверкающее

сквозь ставни и скважины?

Иль это глупо?

Дико? Блекло?

Не интересно?

Не нужно? не важно?

А пахота, сев, а уборка хлебов?
А запах свежайшего сена?
А тучное стадо кормилиц-коров?
Неужто все это не ценно?!
Знаем мы этих субъектов в очках!
Они без изменения!
Прошу гражданина не валять дурачка
И выслушать общее мнение.

Оратор садится,

и сразу, как дождь,

Организованный ливень ладош.
А в это время, расправив плечи,
Товарищ Желудок готовится к речи.

— Вам, товарищи,

хочется смеяться,

Что вот, мол, дядя вылез —
Говорить о сметане, о мясе,
Об арбузах навыврез.
Ему, дескать, лишь бы лакать молоко.
Да кушать яблоки имени Антона,
И нет ему дела ни до чего.
Ни до Парижа,
Ни до Кантона².
Но это, милые граждане, ложь.
Отчего же?

Я тоже романтик.

Я тоже хочу человеческий лоб
Улучшить

и сделать громадней!

Но каждый из нас —
Лишь частица мира
И должен знать свои роли.
Организму нужно столько-то жира
И столько-то граммов соли.
Вы думаете,

что все это шутка?

Может, сам вопрос этот

низмен?

Однако если бы

не было желудков,

Не было бы

книг о материализме!

А сколько коварных у меня врагов!
Аппендицит,

холера, тиф, катар...

Разве все эти подлещи

Не хуже нашествия татар?

Но вот представьте:

я живу...

Цветы горят...

и мир чудесен...

¹ Речь идет о полемике вокруг поэмы «Пушторг» И. Сельвинского.

² Намек на речь тов. Можечка о международном положении, произнесенную в начале собрания (примечание С. Ченмарева).

(Голос председателя:
Довольно! Хватит!
Говорите по существу.)

— Э... э... э...
остаться здесь.

Оратор умолк.

Разговор прекращен.
Начинается голосование,
И возбужденное зарево щек,
Губ кричанье и рук сованье.
Однако как действуют на умы
Горошинки шуток и смеха!..
Большинством —

одиннадцатую
против семи,

Постановили:

«НЕ ЕХАТЬ!»

Большинством «одиннадцатую против семи» принято решение остаться в деревне. Полушутливое выступление «товарища Желудка» вызвало смех — разрядку, столь необходимую на затянувшемся собрании. Смех оказал свое воздействие на тех, кто колебался голосовать «за» или «против». Но в принятом решении нет обоснованности по существу. Ее не было и в жизни у самого Чекмарева. Он оставался в деревне до тех пор, пока не появилась возможность поступить в Воронежский сельскохозяйственный институт. Через год, когда в Беззубове начнется коллективизация, он напишет из Воронежа письмо: «Хочу каникулы провести в Беззубово, чтобы помочь нашему колхозу». И он не ограничивается письмом. Летом он приезжает в Беззубово и помогает колхозу наладить учет. Вот когда пригодилось его знакомство со счетоводством. А пока он уезжает набираться знаний, которые скоро будут так нужны и которые приблизят его к главной цели — стать «полным человеком» — с головой ученого и с «сердцем большевика».

В стихотворении есть детали, характерные для 20-х годов: доклад о международном положении, обязательный для любого собрания; недоверчивое отношение к «субъектам в очках»; обращение «господа», ставшее анахронизмом, и другие. Однако по своему звучанию стихи выходят за рамки историко-литературного документа.

Активно живя в настоящем, Чекмарев был весь устремлен в будущее. Может быть, поэтому многое им написанное воспринимается как остросовременное. Его волновало и тревожило многое из того, что волнует и тревожит нас сейчас.

И реяли над ним те же «октябрьские ветры», что реют и сейчас над нами, призывая к радостной, светлой и торжествующей жизни, к свершению того, за что отдал свою жизнь передовой человек своего времени, комсомолец Сергей Чекмарев, посмертно удостоенный премии Ленинского комсомола.



КОНСТАНТИН ЛОМИА

☆☆☆

Разве сердце может быть без крыльев!
В это я не верил никогда.
Испокон недаром говорили:
«Сердце вылетает из гнезда...»
По небу надежды сердце мчится,
Остановишь — и оно мертво...
Так лететь бы и лететь, как птице,
Мне на крыльях сердца моего!

☆☆☆

Предел — всему: отмерен дуба век.
Пред временем
Орла бессильно зрение,
И скакуна победоносный бег
Со временем слабеет тем не менее.
В весеннем поле нежная трава
Родится, но недолго юность длится.
Снег выпадает, но, сверкнув едва,
Глядишь, уж тает и ручьем струится...
Соцветья увядают все подряд,
И юноши со временем седеют.
Как знающие люди говорят:
Со временем и солнце оскудеет...
Свое начало и конец у всех,
Ничто не бесконечно, не бессрочно.
От старости, и спорить с этим грех,
Никто не защищен, уж это точно.
Одна любовь лишь вечно молода,
Не обрекли ее на старость годы:
Никем не назначался никогда
Ни срок ее прихода, ни ухода...

Перевела с абхазского
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.

☆☆☆

Казалось бы, ну что такого!
Промчались кони по селу.
Пылится на земле подкова,
никем не поднята в пылу...
Ах, далеко умчались кони!
И понял я, что никому
не нужен буду так же, коли
любви, и делу своему,
и долгу изменю... Тогда мне
моей знакомой стародавней
подковой, что приметил я,
в пыли остаться забыться.

Перевела Р. КАЗАКОВА.



ПОГОВОРИМ
О
ПРОЧИТАННОМ

ГЕНРИХ
МИТИН

ХАРАКТЕР



Общие черты нашей поэзии легче определить, чем ее многокрасочные национальные особенности. Но и произведениями одного, пусть даже счень талантливого писателя их не исчерпать. Однако, думая о выражении национального характера в армянском искусстве, я невольно вспоминаю прежде всего поэзию Эмина.

Не пейзаж, не исторический или эсбодневный сюжет, не портрет, не ситуация, не чувство и не декларация для него главное. Хотя все это, естественно, есть в его стихах. На лучшие стихи Эмина вдохновляет исповедь характера, если так можно выразиться.

В стихах Эмина виден человек страстный, но владеющий собой. Ясность и беспокойство свойственны ему в той же мере, в какой чужды неясность и покой. Чувство трудного, но истинно человеческого достоинства характерно для поэта. Порой о нем критики пишут: «Геворг из Аштарака». Нет, Геворг из Советской Армении — так следует по праву называть поэта. В нем подкупает широкий, всемирный кругозор и правда живого человеческого характера.

Он не умиляется цветами, морскими волнами, луной, соловьями — нет, все это, такое нежное и прилично-поэтичное, он решительно отдает под суд (так же, как и свой профессиональный материал — пишущую бумагу). За что? Цветы — за то, «что расцветали у концлагерей». Волны — за то, что «мирно шумели», «когда привели на расстрел партизан». Соловьев — за то, что «в Освенциме пели над человеческим теплым пеплом». Бумагу — «за то, что молчала, когда на ней отпечатывалась клевета».

Поэт не против красоты, но он в отчаянии, когда красота равно служит и палачам и жертвам. Старая тема о «равнодушной природе» прозвучала у Эмина с неожиданной силой.

Поэт судит цветы всерьез, но заранее соглашается и с тем, кто «похохочет» над его затеей:

Кто хочет — пусть примет всерьез, а кто хочет,
Пускай над затеей моей похочет.

(Перевел П. ВЕГИН.)

Эта скрытая, но беспощадная ирония. За нею — нежелание разговаривать с «глупцом» — с тем, кто не понимает и не хочет понимать поэзию. Не поэзия

должна спускаться до урсгия глупца, но сей незадачливый читатель пусть постарается сам подтянуться!

И это не снобизм. Слово метко разит равнодушие, срывает с него разнообразные маски (маска цветов, маска морских волн, маска луны, маска чистого листа бумаги!), слово верно служит людям, обществу. Но не прислуживает, не унижается, не лакействует перед людьми!

Слово Эмина — откровенное и гордое, и это очень важно. Утверждая право поэта на независимость слова (пушкинский завет!), Эмин в то же время жаждет связей с миром — с настоящим, прошлым и будущим.

Мир свободно входит в него, но внутри подвергается жестокой проверке. Эмин не склонен быть «почтовым ящиком», позиция у него твердая. Это качество не удивляет: оно органично для жителей «страны камфэй». Но интересно, что в этой твердости появилось нечто новое:

Это — моя рука,
А я — Наири,
Захочу — раскрою ладонь:
Смотри,
Как снова перо и мотыгу беру...
А если кто вынудит, не подобру
Заставит,—
Все пальцы
Сожму в железный кулак —
Вот так,
Если вздумает кто-нибудь силой
От языка отучить,
Меня от земли отлучить...

(Перевела Е. НИКОЛАЕВСКАЯ)

Я уверен, что здесь голосом древней Армении (Наири) говорит Армения Советская, окрепшая экономически, индустриально развитая, чувствующая себя надежно в дружной семье народов нашей общей великой Родины. Здесь нет прямых слов об этом, но есть такое ощущение силы, корни которого не в древности, а в современности.

На одно из лучших стихотворений Эмина вдохновил вырубленный прямо в скале древний храм Гегард. Душа родного народа, его тяжелая история увиденны взглядом поэта в тяжести армянских храмов:

Нет легких храмов на моей земле,
Вспарить готовых —
Сгинули б в веках...
Гегард давно бы превратился в прах,
Когда бы не был вырублен в скале.

Меня, русского читателя этих стихов, охватывает странное волнение. Невольно начинаешь сравнивать Армению и Россию, две страны, столь непохожие по природе и столь схожие по нелегкой истории. Но как высоки наши церкви, издали видны они посреди необъятного поля или из-за могучих крепостных стен! Впрочем, я догадался об этом отличии не сам и даже не в Армении, когда смотрел на Гегард, но читая книгу Эмина, когда увидел этот храм его глазами — так реально и в то же время так символично:

Не виден он. Снаружи не блестит.
И стен его не отделить от гор.
Он от враждебных взоров в скалах скрыт,—
Лишь изнутри он поражает взор.

(Перевела Е. НИКОЛАЕВСКАЯ)

Горы, скрывающие и человека и его храм; и степь, обнажающая все, что на ней стоит. Храм скрытый, слитый с темной скалой — и храм на виду, дразнящий своей белизной на зеленом лугу. Вот какие контрасты! Между тем даже самые неприступные горы порою не спасают, чаще спасает бескрайняя степь — вот каково одно из загадочных противоречий истории!

Про Армению у нас принято говорить легковесно: солнечная! А ведь эта горная страна отличается резко континентальным климатом. Здесь есть район, который его жители называют армянской Сибирью (но из этого района вышел один из самых глубоких и теплых по колориту художников Армении — Минас Аветисян).

Я не намерен сводить контрасты души поэта Эмина к особенностям климата его родины, но если прав Гете и надо идти в страну поэта, чтобы понять поэта, значит, нельзя вовсе сбрасывать со счетов ни высоту, ни горы, ни расстояния, ни камни, ни климат, ибо важно все, что составляет страну поэта. Это важно в двух смыслах: что входит из страны в душу поэта и что в ней не отражается.

Иной поэт превосходно выражает какую-то черту национального характера, но своя личность у него все-таки на первом плане. В стихах Эмина личное не затмевает народное, а только обостряет.

Может быть, отсюда и предельная простота поэтических замыслов его стихотворений. Значительность у Эмина не в сюжете, но в самой правде характера. Это самая сильная сторона его поэзии. Вне полноты такой правды Эмин чувствует себя как рыба, лишенная своей воды. У него нет в запасе спасительной «кислородной маски» — фантазии. Ему нужна в стихах его правда — и только она. Голая правда, последняя правда. Ибо только она неопровержима. Эта мысль наиболее ярко просвечивает в интересном стихотворении, которое я хочу процитировать полностью:

Устойчив и неуязвим
Лежащий на земле нагой
Будь золоченый трон под ним.
Тогда уже вопрос другой:
Того свалить совсем не сложно,
Кто держится на высоте
Посредством, скажем, славы ложной
Иль на чужом сидит хребте,
Кому корысть, иль страх опорой,
Иль денежный мешок тугой.
А что поделать с тем, который
Разлегся на земле нагой?

(Перевела В. ПОТАПОВА)

Стихи Геворга Эмина сработаны очень прочно, надо долго, потому что в их фундаменте — правда, добытая напряжением ума и сердца. Конечно, здесь угадывается всеобщий закон поэзии, отнюдь не только армянской или одного поэта, но нельзя не заметить, что Геворг Эмин в своем художническом различении правды от лжи суров по-армянски:

Если блудлива и лжива строка,
Сломай хребет ей, как ни крепка.
Если звонкая рифма — знак пустоты.
Размозжить ее череп обязан ты.

(Перевел А. ОЗЕРОВ)

Но этот поэт, умеющий ценить бурю и борьбу, может быть удивительно нежным, о чем свидетельствуют и строки о сломанной кем-то яблонево ветви, и особенно стихи о любви.

Странно, но поэт преданный правде, готов и солгать во имя добра, если жестокая правда... спасна

для души! Эта парадоксальная необходимость тем не менее горько мучает поэта, ибо необходимость эта не только объективна: ему самому порой не хватает воли во имя правды сломать яблоневую ветку чужой жизни:

Как мне сказать:
«Я не люблю тебя!» —
Той слабой девочке?..
Нет, не могу я...

(Перевела Е. НИКОЛАЕВСКАЯ)

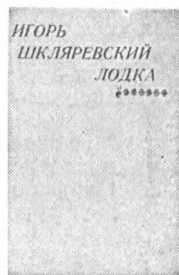
Тут решительная прямота не всегда похвальна. Бережность, я бы сказал, деликатность в тончайшей сфере человеческих взаимоотношений — это такая же истина, как в других случаях — резкость и непримиримость.

Ответственность за жизнь — таков серьезнейший долг поэта на земле. Но и в этом видна у Эмина особая, чисто армянская тревога, тревога народа, жизнь которого долго висела на волоске под мечами завоевателей. Вот почему совсем не случайно книга Геворга Эмина «Век. Земля. Любовь», удостоенная Государственной премии СССР за 1976 год, завершается глубоко личным обращением к любимой («Тебе, любимая» — перевел П. Вегин) и в то же время ко всему человечеству:

И сделай так, любимая, чтоб стало
Понятно миру, как и нам с тобой,
Какие это муки — появленье
На свете человека
Как он дорог.
И как огромен грех
Играть его судьбой...

ГРИГОРИЙ
ПОЖЕЯН

ОН
ОКРУЖЕН
ЗЕЛЕНОЙ ГРЯДОЙ



Мне нравится облик Шкляревского: его лицо с высоким лбом, нервные губы и детская улыбка, его обидчивость и вздорность, непогасшая с годами боксерская взрывная стойка, поздняя страсть элегантно одеваться, умение лихо знакомиться на улице, слабость к старым привязанностям, безудержная, всепоглощающая любовь к стихам. Мне нравится его готовность слушать других и склонность восторгаться другими, часто восклицая: «Гениально!», его способность переносить неудачи и болезни и вопреки им путешествовать до изнеможения, рыbachить в любое время года. Шкляревскому не присущи качка, страх и боязнь

высоты. Кроме всего (да простят меня «олагочестивые»), он шалун, охотник, «женоненавистник», а родись в другом веке — дуэлянт, возможно, и пират (со склонностью раздавать «добро» бедным). В силу (или вследствие) всех вышеозначенных, унаследованных и благоприобретенных качеств Игорь Шкляревский — поэт — вот что, собственно говоря, толкнуло меня взяться за перо.

Могут ли быть поэтами люди противоположного облика? — спросят меня. Могут, отвечу, но мне ближе и необходимее люди именно такого облика: в суровый час они, не задумываясь, становились разведчиками. Их готовность к подвигу концентрировалась, а любовь к жизни, вследствие военной необходимости совершать подвиги, самоограничивалась.

Таков закон пружины, тайна сублимации, когда многогранность и широта человеческого характера вдруг сосредоточиваются на чем-то одном...

Поэтов много, но мало. Как их безумно мало, с единственными эпитетами — именем, отчеством и фамилией впереди стоящего слова с их, казалось бы, маленьким, но многокрасочным и многоголосым миром.

«Природа спит с открытыми глазами», — пишет Игорь Шкляревский. — «Захватывает дух! Так высоко над нами стоят орлы».

«Природа спит с открытыми глазами» — это не изобретение поэта, «беглой сухостью пальцев» на свет не извлечешь такой тревожный, вещей образ — это можно только исторгнуть, чтобы, чуть приглушив звуки, уже спокойнее сказать: «Так высоко над нами стоят орлы». Орлы и облака замерли в своем ночном величии, замерли и словно «стоят в высоте»...

Если долго смотреть в дорогие глаза,
в них однажды твоя засверкает слеза.
Я не знаю тебя. Ты уходишь во тьму.
Мои слезы текут по лицу твоему.

«Мои слезы текут по лицу твоему», а «все тучи твои — сквозь меня!», — говорит поэт, продолжая эту мысль уже в другом стихотворении. Кстати, в нем всего шестнадцать строк, а какая емкость:

Мне снилось, что умерли мы
в разлуке. И встретились снова.
Мы разве при жизни могли
друг друга понять с полуслова?

И вот их «легкие птицы пронзали», «все тучи твои — сквозь меня!» «все беды мои — сквозь тебя!» У них (как никогда при жизни не бывало) «одно замиранье в груди». И, наконец, словно горестный выдох, — открытый звук, неизбежная печаль:

Живые мы разве могли
так долго и нежно простиаться?
Мне снилось, что умерли мы,
и я не хотел просыпаться...

Сколько в этих строках непоправимости, огорчения, надежды!

Многие стихи о признании в любви так едины, развиваясь и переходя из одной емкости в другую, со всеми приливами и отливами, они так дополняют друг друга, что порой кажется, будто бы вся любовная лирика последних книг Шкляревского посвящена одной женщине, ее уходам и возвращениям. И это не укор, а мольба. Не осуждение, а признание в любви.

Книга «Лодка» (издательства «Современник») — итоговый сборник стихов поэта, состоящий из шести книг разных лет: «Лодка», «Фортуна», «Воля», «Ревность», «Похолодания», а также из стихов новой

книги. Чувствуется, как от стихотворения к стихотворению крепнет талант поэта. Каждый новый сборник весомее, стих точнее, эпитет четче, образы естественнее и емче.

Особенно интересны последние стихи.

Я пишу не исследование, а слово о поэте, и для меня важнее всего то, что определяет поэтическое лицо, что создает облик поэта. Судить (а значит, оценивать поэта) нужно по лучшим его стихам. Пусть поэтому строгих критиков не раздражают (если это возможно) мои неумеренные восторги.

...Стихотворение «Есть в отдаленной области небес...» поначалу кажется не столь оригинальным. Написанное поэтично, оно сразу не поражает новизной, по своей стилистике некоторые строки кажутся даже архаичными. «Помыслы друзей», «как в золотом архиве, несбыточно живут», «мгновенья лучшие», «спасительные, как роса в пустыне», «на осенней нве двух-трех учителей трепещут голоса». И вдруг:

В той области небес нет сторожа у входа,
но человек туда

всей жизнью не войдет.

Там реют сироты сорок второго года.

Там вечерами хор детдомовцев поет.

Нужно ли объяснять, как это неожиданно пронзительно и высоко. «Сироты сорок второго года» — и сразу срезается пласт жизни: война, острая горечь потерь. «Реют сироты» — как это сказано — по-птичьи крылато, а вместе с тем четко. «Хор детдомовцев поет» в отдаленной «области небес» — как это, казалось бы, неконкретно, «далеко» от нас, а близко, по-земному.

Не могу не процитировать и четырехстрочное стихотворение, завершающее книгу.

Земные взоры Пушкина и Блока
устремлены с надеждой в небеса,
А Лермонтова черные глаза
с небес на землю смотрят одиноко.

Это почти что необъяснимо, так, казалось бы, нематериальны стихи, и вместе с тем какая ясность безутешной судьбы великого Лермонтова — одинокого, редко любимого друзьями и женщинами, «всласть» не признанного при жизни, как правило, не совсем понятого современниками, хотя безутешное небо Лермонтова — это та же, все-таки счастливая, земля и Пушкина и Блока, прожитая каждым из них по-разному.

Шкляревский — поэт зрелый, серьезный и, на мой взгляд, значительный. Его рыбы и травы, деревья и звезды, его Могилев и Днепр — просты, многозначны, символичны (в высоком смысле этого слова), его любовь сродни нашей любви, мир его — это мир, в котором мы живем, наш дом с его радостями и огорчениями.

И все же, положив на ладонь эту книгу, хотелось бы острее ощутить ее весомость. Так мне, во всяком случае, кажется. Но судьба — это итог жизни. И я, естественно, не тороплю поэта...



Утром, когда я садился на станции Юность Комсомольская в поезд Сургут—Тюмень, мороз, как здесь говорят, придавил, но до активированных минус сорока двух по Цельсию было еще целых четыре градуса. Тем не менее проводница единственного в поезде купейного вагона под номером девять покрикивала на взбравшихся по лестнице пассажиров в полушубках: «Побыстрее карабкайтесь, медведи неуклюжие. Выстудите мне классный вагон, дак я вам и чаю не спроворю».

Наконец, все утряслось, двери были закрыты, но поезд и не думал двигаться: на однопутке расписание составлено таким образом, что стоянки меньше получаса — большая редкость.

В купе, куда я был водворен расторопной проводницей, чуть-чуть мерцал какой-то слабенький потолочный фонарь, так что разглядеть попутчиков было невозможно. На верхней полке кто-то похрапывал, а напротив меня — на нижней — двое мужчин, крупных и, судя по начальственным голосам, довольно ответственных, негромко разговаривали. Причем один обращался к другому по имени, а тот величал его по имени-отчеству, из чего можно было заключить, что первый — больший начальник. Говорили о недавней охоте, потом разговор перекинулся на рыбалку: как быстрее доехать до уловного места на Иртыше, чем ехать, где остановиться, какую снасть брать.

Коснулись вчерашнего происшествия: рабочий вышел на смену пьяным, мастер отправил его домой выпастись, а тот вернулся и набросился с ку-

МАРК
ГРИГОРЬЕВ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ



лаками. «Вот гад, — возмущался мужчина с более начальственным голосом, — сопляк, всего четыре месяца работает, а какие коленца выкидывает!»

— Вот я и говорю, — откликнулся его попутчик, — поменьше надо зеленых на работу принимать.

— Зря ты, Саша, всех молодых под одну гребенку стрижешь, — возразил начальник. — Хорошие в целом ребята приезжают.

— Да я ничего, не против, — оправдывался Саша. — Вы вот будете в управлении, узнайте насчет запасных частей к ГАЗ-71. Траки нужны, звездочки, пальцы.

— Про траки я, конечно, узнаю, но ты зря молодежь винишь. Мы сами, может быть, больше виноваты: и организация производства, и обеспечение работой, и снабжение, и бытовые условия у нас еще далеко не идеальные.

И пьет этот молодой поножовщик, может, оттого, что отдохнуть культурно ему негде, заняться после работы нечем...

За окном совсем развиднелось. Поезд, подергавшись, поскрипев, остановился на станции Ингаир. «Начальник» пригляделся ко мне, протянул руку:

— Давайте знакомиться. Завьялов Игорь — начальник ПМК. Соседи мы вашей подшефной Юности Комсомольской, в поселке Чебунтан леспромхоз обустроиваем. А вас я видел вместе с Иваном Никаноровичем, поинтересовался, кто да откуда, мне и рассказали. Так что удивляться нечему, не Москва, не Ленинград, тайга. Во-вторых, каждый новый человек на виду.

Я заметил, что Завьялов очень любит употреблять это «во-вторых», причем иногда все логические звенья его рассказа соединяются этим «во-вторых» без «первого» и «третьего».

— Видел я ваши скульптуры, — продолжает Игорь, — на Юности Комсомольской — зажатые в руках молоток, зная и цветок. Для себя так их

расшифровал: труд, комсомольский энтузиазм и лирическое что-то. Наверное, цветок — символ любви. Так?

— Всё так, только почему же они наши? Делал их московский художник Герман Черемушкин, а теперь им навсегда здесь стоять. Значит, скульптуры эти ваши.

— У нас еще не все до них доросли, — возразил Завьялов. — Позавчера ко мне молодая женщина приходила, материальную помощь просила оказать: совсем еще девчонка, беременная, а дружок сбежал, на материк уехал. А сюда, в Ингаир, раньше рабочий поезд из Тобольска ходил, дак его знаете, как называли? Бичевоз. Бичей возит, то есть тех, кто сегодня здесь, завтра там. Месяц работают, два гуляют. Вот вам и труд, и энтузиазм, и любви!

— А полчаса назад вы эту самую молодежь защищали, — возразил я. — Где же логика?

— Дак это я на вас набросился для острастки. Читаешь иногда про какую-нибудь стройку и зубами скрипишь: больно уж все легко на бумаге получается. А жизнь, она ведь не цирковое представление: посмотрели — разошлись. Я вот как-то выразился — «человеческий сор». А сейчас подумал: не слишком ли сильно сказано? Ведь человека не выметешь метлой. Положим, отсюда он уедет, избавимся мы, дак не в пустыню же он денется. Опять среди людей будет... А вы о чем писать собираетесь, если не секрет? О Юности Комсомольской?

— Совершенно верно. Только не о станции и не о поселке с таким названием, а о юности комсомольской строителей, проложивших дорогу, построивших поселок и станцию. О хороших людях...

— Вот видите, — перебил меня Завьялов, — опять о хороших, опять одни восклицательные знаки...

— А кто вам сказал, что я выбираю в герои ангелов? Обыкновенные люди, такие же, как воевавшие в гражданскую, строившие Магнитку, защитившие страну от фашизма, поднявшие Братскую ГЭС. Только я попросил каждого из них рассказать о своей комсомольской юности, а это время, по-моему, для всех необыкновенное, особенное время.

— Это точно, особенное, — согласился Игорь.

Он допил чай, сбросил валенки и, накрывшись полушубком, закрыл глаза. Вспоминал, наверное, как бабушка проводила его в техникум, в город, сунув в котомку два десятка яиц, «на первое время». А он, как сел в поезд, сразу же принялся уминать эти яйца одно за другим и спохватился только на двадцатом. Как он голодал потом и как был счастлив: началась учеба в техникуме, впереди была необоз-

Бригадир комсомольско-молодежной бригады монтеров пути Степан Мирча.



римая жизнь, его приняли в комсомол. «Юность комсомольскую вовек не позабыть», — пели тогда такую песню. Сейчас молодежь поет другие песни, но разве не о том же?..

Поезд уходил все дальше от станции Юность Комсомольская, а я мысленно возвращался туда, в бывший поселок Туртас, живущий теперь под новым именем. Здесь базируется первый в стране комсомольско-молодежный строительно-монтажный поезд — СМП-522. Поезд молодежный, а возглавляет его средних уже лет человек, опытный инженер, МИИТовец Иван Никанорович Шалышкин, давно уже сменивший комсомольский билет на партийный. Но чтобы понять, какая царит в СМП-522 атмосфера, как строятся взаимоотношения людей в молодежном коллективе, нужно познакомиться с начальником, который «всему голова». Эта поговорка в Сибири, в районах освоения, имеет особое значение. Почему? Да потому что очень уж редкое в этих местах явление, чтобы начальник какого-либо подразделения — будь это бригадир или управляющий такой трестом — был бы только, как говорят социологи, формальным лидером. Недолго продержится такой руководитель: экстремальные условия враз «вышибут из седла», Север, как лакмусовая бумажка, моментально выявит подлинную сущность человека. Впрочем, не будем забегать вперед, расскажем историю, которую назовем хотя бы так:

«ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК...»

Не знаю, может, кто и удачливей, а мне впервые довелось прочитать объявление, начинавшееся словами: «Требуется начальник...» Обычно требуются грузчики, разнорабочие, уборщицы, техники, рабочие строительных специальностей. Не редкость в наше время и объявления, приглашающие на работу бухгалтеров, медицинских работников, инженеров самого широкого профиля. Но чтоб зазывали в начальники... Звучит как анекдот, тем более и вывешено-то оно было на столбе поселка Чебунтан, того самого, что соседствует с Юностью Комсомольской. Требовался начальник узла связи.

Когда я рассказал Ивану Никаноровичу об этом курьезном объявлении, он ничуть не удивился.

— Что ж вы хотите, найти хорошего руководителя, доверить ему коллектив — это в наших местах



Бригадир-наставник А. И. Щуклина.



Группкомсорг Лена Лобанова.

серьезная проблема. Есть много особенностей, отличающих подбор кадров в районах освоения и на материке. Ну, прежде всего, всякому начальнику у нас нередко приходится выполнять совершенно не предусмотренные служебной инструкцией функции. Видели вы в Юности Комсомольской милиционера? Нет его. А хулиганство случается? Что греха таить, конечно, бывают случаи. А райотдел милиции почти в пятидесяти километрах от нас, да за рекой. Туда и по зимнику не всегда доберешься, а уж весной, когда разливы... Короче говоря, приходится мне, как английскому эсквайру на своих землях, вершить суд. Причем суд должен быть скорый, правый и, конечно, в пределах законности. Ох, не простая задача!

Ну, хорошо,— продолжает Иван Никанорович,— здесь, в поселке, еще туда-сюда: партком, комсомольский комитет, построиком — все наши общественные организации не дадут возможности совершить ошибку, обидеть кого-то, наказать правого. А на трассе? Тридцать — сорок человек месяц живут замкнутым коллективом, а командует ими прораб. Он и судит, он и мирит, он и наряды закрывает, за питание, за здоровье, за жизнь людей отвечает. Можно ли в таких условиях назначить прорабом человека неавторитетного, слабого духом, некомпетентного в технических и экономических вопросах? И недели не пройдет, как «заклюют». И пожаловаться тут некому: ни телефона под рукой, ни старших и многомудрых. Решай сам, бери ответственность на себя! Причем и в технических вопросах и в житейских спорах, бытовых неурядицах. Но зато кто прошел эту школу самостоятельности, выдержал испытание, тот на всю жизнь закалку получил. Вот выменя все о годах моей юности комсомольской расспрашиваете. Такое было тогда время, что рано мы выросли. В четырнадцать лет я был колхозным бригадиром. Шутка ли? Сейчас вступающие в этом возрасте в комсомол — совсем еще зеленые мальчишки. Семь-восемьклассники. Но что характерно: у нас на трассе молодежь раньше взрослеет, выбирает свою дорогу в жизни. Может, потому и «срабатываюсь» я со своими инженерами, с бригадирами и молодыми рабочими поезда, что их комсомольская юность — это уже пора профессиональной и гражданской зрелости. Пожалуй, оттого и не уезжаю на Смоленщину, в родные места, что там больше великовозрастных балбесов. Уже не только усами обзавелись, но и бородой приличной, а все еще держатся за материну юбку, без подсказки шаг ступить боятся. А на Севере, как на фронте: год за три. Наши ребята крепко на ногах стоят. Не ангелы, ох, не ангелы: и выпьют бывает, и подерутся, и жен до слез доведут. Те же молодильницы, хоть в передвигах ходят и работают, как черти, а чего порой не случается.

Ну так это ведь жизнь. Мы железную дорогу в необжитых местах строим: нелегкий труд, что там говорить. И благовоспитанные паиньки у нас не приживутся. Тут иллюзий не должно быть: в белых перчатках нам Севсиб не построят. Самостоятельные люди нужны. Может, потому что так уж моя жизнь складывалась, но очень я ценю это качество — самостоятельность...

Каждый человек, прежде чем дорастет до Ивана Никаноровича, бывает просто Иваном. Это счастливое время, когда всё еще впереди и на плечи не легла тяжесть лет и ответственность, называется детством. Иваново детство оборвалось в восемь лет. И хотя немцы, оккупировавшие Смоленщину, добрались до маленькой деревушки в излучине Днепра только в 42-м,— война есть война. Старшие братья подались в партизаны, и в дом Никанора Шалышкина, бывшего кронштадтского моряка, пришла неизбывная тревога за дочь, за младшеньких: ведь по оккупационным «законам» даже восьмилетний член партизанской семьи — тоже партизан.

Обошлось. После войны, окончив семилетку, Иван поехал сдавать экзамены в Смоленский паровозостроительный техникум. Сдал, но принят не был: предпочтение тогда отдавалось сиротам, тем подросткам, чьих родителей не пощадила война. Не обиделся Иван, не очерствел душой, принял высшую справедливость государственной заботы об осиротевших детях. Хоть и трудно жила большая семья Никанора Шалышкина, а все же при отце-матери. Да и себя Иван уже давно перестал считать ребенком: как-никак четырнадцать лет! Колхоз только только поднимался на ноги, и председатель обрадовался такому «кадру»: мужик (14 лет!), да еще грамотный (7 классов!) — иди бригадиром в полеводство.

Бригадирствовал до армии. И хоть с детства привык к крестьянскому труду, не уставал каждодневно радоваться встречам с приднепровскими покосами и пашнями, нет-нет вставала перед глазами захватывающая дух картина: на путях разрушенной станции Смоленск, как сказочный дракон, пышет паром, вращает огромными фонарями-глазами стальной красавец паровоз «ИС». Может, потому не расставался Иван с мечтой о железнодорожных магистралях, что отец, кронштадтский моряк, привез в глухую деревню совсем не морскую песню: «Наш паровоз, вперед лети...»



Электросварщик СМП-522 Виктор Харчишко.

Когда заканчивал службу в армии, в часть приехали комсомольцы-москвичи. «Даешь ударную комсомольскую!» — звучало на митингах. В этих словах слышны были отзвуки поры великих строек: Комсомольска-на-Амуре, Магнитки, Днепрогэса. Иван поехал строить Домодедовский аэропорт. Но даже самолеты не могли заслонить детскую мечту, крепко связанную с отцовской песней: «Наш паровоз, вперед лети...»

Работал, учился в вечерней школе. В 1958 году по поручению райкома комсомола повез большую группу добровольцев на целину. Вернулся в августе, когда прием документов в Московский институт инженеров транспорта был уже закончен. Абитуриенты сдавали экзамены, а Иван ходил за председателем приемной комиссии и уговаривал. Уговорил-таки. 14 августа он писал с одной группой сочинение, 16 — уже с другой сдавал математику. Через неделю экзаменационный лист заполнился пятерками. Только по немецкому больше чем на «тройку» ответить не мог: умом понимал, что язык ни при чем, а сердцем... Глупо, конечно, но многим в ту пору было нелегко заниматься немецким языком, не могли себя пересилить.

28 августа Ивану Шалышкину выдали студенческий билет, а на следующий день он женился. Так началась учеба в МИИТе. После первой сессии ожидалось прибавление семейства. А стипендия и для холостых и для женатых одна — 290 рублей (по нынешнему счету 29!) По ночам работал в Метрострое монтажником-бетонщиком. Важно было выдерживать первые два курса. Выдержал. С третьего начал получать повышенную стипендию. И так до распределения.

— Куда хочешь, отличник? — спросили члены комиссии. — Удовольстим любую просьбу.

Он выбрал Абакан — Тайшет, хотя знал, что жена встретит это решение слезами. И все-таки выбрал, как сейчас киевляне и москвичи выбирают для себя БАМ или Тюмень — Уренгой. Тогда главной трассой, которую строили тысячи молодых, была дорога Абакан — Тайшет...

Он до сих пор помнит до мельчайших подробностей свой первый день в Минусинске. 10 августа 1963 года. Суббота. Его ткнули в какой-то закуток на вокзале, — здесь предстояло жить. Развязал дорожный мешок — пусто, все продукты вышли, пока добирался. Только пять кусочков сахара, завернутые в бумажку, — вот и все «продовольственное довольствие». К кому обратиться и как быть? Утром его пдняли чуть свет: вся молодежь отправлялась в колхоз, на уборку. Позавтракал одним кусочком сахара, остальные сунул в карман. Когда работал, от голода кружилась голова. А вечером в его вокзальную комнату натащили продуктов, один человек даже миску горячего супа принес. «Транспортные строители одиночек не любят», — сказал он. — И суп и морозы лучше на всех делить: сытней и теплей получается...»

В Юности Комсомольской я не в первый раз. Со многими рабочими, бригадами, инженерами знаком по три-четыре года. Каждый раз, поговорив чуть-чуть о семейных достижениях (кто женился, кто сына родил), заводим бесконечную «баланду», как говорит бывший моряк Володя Ивченко, о работе. Что так, а что не так, и, конечно, обсуждается вопрос, каким быть комсомольско-молодежному поезду, хорошо ли его начальник. Не скажу, чтоб все безоговорочно «принимали» Шалышкина.

Кое-кому кажется, что он излишне деловит и сух, не всегда сидит на почетном месте на комсомоль-

ской свадьбе или концерте художественной самодеятельности. Это тоже ставится в «вину». Да и внешне Шалышкин никак не соответствует привычному стереотипу руководителя молодежного коллектива строителей, а скорее напоминает обстоятельного крестьянина: не тороплив, не суетлив, не речист. И в то же время признают ребята за ним более существенные достоинства: умение понимать молодых, ненавязчиво воспитывать их, требовать преданности делу, да так, что человек без громких слов и обещаний становится в душе патриотом стройки.

Не любит Иван Никанорович скороспелых почин, энтузиазма на месяц: кто быстро загорается, тот быстро гаснет. А дорога на север строится не месяц и не год — много лет. В таких условиях, считает Шалышкин, комсомольско-молодежный СМП не должен уподобляться молодому неопытному бегуну на длинную дистанцию, который «на десять тыщ рванул, как на пятьсот, и спекся». «Есть у моего сына такая песня, — говорит Иван Никанорович, — на магнитной пленке записана. Только Валерка включает магнитофон так громко, что крик да гитара слышны, а слов и не разобрать. А я без него включу потихоньку, тогда и слова понятны. Хорошие слова».

Так ли, этак ли, но текучесть кадров в СМП-522 — едва ли не самая низкая во всем управлении «Тюменстройпуть». А станция Юность Комсомольская и участки дороги, построенные комсомольско-молодежным поездом, принятые государственной комиссией с оценкой «отлично».

ТЕТА АНЯ И КОМСОРГ ЛЕНА

Сегодня самый короткий день, 22 декабря. Но погода ясная, даже желтое солнце прокатилось по невысокой дуге над тайгой. Потом час-другой брезжил сероватый закат, пока совсем не стемнело. По высоким деревянным тротуарам, бугристым и скользким от замерзшего снега, я добирался до крайнего двухэтажного дома в поселке. Ориентиром служил фонарь на дальнем столбе, но его слабый свет мигал свечкой в снежной пустыне, я поминутно чертыхался, натываясь на целые стаи собак, завладевших тротуарными перекрестками: строители по доброте душевной развели такое множество четвероногих друзей, что количество последних смело соперничало с численностью населения поселка.

Спешил я, как оказалось, зря: конкурс молодых штукатуров был еще в самом разгаре. При свете электрических лампочек девчонки в комбинезонах и ярких платочках азартно кидали раствор на стены комнат, а потом лихо затирали вспухший от свежей штукатурки кусок стены. Из комнаты в комнату переходили члены строгой комиссии: заместитель начальника СМП Борис Ярмышев, старший прораб Николай Чижиков, инженеры-нормировщики. Прикладывали к стене контрольную рейку, чтоб определить допустимые отклонения по горизонтали и вертикали. Тщательно проверяли углы, заделку оконных проемов и отмечали что-то в блокнотах.

В общей суете не принимали участие только двое: полная круглолицая женщина в красной косынке и молодая девушка, совсем еще, в сущности, девчонка, скорее напоминавшая школьницу на производственной практике.

Работающие девушки то и дело подзывали круглолицую, чтоб посоветоваться.

— Анна Ионовна, посмотрите, пожалуйста!

— Теть Ань, можно тебя на минуточку!

— Баба Аня, а к нам заглянете? — из разных комнат квартиры, выбранной для конкурса, звели девчачьи голоса.

Анна Ионовна Щуклина — бригадир-наставник — по-хозяйски обходила все участки: там кельму в руки возьмет, бросит несколько порций раствора; тут ткнет пальцем в стену — затирай получше.

— Все трудятся, — весело и быстро, как-то скороговоркой говорит Анна Ионовна, — только мы вот с Леночкой — старый да малый, — как начальники, руки в брекки ходим. Я люблю вот так, со стороны, на своих девчонок посмотреть, люблю с молодежкой работать, душой, наверное, молодая. Я всегда с молодежкой, еще в 1949 году фзэзущников обучала штукатурному делу. С тех пор — вот уж недавно бабушкой стала — всегда комсомольско-молодежными бригадами командую. Я и сюда, в Юность Комсомольскую, тогда она еще Туртас называлась, — правда, и называться-то было нечему, — знаете, как попала? Не поверите, — по чужой комсомольской путевке.

А дело вот как было. Родом я из Башкирии, но это в детстве там жила, а потом с мужем — Виктором у меня столяр — жили мы в городе Калуш, в Ивано-Франковской области. Живем, работаем, ребятишки уже большие стали. А у меня соседка была Зоя Григорьевна. Ее дочь Люда по комсомольской путевке уехала строить дорогу Тюмень — Сургут. Ну вот, эта Люда письма матери пишет о своем житье-бытье в Сибири. А та мне рассказывает. Я как-то говорю Зое: спроси, мол, дочку, как там со штукатурной специальностью? Нужны ли люди? Какое-то время проходит, а Людка возьми да пришла мне письмом: «Приезжай, тетя Ань, очень нужны штукатуря-малыры».

Поднялись мы с Виктором, детей взяли — и сюда. 1971 год был. Сначала, конечно, напугались маленько: уж очень гиблым показалось это место Туртас. Господи, думаю, как же тут на таком болотище дома ставить? Утонут! Ну, ничего. Пожили год в вагончике, помучились, конечно, потом в щитовой дом перебрались. А поселок рос-рос, да вон какой вырос! Вот я и считаю с тех пор, что по комсомольской путевке приехала. И девчонкам так говорю. Я с ними люблю возиться. Сначала-то у них не больно получается. А когда умения нет, человек устает быстро. Это на любой работе. Захнычут девчонки, а я им говорю: «Чего нюни распустили? Дом делаете, где людям долго жить. Построите, уедете дальше, на другой участок, а люди вас добрым словом помнут. Что ж вы, комсомолки, по путевкам сюда приехали, чтобы хныкать?! Ну-ка, давайте работать».

Поворчу так, поворчу, глядишь, «лекция» и подействовала. Работают, втягиваются в дело, мастерами становятся. И личную жизнь устривают. В прошлом году почти каждую пятницу одна и та же песня: «Теть Ань, приходи на свадьбу». «Что вы, — говорю, — без выходных меня хотите оставить? Дайте немного передохнуть, а то каждую неделю по свадьбе справлять — здоровья не наберешься». А Иван Никанорович, наш начальник, смеется: «Вы устроите одну свадьбу на всех, а то разоритесь каждую неделю гулять». Ну, конечно, у нас женихи богатые — все больше из бригады Молозина: у них если полтыщи в месяц выходит, так они и за заработок не считают...

Пока я слушал рассказы Анны Ионовны, конкурс закончился. Подвели итоги, наградили победителей. Анна Ионовна немножко повздорила с комиссией («А какая кладка была? Разве по такой кладке положишь ровно штукатурку? Да тут не кельмой, а ведром надо раствор набрасывать!»). Я не узнавал добродушного бригадира: как разгневанная насадка

прикрывает своих цыплят, защищала она своих девчат. Комиссия не выдержала натиска и пошла на уступки. Анна Ионовна сразу же подобрела и отпустила Лену Лобанову со мной в комитет комсомола: Лена должна была отчитаться по взносам.

— Я тетю Аню давно знаю, — рассказывала Лена по дороге, — с ее Валеркой в одном классе училась. А в бригаде я с осени, сразу после школы пришла. Но уже по разряду работаю. Тетя Аня очень хорошая. Если и покричит когда, так все по делу. У нас все в бригаде ее любят.

Было в этом «тетя Аня» что-то совсем ребяческое, так же, как и в желании доказать постороннему человеку, как любят все бригадира. И в то же время угадывалось за этими словами доброе сердце.

Мы шли с Леной в комитет, и она рассказывала о себе. Рассказывает Лена, может, и чересчур восторженно, но наверняка честно.

— Мне очень нравится название нашего поселка — Юность Комсомольская. Такое, самое-самое молодежное, что ли. Такие имена и надо давать городам и станциям на ударных стройках. Ведь они создаются руками молодых...

Лена смущенно трет варежкой щеку.

— Говорю, как на собрании. Но я, честное слово, с детства люблю ударные молодежные стройки. Мы раньше жили в районе Абакана, там теперешнее управление «Тюменстройпуть» строило дорогу Абакан — Тайшет. И я совсем еще девчонкой мечтала о том, как тоже буду прокладывать голубые рельсы через тайгу и реки...

— Мечтала строить дороги и мосты, а попала в штукатуры, — замечаю я. — Значит, мечта не сбылась?

— Так это одно и то же, — удивляется Лена. — И мосты, и дорога, и дома, и станции — это же одно дело. А скоро мы все снимемся отсюда и поедем дальше на север, в Уренгой. Я обязательно поеду: во-первых, не хочется с бригадой расставаться, а во-вторых, интересно оказаться у Полярного круга, в тундре, новые места посмотреть. Да и не только посмотреть, а построить там дома, совсем на пустом месте, где раньше ничего не было... Может, я чересчур заводная? Ну уж какая есть. Я и в школе не любила спокойной жизни: и в танцевальном коллективе занималась, и пела, и в комсомольское бюро меня всегда выбирали. Наверное, поэтому девчонки в бригаде комсоргом меня сделали. А летом мы с подружкой Ниной Зензиной обязательно будем поступать в строительный техникум на заочное отделение. Поступим и поедем. Мама против. Она говорит: «Холод там будет страшный зимой, а летом комары заедят». А я думаю: раз другие девчонки едут — и я выдержу. И к морозам я привычная. А то молодость пройдет, и вспомнить нечего будет...

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ

Вечером мы сидим на кухне у прораба Лени Чернышова и чистим картошку. Нас трое: сам хозяин, бригадир путейцев Степан Мирча и я. Намечается холостяцкий ужин, хотя холостяков среди нас не имеется. Мирно потрескивают дрова в печи, растет гора отходов, а картошки в кастрюле с водой вроде бы и не прибывает. Паршивая картошка. Наконец кастрюля на плите, и мы садимся поближе к печке покурить.

— А у нас сейчас на Пыть-Яхе... — говорит Степан.

— А у нас на Пыть-Яхе, — продолжает Лена, — не

такие все неряхи: картошку почистили и даже рук не вымыли!.

— Вы мойте,— говорит Степан,— а мне не надо. Я цыган.

— А цыганам что, закон не писан? — возмущается Леонид.

— Не писан.

— Может, и умыться не надо?

— Не надо.

— Почему ж ты не только умываешься, но и снегом обтираешься? — продолжает подзуживать товарища Леня.

— Потому что я забыл обычаи дедов, потому что я тут с вами скоро и язык родной забуду! — кричит Степан и уходит в комнату.

Через минуту он появляется, неся гитару, на ходу настраивает струны. Поставив левую ногу для упора на низенькую скамеечку, он берет первые аккорды, и вот уже горячая, южная песня наполнила кухню, выплеснулась за порог, полетела к сибирскому небу. Степан поет на родном языке: «Ведь цыган без лошади, как без крыльев птица...»

— А у нас на Пыть-Яхе,— говорит Степан, кончив песню,— сейчас все уже спят.

Он выжидающе смотрит на Леню, ожидая возражений, но тот задумался: видно, тоже вспоминает Пыть-Ях, ставшую в последнее время для них родной станцией в семидесяти километрах от Сургута. Оба — и бригадир и прораб — находятся там в длительной командировке и дома, в Юности Комсомольской, бывают только наездами. Как сегодня.

— Это ведь только штукатуры-маляры по два года сидят на месте,— говорит Степан,— а у нашего брата-путейца жизнь, как у цыгана: сегодня — здесь, завтра — там.

Бригада Мирчи строит на станции Пыть-Ях железнодорожный отвод к леспромхозу, рихтует готовые участки, балластирует.

— У нас там жарче, чем у печки,— продолжает Мирча.— Только высыпали из столовой, я кричу: «По коням!» И понеслись по зимнику в вахтовой машине Режем снег лопатами, сбрасываем его с полוגна. Полушубки, куртки — все летит на обочину. А тут вертушка дозаторная подвалила — только поворачивайся, освобождай ее от балласта. И такая дребедень целый день...

Слушая Степана, я думаю, для чего это он себя таким скепсисом оболванивает? Чтоб не догадаться, как дорога ему эта нелегкая работа, как дороги и близки 22 члена его комсомольско-молодежной бригады? Чтоб скрыть, наконец, под маской этакого разудалого исполнителя цыганских романсов серьезного и вдумчивого работника, опытного монтера пути, бригадира? И который настоящий, подлинный Степан Мирча: «ансамблист-футболист», как он сам себя называет, или бригадир комсомольско-молодежной бригады?

Скорее всего это риторические вопросы, думаю дальше я. И нет тут никакого противоречия: широкая, я бы сказал, удалая натура Степана Мирчи не хочет втискиваться в определенный стереотип, в жесткие рамки формальных определений и характеристик. Это только в плохих пьесах персонаж определяется одной авторской ремаркой: правдолюбец, труженик, герой, негодяй, нытик, весельчак. А в жизни в одном человеке столько понаmeshано, что надо стараться понять его, а не подгонять к задуманным образцам.

Вообще Степан Мирча — фигура не только колоритная и экзотическая: шутка ли — цыган на сибирской стройке! — но и характерная для районов освоения. Здесь не любят однозначных людей, прямых, как городской проспект. А того, кто и работать, и

веселиться, и петь-плясать умеет, с удовольствием принимают в новые сибиряки.

Родом Мирча из оседлых цыган. Его отец с 1951 года работает на Коммунарском металлургическом заводе. Хотел отец, чтобы сын закончил среднюю школу, но Степан не желал быть обузой — четверо детей в семье. После восьмого класса пошел работать автослесарем. Потом армия. После армии разные специальности перепробовал. Пел в вокально-инструментальном ансамбле. Был солистом. Занимался боксом и футболом. А потом потянуло в Сибирь. «Меня в обкоме комсомола хотели направить в Метрострой,— вспоминает Степан.— но я отказался: очень хотел побывать в Сибири. Приехал, попал в бригаду к Молозину. Уезжал ненадолго. Вернулся. Работал монтажником, мастером — я ведь свердловский техникум заканчиваю. Но путевское дело, видно, крепко привязало. Дал мне Шалышкин бригаду, я и пошел, вернее, сразу поехал в командировку на Пыть-Ях».

— Картошка готова, — объявил Леся Чернышов. — Будем жинить или песни петь?

— Пошли за стол. — Степан отложил гитару. — Наступим на горло собственной песне.

КРАСОТА

В Москве уже в который раз оттепель. За окном маленькой, но светлой и уютной мастерской — мансарды художника у Петровских ворот — видны причудливые зазубрины сосулек. Мы с Германом Черемушкиным рассматриваем цветные слайды, привезенные из Сибири, и вспоминаем минус 38 и минус 47 на Юности Комсомольской: так получилось, что в этом поселке нам довелось быть одновременно в канун Нового года. Художник руководил монтажом скульптурной композиции на станционной площади, а я привез дорожным строителям новогодний подарок от журнала: почти 200 томов книг — новинки издательств «Советский писатель», «Молодая гвардия» и «Современник».

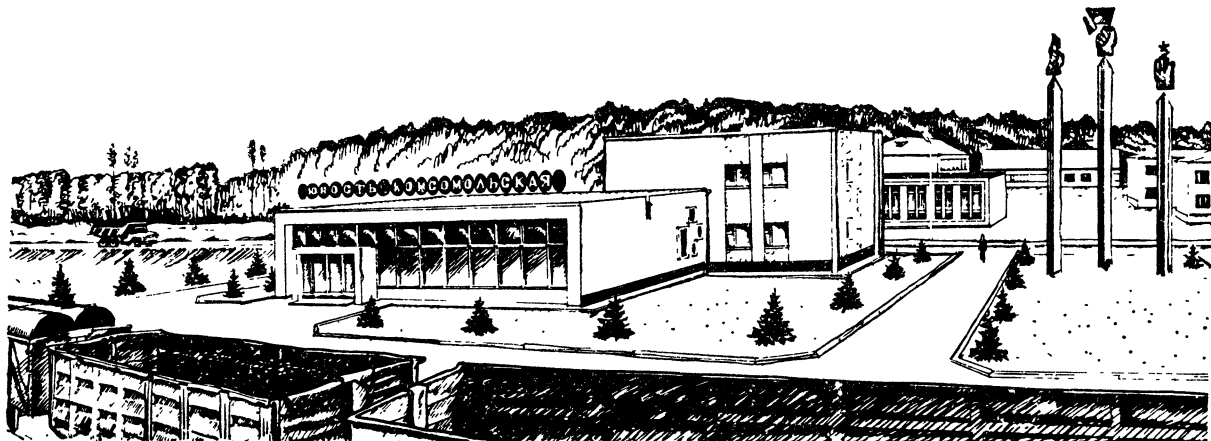
— Помнишь, — говорит Герман, передавая мне очередной слайд, — как сварщики отказались лезть на верготуру? Если бы не Витя Харченко...

Я рассматриваю цветной снимок, на котором фотоаппарат зафиксировал высоченный пилон, увенчанный знаменем, по форме точь-в-точь повторяющим комсомольский значок, и маленькую фигурку сварщика, тякающего электродом. На снимке хорошо видны желтоватые снопы искр, плавными дугами очерчивающие вечернее небо. Внизу сгрудилась вся бригада, люди тычут пальцами вверх, что-то подсказывают. А там, наверху, Витя Харченко, Виха, как его называют в бригаде. Конечно, он не видит за своим щитком поднятых рук, не слышит за треском электросварки ценных указаний. Да и что в них толку? Вот попробуй влезть по шаткой лесенке на двенадцатиметровую высоту да приварить две стальные «косынки» на сорокаградусном морозе. Тогда и советы давай...

— Постой, постой, — говорю я, — кажется, это было 27 декабря?

— Двадцать шестого, — уточняет Черемушкин. — В тот день наконец удалось достать автокран с пятнадцатиметровой стрелой. Тогда и началась эта история...

Как же я забыл! Двадцать шестого декабря удалось наконец выпросить в соседней ПМК, той самой, где начальником Игорь Завьялов, автокран. Правда, в СМП-522 есть два собственных крана, но один был поставлен на капитальный ремонт, а у другого стре-



Железнодорожная станция Юность Комсомольская.

ла коротка — не достаёт даже до верхушек пилонов. Дело в том, что скульптурная композиция на станционной площади Юности Комсомольской решена художником вот каким образом. На трех бетонных пилонах взметнулись в сибирское небо руки с молотком, комсомольским знаменем и цветком. Это символы труда, комсомольского энтузиазма и любви. «Три кита, — говорит Герман Черемушкин, — на которых держится всякая ударная комсомольская стройка».

Но это уже потом, вечером, когда все было позади, когда включили прожекторы, а вся бригада собралась на перроне, чтобы отсюда хорошенько рассматреть, что же такое они сгородили, бригадир Николай Бугай, могучий украинец, ветеран стройки, удивленно воскликнул:

— Добре, дуже добре, Херман (вместо твердого «г» у него всегда получалось мягкое южное «х»)! Дивись, знамя-то по ветру полощется!

В свете прожекторов красная, офактуренная под туф поверхность бетонного знамени действительно казалась трепещущей, «живой», всамделишной. И лепестки метрового бетонного цветка тоже представлялись легкими, будто только что раскрывшимися солнцу. «Вот так штука, — подумал я. — Парадоксы монументального искусства — «большое видится на расстоянии».

Еще утром три скульптурные руки, каждая по полтонны весом, стояли на земле, и рабочие хохотали, хлопывая рукавицами по этим гулливеровским пальчикам. Но потом стало не до смеха: надо было приварить к основаниям скульптур стальные косынки, точно такие же металлические площадки готовить на верхних торцах пилонов, а затем поставить краном скульптуры на свои места так, чтобы одна «косынка» точно легла на другую, и обварить по всему периметру. Когда кран поднял в небо первую «руку», взбравшийся по лесенке на двенадцатиметровую высоту сварщик успел только «прихватить» косынки в двух точках. Через минуту он уже стоял на земле. Губы его мелко дрожали, как от холода.

— Замерз? — спросили товарищи.

— Какое замерз! — чуть не плача отвечал сварщик. — Пот прошибает. Не могу стоять там, колени дрожат.

— Высоты боишься? — уточнил бригадир Николай Бугай.

— Боюсь. — Парень потупил глаза. — Может, Виха попробует, — неуверенно посмотрел он в сторону Вити Харченко.

— Виха, Виха! А я что, застрахованный? За всех отдавайся. Как в кассу, так все бегут, а как лезть к черту на рога, так Виха.

Последние слова Виктор говорил, уже засовывая за голенище валенка пачку электродов.

Через час он спустился вниз.

— Закури, Виха. — Сварщик, который не мог побояться страх высоты, протянул ему папиросу, быстро чиркнул спичкой.

Виктор молча покурив, потопал валенками, погрел руки у маленького костерка и так же молча полез варить вторую «руку»...

Как много воспоминаний может хранить один только маленький слайд. Подвиг, долг? Вовсе нет. Обычная работа. И масса непредвиденных трудностей. Окажись в маленьком поселке телескопическая автовышка — и все было бы гораздо проще. Но такой вышки нет не только в Юности Комсомольской, но и во всем Уватском районе. И не только рабочим, но и самому художнику нередко приходилось по десять часов кряду гнуть спину, стунуть на ветру.

— А что ты думаешь? — будто читает мои мысли Черемушкин. — Работа художника-монументалиста не заканчивается выдачей проекта. Подобно скульптору, надо обладать и физической силой и выносливостью, знать штукатурные работы и сварочное дело. По существу, при сооружении этой станции я был не наблюдателем и консультантом, а еще и исполнителем, квалифицированным рабочим. Сам набрасывал цемент на металлические каркасы скульптур, иногда сваривал эти каркасы. Лепил нужные формы, резал. У художника нашего профиля мозоли не от карандаша...

Черемушкин вместе с молодым новосибирским архитектором Володей Авксентюком еще в 1969 году ездил по заданию ЦК ВЛКСМ на трассу Абакан — Тайшет. Там и родилось содружество архитектора и художника. Вместе работали над вокзалом в Тобольске, вместе пришли на Юность Комсомольскую — станцию, расположенную на трассе недалеко от древней столицы Сибири. После прекрасного по своей архитектуре и художественному решению Тобольского вокзала Юность Комсомольская — вторая станция в тайге, выполненная профессионально и со вкусом, станция, которой в сибирской глухомани суждено стать бесспорным очагом культуры, точкой

художественных, эстетических споров. Особенно интересен интерьер, оформление зала ожидания, детской комнаты, которые украшены мозаичными панно, выполненными по эскизам Черемушкина.

— Прости, Герман,— говорю я, откладывая в сторону очередной слайд,— но каждое произведение искусства, его «сверхзадача» понимаются неоднозначно. Проще говоря, сколько людей, столько и мнений: каждый элемент мозаики, каждая фреска, рельеф, композиция трактуются человеком в зависимости от его художественных пристрастий, степени воображения, характера, возраста, даже рода деятельности. Причем эта трактовка не всегда совпадает с художническим замыслом. Может быть, поэтому людям всегда интересно знать, что хотел выразить, сказать художник своим произведением. Под картинной зрители всегда ищут ее название. Прежде чем слушать музыкальное сочинение, хотят знать, как озаглавил его автор. Стихотворение с тремя звездочками над ним у некоторых вызывает досаду. Итак, как ты «расшифруешь» свою мозаику на станции Юность Комсомольская?

— Пересказывать симфонию либо стихотворение — задача, на мой взгляд, неблагоприятная, да и ненужная: у искусства свой язык, своя логика, отличная от языка, скажем, четких формул, аксиом и доказательств науки. Тем не менее, если бы меня попросили «озаглавить» свою мозаику на станции Юность Комсомольская, это бы звучало так, в самом общем виде, конечно: от прошлого — к настоящему — в будущее.

— Пожалуйста, Герман, подробнее, если уж мы начали расшифровывать символику...

— Хорошо. Давайте рассмотрим мозаику от левой стены, как книгу.

— Итак, в левом углу мы видим художника у мольберта. Он впервые приехал в тайгу, всему удивляется, ищет краски для отображения увиденного. Прежде всего в его поле зрения попадают конусы елей и сосен, расчертившие Сибирь. Цветы, именуемые здесь «жарками», — на самом деле это кипрей. Радуга после дождя, которая перекинулась от сосны к сосне. И вдруг — высотные дома Тобольска, панорама нефтекомплекса, без которой сегодня трудно представить себе пейзаж древней сибирской столицы.

Потом мы увидим «опрокинутую радугу» — железную дорогу, по которой шествует девушка. Самолеты, пароходы — все это новые транспортные артерии, ими пронизана сегодня Западная Сибирь. Дальше нефтяные вышки, трансформаторы подстанций, радиолокационные установки. Энергия и связь — приметы нашего времени. И тут же охотник, уходящий с собакой в тайгу: символика экологического равновесия, разумной добычи энергетических запасов из сибирских недр и продолжения старых традиционных промыслов — охоты на пушного зверя и рыболовства.

А вся правая стена — сплошной цветной ковер, букет. Декоративная мозаика здесь подчеркивает красоту Тюменской земли, оптимистическое видение людей нашего времени, расцвет и возмужание молодых характеров. По-моему, это ударный аккорд, идея, «переведенная» на язык мозаичных знаков. А может, просто красивая стена, перед ней, без сомнения, остановится каждый пассажир — строитель, геолог, нефтяник...

— Помнишь, Герман,— прерываю я художника,— когда в 1974 году вы с Владимиром Авксентюком закончили Тобольский вокзал, ты говорил мне, что мечтаешь расставлять по Сибири большие таежные знаки? Не является ли Юность Комсомольская вторым вашим знаком на трассе Тюмень — Уренгой?

— На новой трассе, на молодежной стройке работать всегда интересно. Новое дело, трудности, которые приходится преодолевать, закаляют молодежь. Люди тут раньше взрослеют, характеры раскрываются ярче — не зевай, художник! Я десятки раз бывал на трассе Тюмень — Уренгой. Разумеется, с блоком. Так появились сотни рисунков, гравюры, посвященные Севсибу. Дорога — главная артерия, дающая кровь, жизнь таежному краю. К тому же дорога — примета современной жизни, стремительно набирающей скорость. Свисток, поезд тронулся, мчит на Север новую партию первопроходцев. Короткая остановка у вокзала таежной станции — и снова в путь. Снова вокзал, снова дорога. Вокзалы, как знаки, указывающие путь вперед. И если язык этих знаков придуман мной, если он понятен другим, о чем же еще может мечтать художник?! Ну, представь себе, художник или архитектор построил улицу, какую-то часть города, целый город по своему замыслу. Это, конечно, здорово. А вот тысячекилометровый ансамбль — это просто грандиозно. Сейчас мы работаем над проектами вокзалов в Пыть-Яхе и Сургуте. Если все получится, как задумано, то мы с архитектором будем счастливы расставить такие красивые таежные знаки по трассе, вытянувшейся более чем на тысячу километров.

Юность Комсомольская построена. Комсомольско-молодежный СМП-522 готовится к передислокации: в самую северную точку трассы — Уренгой — предстоит перебазировать людей, дома, машины, оборудование.

— Есть в Тобольском речном порту,— говорит Иван Никанорович Шалышкин,— две баржи-тысячницы, с правом выхода в Обскую губу. К открытию навигации мы должны «собрать вещишки», утвердить план передислокации, составить сетевой график. Двумя баржами надо успеть сделать шесть рейсов по довольно сложному маршруту: из Тобольска по Иртышу до впадения его в Обь, по Оби вниз, до устья; затем выйти в открытые воды Обской губы, зайти в Тазовскую губу и по реке Пур подняться до Уренгоя. Почти три тысячи километров водного пути, чтобы оказаться в Заполярье. Нельзя ничего упустить, а то получится, как в прошлый раз...

Я уже знаю, что произошло прошлый раз, осенью 1977-го. Тогда СМП-522 предполагал забросить с последним рейсом баржи тысячу тонн груза. 18 вагонов с оборудованием отправили из Юности Комсомольской в Тобольский речной порт, но обнаружили их лишь месяц спустя... в Новосибирске. Да и то, когда к розыску подключилась газета «Гудок». Шалышкин рвал и метал, слал телеграммы, писал письма, но виновных так и не удавалось найти. Навигация закрылась, а 18 вагонов пришлось разгрузить и дожидаться весны.

— Это не должно повториться! — сурово, с оправданным пафосом говорит начальник СМП-522. — В этом году мы обязательно переберемся на Тихую — так называется конечная станция железной дороги под Уренгоем. Место там красивое необычайно: песок, кедр и бескрайний ягельный ковер. И поселок и станцию надо построить еще красивей, чем здесь, чтоб были они на удивление людям, как восхитительный знак, как памятник великому труду дорожных строителей.



Тревога!
Через 45
секунд
с момента
получения
сигнала
пожарные
должны
выехать
из части.

Фото
В. СЕМОВА.



АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛАЕВ

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

Сегодня вы познакомитесь с записками пожарного. Звучит не очень привычно. Но писать, откровенно говоря, нашим ребятам стоит. Есть о чем.

К сожалению, дело пока обстоит таким образом, что пожарные не могут целиком переключиться на мемуары. Огонь сейчас стал куда опаснее и коварнее, чем два десятка лет назад, например. Это, можно сказать, издержки НТР. В таких условиях бойцам, естественно, надо быть грамотными не только для того, чтобы писать заметки. И, если откровенно, то народ у нас работает прекрасный во всех отношениях.

Не стану говорить о стойкости, храбрости, человечности — без всего этого настоящего пожарного нет. Да и высоких слов наши бойцы не употребляют: человек оценивается не по словам, а по делам. Это давняя традиция. Родилась она 60 лет назад, в апреле 1918 года, когда В. И. Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем».

Г. РАСЧЕТИН,
начальник отдела Главного управления
пожарной охраны МВД СССР,
полковник внутренней службы

Сегодня выдался спокойный денек. Трудяга «ЗИЛ» пригрелся в ангаре. Наводим на него глянец. Посторонний человек, глядя на наш сверкающий автомобиль, скажет, что он только вышел из заводских ворот. На самом деле это не так. Сколько на нем умело зарихтованных царапин и скрытых масляной краской ожогов! Бедный «ЗИЛ»...

Мне кажется, что не только техника, но и люди уносят с собой с пожаров «повреждения», недоступ-

ные глазу. Синяки, порезы, ожоги в расчет не берутся — к этому быстро привыкаешь. Ребята надо мной смеются, дескать, завел журнал личных впечатлений, бюрократ. Каждому не объяснишь, что делаю я это для того, чтобы пережитое не стерлось в памяти.

Да, этого в двух словах не объяснишь даже человеку, с которым делишь, как говорится, тяготы и лишения службы. Однажды поймал себя на том, что рассказывал приятелю о последнем выезде, словно

докладывая обстановку начальнику караула. Слова какие-то обкатанные, скучные получились. А ведь наша работа, пожалуй, не такая. Как писал Гиляровский в книге «Москва и москвичи», — «вдохновение, риск, мастерство...».

Сегодня «философскую» неспроста: обычных хлопот мало, не то что третьего дня. Не я один, все ребята еще ходят под впечатлением пожара на заводе. У нас не принято долго обсуждать выезды. Потолковали на разборе и конец. Не люблю я возвращаться к тем местам, где пришлось поработать до седьмого пота. В воздухе плавают запахи гари, он буквально сочится отовсюду, запахи беды. Валяются почерневшие железки, громоздятся уродливые остовы обгоревшего строения. Иногда задаю себе вопрос: а полез бы еще раз, как тогда?.. Конечно, если надо, то полез бы...

Погода тогда стояла на дворе — хуже не придумаешь: поднялся шквалистый ветер, прямо над головой нависли черные тучи. В караульном помещении было тепло и сухо.

— Хорошо бы сегодня без происшествий отдежурить, — мечтательно сказал Саша Мозговой.

Ребята сразу же зашикали на него, дескать, смотри, глазщишь еще. Вообще-то в приметы мы не верим, но ежедневный риск, с которым связана наша жизнь, заставляет без излишнего пренебрежения относиться к превратностям судьбы. Каждый испытал на себе помощь «чуда». Чаше, конечно, выручают реакция, сноровка, опыт, но иногда просто чудо удерживает над головами прогоревшую балку. И в этот раз «примета» не подвела.

Загудел зуммер тревоги. Бегу мимо диспетчерской. Узнаю адрес: факельное хозяйство нефтезавода. О подробностях на месте. Ведь едва возникает опасность пожара — люди теряются, сообщают по телефону самые невероятные вещи.

До завода шесть километров, по пути на машины обрушилась гроза. В двадцати метрах ни зги не видно. Подруливаем к факельному хозяйству, там как будто все в порядке. Из будочки выскочил рабочий, показал пальцем в сторону резервуаров с нефтепродуктами. Все-таки запутал информатор нашего диспетчера. Назвал неточный адрес.

Добрались до резервуаров. Один из них уже вовсю «дышал». Черное маслянистое тело пучилось, извивалось, как живое. Густой пар с характерным запахом срывался с кипящей поверхности. Развернули на резервуар лафетный ствол. Через несколько секунд из широкого раструба, укрепленного на «ЗИЛе», хлынет вода. Для охлаждения. Раскатываем «рукава».

Когда начинается настоящая работа, перестаешь замечать происходящее вокруг. Ощущаешь ладонями шершавый брезент «рукавов», глухо постукивает двигатель, раздаются привычные команды — все как на тренажере. Вдруг слышу истошный крик: «Все назад! Бегом назад!» Раздумывать некогда, бежим сломя голову к машинам. «Бах!» — это уже позади что-то грохнуло. Барабанов дергает за плечо.

— Выброс был! — кричит.

Я и сам это понял. Огненная река, метров в 30 длиной, «выстрелилась» из резервуара. Зрелище грандиозное. Ни в каком кино не увидишь. Вообще по части зрелищных эффектов нам, пожарным, «везет», как никому. Но сейчас не до «ахов»; нужно делать «обваловку», то есть окружать огонь сплошным редутом, иначе языки пламени доползут до других резервуаров.

За спиной тревожно гудят машины: прибывает подкрепление, да и грузовики с песком прибывают то и дело. Из песка вместе с рабочими возводим вал.

Ливень буквально слепит, хлещет нещадно в глаза. Посвежело. Догадываюсь: возвращается поток воздуха. И вдруг... «Бах!» — рванул второй резервуар. Не дожидаясь команды, бежим в укрытие. Следом за грохотом — новый выброс. Лавина огня, как в замедленной съемке, приподнялась и мягко опрокинулась на наши оборонительные сооружения. Песок спекается от жара. Пока меняем позицию, есть относительная передышка. Лафетный ствол работает на полную мощность.

— Здорово пена идет, — кивает на переднюю линию обороны водитель Ключников, — хватило бы ее только. Очаг нешуточный.

В каждом пожаре бывают ситуации, не предусмотренные уставом. Но без пены на этом пожаре можно только обороняться. Поскольку она, расплазаясь по кипящей поверхности, перекрывает доступ воздуха. Водой же тушить нефтепродукты — значит распалить пожар. А тут еще один за другим остальные три резервуара взорвались. Надо бороться. Вместе с рабочими опять строим из песка редуты. Работа тяжелая, неблагодарная. В лучшем случае она сублим «ничью». Перестаю узнавать своих ребят, настолько перепачканы их лица. С удивлением замечаю, что сгущаются сумерки, а ведь по вызову мы выехали ровно в одиннадцать часов. Слава богу ветер поутих. Метр за метром отвоевываем у огня обожженную, черную землю. Людей не хватает, приходим друг другу на помощь. Наверное, поэтому время летит так незаметно. Силы уже на исходе. Двигаюсь как в тумане, машинально.

Огонь заметно ослабел. Ребята двигаются как тени, еле переставляют ноги. Подвезли питание. Да, теперь можно и перекусить, но еда в горло не лезет. Ломоть хлеба насквозь пропитался запахом керосина и гари, во рту ощущаю прогорклость. Звучит сигнал отбоя. На сегодня все. Смотрю на циферблат — три часа. Кое-как собрали оставшееся нетронутым снаряжение. Побросали прямо в кабину. В кабине, привалившись к косяку дверцы, начинаю дремать, сквозь сонную одурь слышу за спиной голос Саши Мозгового:

— ...Да, странно, как это меня вторым выбросом не накрыло? Повезло.

— Что и говорить, повезло, — соглашается безразличным голосом Ключников, и они замолкают. Что ж, все ясно без слов, сегодня «везло» не только одному Мозговому.

Перечитывал Гиляровского. Отчаянные все-таки ребята были — московские пожарные. Ни техники, ни тактики, как говорят футболисты, а поди ж ты, браво защищали деревянную первопрестольную от огня. Но не это удивило. Поразились взаимоотношениям начальства и нижних чинов. По идее так и должно быть: ведь царские времена. Но с другой стороны, перед огнем то все равны, как на подводной лодке. Нужно, чтобы плечом к плечу, а тут брандмайор сдает своих парней театру внаем в качестве... статистов. И мчался они, бедные, кто в чем с подмошкой на пожар. Одетые чертями, выкрашенные неграми. Можно ли горше наплевать в душу? И на чем был у них «обоснован» принцип героизма? Лихость? Ей грош цена в настоящей переделке. Деньги? Ну, это стимул до первого пожара. Любовь к людям и городу? Одного этого все же недостаточно. Словом, здорово «дядя Гиляй» описал наших предшественников, но их душа для меня потемки.

Чего бы мы все стоили без «чувства локтя»?

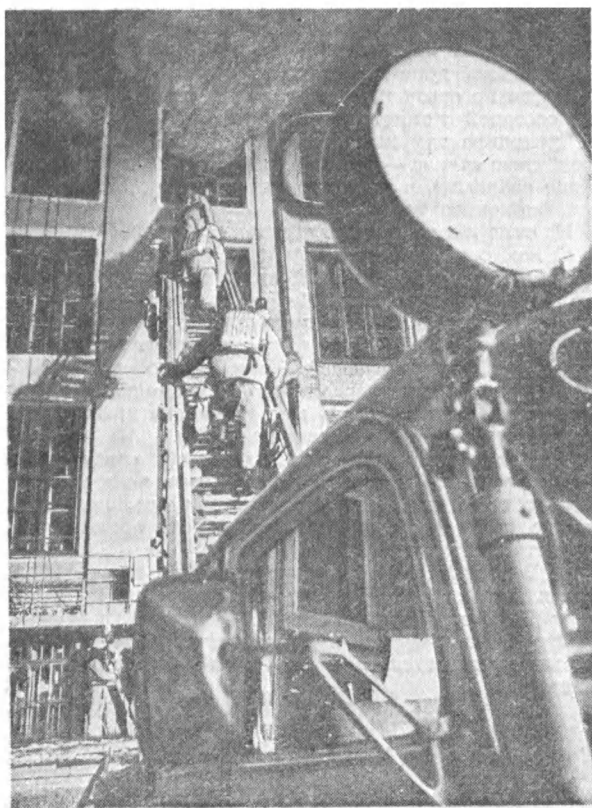
Зуммер, тревога! Едва втиснулся в робу, а диспетчер принимает новый вызов. Будет жаркий день. Ну, мы-то поехали. Добрались быстро. Вот и нужный



Отличные пожарные (слева направо) ефрейтор Юрий Ретинский, рядовой Валерий Лисицын, старший сержант Михаил Щаницин, рядовой Михаил Коровин, ефрейтор Владимир Рабусов, прапорщик Николай Сурыгин.

Диспетчеры службы «01». Слева направо: Ольга Левкова, Надежда Скотникова, Ольга Голдина и Галина Ершова.

Обычная работа пожарных. Но в рапортах ее не зря именуют «боевая работа».



дом. Дым чернеющий сочится со второго этажа. А запах, не приведи господь, как говорят. На что пластмасса едко дымит, а здесь кого хочешь стошит. Натягиваем противогазы. Уф-ф... Жильцы добро выносят на двор. Суетятся, толкаются... Впрочем, сейчас не до наблюдений. Вперед и вверх, как поет-ся. Идем, спотыкаемся о тумбочки, табуретки.

Наконец продираюсь к двери. От первого же удара она валится на пол. На кухне что-то оглушительно трещит. Этим «что-то» оказывается полупрогоревшая кастрюля с обуглившимися костями. Вот тебе и на!

Возвращаемся во двор. Подбегают жильцы, женщины в слезах... Успокаиваю население.

Ребята по радию уже связались с диспетчером. Надо отправляться на подмогу к группе, которая выехала из части после нас. Тронулись. Подставляю лицо потокам воздуха, врывающимся через полуоткрытое окно. Город вовсю зеленеет. Никак не могу «поймать» момент, когда голые тополя и клены вдруг превращаются в кудрявых красавцев. Сколько лет слежу, и все никак не удается. И вот неожиданно, как сегодня, например, замечаешь: да ведь лето уже наступило.

Сворачиваем в переулок, и в светлую картину народившегося июня врываются черные тона. Снова дым. Вот уж поистине нет пожара без дыма. Настолько привыкаешь к нему, что он не кажется страшным, другое дело запах... Тормозим.

Из горящего подвала выбегает Николай Теребилов, наш начальник караула. Кричит мне:

— Давай пену! — И, показывая в сторону раскрытой двери, объясняет: — Там на полу пластмассовое покрытие вспыхнуло...

Эти сведения воспринимаем на ходу. «Раскатываемся» как можно скорее — с пластмассой шутки плохи.

Целых три часа работали в подвале. Потом вылезли наверх чумазые как черти. Работали впотьмах, то и дело пускали воду друг на друга, а на мокрое гарь так и липнет. В таком-то виде, пугая прохожих, отправились восвояси. И генерал и рядовой, как поется в песне.

По-моему, очень здорово, когда знаешь, что пятеро парней ценят твою жизнь не меньше своей. Вообще объединяет нас не только служба. Вместе проводим свободное время. На футбол, спектакли (если посчастливится достать билеты) ходим в полном составе. Любим большое общество, музыку, цветы. Жадно тянемся к прекрасному. Может быть, это звучит банально. Может быть. Но мне, например, просто необходимо чувствовать биение пульса жизни потому, что при встрече с огнем надо знать, во имя чего рискуешь. Риск должен быть не бесшабашным, а осозанным. Мы так считаем. Я часто говорю «мы», поскольку отделить себя от ребят не могу...

«Дома» нас ждет один встревоженный диспетчер. Новенький, волнуется. Он только принял очередной вызов. Командир смотрит на нас.

На выезд! И снова мелькают улицы, дома... Уставший мозг вяло фиксирует наблюдения. Улицы — дома, улицы — дома... Наконец добираемся к месту вызова, на самый край города. Однако никаких признаков пожара здесь нет. Вызвали дворника — тот недоуменно пожал плечами. Так, все ясно, ложный вызов. Какой-то молодежь решил проверить пожарников. Снял трубку и вызвал машину — «чтобы не спали».

Раньше в подобных случаях я кипятился, а теперь недоумеваю: как же так, ведь мы к людям с открытым сердцем... Да, появление пожарного в чужой

квартире радости у хозяев не вызывает. Мы словно вестники несчастья. Потерпевшие, выражаясь языком протокола, иной раз при встрече даже отворачиваются. Обидно, конечно, но и понять их можно. Вообще, я всегда стараюсь понять, чтобы никакое темное чувство не мешало в работе. Наше дело спасать людей невзирая на их личные качества, спасать даже с риском для собственной жизни...

Впрочем, сегодня мне не до размышлений. Устал. Откидываюсь на сиденье, пытаюсь хоть немного вздремнуть...

Кто-то из наших «стариков» рассказывал мне о войне. Весь разговор забылся, но память зафиксировала только такую деталь. Дескать, танкисты в горящих машинах погибали иногда и по своей вине. Еще не поздно было открыть люк и выбраться из подбитого танка, но члены экипажа вдруг начинали искать фляжку с водой. А пока еще отстегнешь ее от пояса... Тут-то огонь и настигал их. Говорят, что и предупреждали на этот счет молодых танкистов, но все одно: многих из них находили на поле боя в характерных позах — тело устремлено к спасительному люку, а рука тянется вниз к фляге.

...По вызову выехали поздним вечером. На улице было очень зябко. Ветер. Роба задубела и словно колом давила в спину и бока. Осень для нас сплошное неудобство. Даже дожди перестали помогать...

Пожар возник где-то в районе магазина «Подарки». Добрались моментально. У подъезда суетится милиционер. Волнуется, кричит, а лицо хорошее, чистое, и глаза молодые-молодые. Из подъезда дым валит. Ключников интересуется, доставать ли противогаз. Я машу рукой, ну его к лешему, «хобот». Работа, судя по всему, будет ювелирная. Да и «очки» еще с холода запотеют, ничего не увидишь. Почти ползком преодолеваем лестницу. Тащим на себе ствол «первой помощи». Дверь «на пожар» наконец-то отыскали. Стучим — ни гугу. Пришлось ломать. Из спальни доносится женский крик: «Ваня! Воры!» Хозяева не сразу понимают, зачем мы здесь. Но вот из соседней комнаты «подсыпало» порядочно дыму, и женщина тут же теряет сознание. Слышен звон разбитого стекла — это ребята на трехколенной лестнице забрались в квартиру через окно. Действительно, форменный налет!

Из окна же спускаем вниз потерпевших. Пока первый номер и начальник караула тушат горящий пол, я ищущу по углам ребенка. Я сразу понял, что он где-то здесь должен быть. Не от жильцов — у мужчины тоже отнялся язык, а по игрушкам, которые стояли на тумбочке. Через пять минут выудил из-под кровати двух малышей — совершенно перепуганных, но живых и невредимых. Квартиру уже спасли без меня, однако огонь перескочил на этаж выше. Детей по «трехколенке» снес на землю.

Тут заработали все стволы, и пламя сразу сдало свои позиции. Замечаю, что во дворе по-прежнему суетится милиционер. Он, сразу видать, не сидел сложа руки, форму, небось, две недели потом будет чистить. Устало улыбается.

— Все, ребята, — он вытирает пот со лба, — вымотался как собака. Надо идти в отделение передохнуть. Ничего себе дежурство...

Что ж, дежурство как дежурство. Оно вообще только начинается. Как знать, что еще нас ждет впереди...



НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

☆☆☆

Чумаза, обтрепана и весела,
Рассыпалась рота у края села.

Автобусов ждут и негромко поют
Шестнадцать «убитых» в недавнем бою.

Сидят, обметая ромашковый сор,
И съемкой доволен седой режиссер.

Сбылось. Отразило, как тучу в пруду,
Большое искусство большую беду.

На улице пусто, от пыли бело —
Живет сенокосом степное село.

В избу постучался, плечист и усат,
Актер, а сейчас, по работе, — солдат.

И вышла старуха и села без сил,
Когда он устало воды попросил.

☆☆☆

Врыл старик скамейку у крыльца,
Болен он и тихо ждет конца.

Вот звезда упала за село,
Чиркнула, как спичка о стекло.

Сквозь гармонь девичий голосок,
Тоненький, как будто волосок.

Налетевший ветерок принес
Волоконцем дым от папирос.

Не поймет никто издавека
Медленные думы старика.

На земле черемуховый цвет,
Папиросный дым, и смерти нет.

☆☆☆

Вдруг ослепит на повороте
Ненастный льдистый свет небес.
Как много странного в природе!
Как смотрит в душу этот лес!

И снега нет, но есть творожный
Тревожный запах юных зим,
Как будто в колее дорожной
Лежит он, хрупок и незрим.

И ветру с торопливой речью
Вдруг удастся донести
Печаль почти что человеческую,
Свое короткое «прости».

И снова (было не однажды),
Когда родна земле тоска,
Я вдруг ищу, ищу в пейзаже
Недостающего мазка.

С годами сердце не умнеет:
Смотрю, смотрю в простор полей,
Где, объясняя все, темнеет
Фигурка матери моей.

☆☆☆

Надо мной в ветвях синица цвиркнула,
Вылетела, села на рогозину,
Словно бы рассчитанное циркулем
Подплыло к ногам лесное озеро.

Крохотное, правильное, странное,
По бокам осока заржавевшая,
А вокруг извилинами рваными
Два оврага — тайны леса лешьего.

И бугор, задымленный малинником,
И еще ракитник над низинами.
Я — к отцу, сияя именинником,
Он из чащи выбрался с корзиною.

И — глаза печальные и строгие,
И скользят по складкам пальцы нервные.
Скупое объясняет геологию.
Не было озер до сорок первого.

☆☆☆

Рухнул на липы пролетный ливень,
Выпал на землю уже медовым.
Раньше июль назывался «липень» —
Крепко любили и мед и слово.

Пчелы намокшие сыпанули,
Солнце их высушило в полете,
Чтоб не остаться при ложке дегтя,
Не прозевайте свои июли.

Сколько их выпадет, невозвратимых —
Знает ли кто! Но пока они делят,
Не оставляйте губы любимых:
Пчелы обманутся — и слетятся.

ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ...

Снежная пыль, взвешиваясь лопастями Ми-8, оседала на лицах, слепила, но не смогла помешать нам четверым, впервые попавшим на Толбачинское извержение в сто двадцать третий «день творения», заворуженно уставиться на вулкан. Слов не было...

Над срезанной вершиной ново-рожденного конуса то и дело взлетал черно-огненный плюмаж. Клуб пепла уходил в небо, в грозовой облачный столб, а бомбы потоками стынущих искр оседали на склонах. Рваный, неровный ритм утробных ударов по странной логике восприятия ощущался космическим, неземным... Земными были вертолет, беспокойство летчиков по поводу короткого ноябрьского дня, земной была необходимость срочно разгружать ящики, тюки, прочий груз. Мы торопливо оттащивали багаж от вертолета, а что помягче, просто скидывали под уклон, в неглубокую котловину, где, в опасении циклонических ветров, стояли палатки и строился дом... Зима опередила, как и предполагается, предзимние приготовления, и те, кого мы должны были сменить на регулярных наблюдениях, последние несколько дней занимались не столько вулканом (благо, тот не баловал разнообразием), сколько строительством.

Мы, соответственно ритуалу, постреляли вслед быстро затихшей в небе керосиновой стрекозе и спясть взялись за груз, перетаскивая его вниз, к дощатому односкатному сараю, где нам предстояло жить.

С нами остался пока весь состав предшествовавшей смены — молодой геолог Саня Овсянников, специализирующийся по вулканическому пеплам, и молодой географ Андрей Ивансв, сотрудник гляциологической группы. Вертолет должен был забрать их завтра, доставив заодно дополнительный пиломатериал.

Стараясь не откидывать больше необходимого заменяющий дверь брезент, мы языко проскользнули в жилище. Комья смерзшегося снега на черном, шлаковом песке пола и растянутая внутри палатка, где находилась печь, говорили сами за себя.

— Крышу сегодня настелили, — подтвердили аборигены.

Теперь нас, однако, стало шестеро, и палаткой обойтись было нельзя. Еще час дружной, слаженной работы — и вот расстелены



АЛЕКСЕЙ ЦЮРУПА,

сотрудник Института
вулканологии
Дальневосточного
научного центра
Академии наук СССР
в Петропавловске-
Камчатском.

ТОЛБАЧИК. ЗИМНЯЯ ВАХТА

Рисунки
Л. КУЗЬМОВА



на брезентах спальные мешки, стоят походный стол, табуретки и ящики, светится красным боком железная печь. Благостно и уютно! Кипит варево из макарон, тушенки и консервированных помидоров. Нарезан широкими кольцами лук и щедрыми ломтями хлеб. Зажжены все лампы и, чтобы было светлее, еще две свечи. Где разводящий, хозяева? Все блестит, как в лучших домах! Ну, началь- етк командуй!

— Со свиданием, мужики!

ПОСЛЕДНИЕ КИЛОМЕТРЫ

Поселок Козыревск, куда засветло, по строгим авиационным правилам, спешил вертолет, — в двадцати минутах летного времени. Значит, кладем на утреннюю погрузку час, от силы — два... у нас его можно ждать уже часам к одиннадцати. Мораль: выход в маршрут, точнее на рекогносцировку, на завтра складывать нельзя. Товарищам предстояло показать нам тропу, подходы к вулкану, неутомимо плюющемуся огнем километрах в двух от домика, подъем на лавы, пункты наблюдений. И, конечно, то, чему никакая теория до конца научить не может — особенностям безопасного поведения под боком у горячего соседа... Ночью? К сожалению, по ходу дела нам предстояло посещать вулкан и ночью, для ночных съемок.

Ватники, рукавицы, защитные строительные каски поверх парашютных шлемов — неременного предмета снаряжения сотрудников Института вулканологии. Фонари, все, какие есть, включая «летучую мышь». На ноги — валенки на резиновой подметке. В руки — палки, молотки на длинных рукоятках. Пошли!

Первый раз любая дорога длиннее... Но никогда позже, в темноте или на свету, под грузом или нелегке, путь от домика до начала свежих лавовых потоков не казался и вполнину таким длинным и долгим, как в эту первую ночь. В сентябре место лагеря у Южного конуса — четвертого (а по другой статистике, учитывающей мелкие, исчезнувшие в ходе извержения конуски, — восьмого) из новых Толбачинских вулканов 1975 года, было продиктовано не только и не столько соображениями безопасности, сколько наличием воды. Вплотную к посадочному пяткачку — плоскому бугру из громадных плит старой лавы, подошел край широкого провала — свыше ста метров в поперечнике. Во всей

окрые озерко на дне провала было единственным известным источником воды в то еще бесснежное время. Во все стороны простирались старые лавовые поля: сплошные страницы из монографии по вулканологии. Гладкие лавы — скопища толстых плоских глыб, уложенных черепитчатыми куполами или вздыбленных непременными горами. Волнистые лавы с бесчисленными пузырями и складками, тонкие стенки которых могли выдержать тяжесть человека, а могли и провалиться, обнажив режущие края. Шлаковые лавы поверхность которых покрыта корявыми комками величиной с яйцо, кулак или арбуз. Между комками шлака ногу поставить негде, а сам комок, свободно лежащий или хрупко приваренный к лавовому основанию, того и гляди поедет неизвестно в какую сторону... Редкие тоненькие листенницы и березки да куртины кедрового стланика... Незря топографы придумали для таких мест обозначение: «Передвижение пешком затруднено...»

Понятно, что тропа на вулкан виляла как бог на душу положит, пробираясь с глыбы на глыбу, обходя уступы и навалы, извиваясь между «живыми изгородами» кедров и перешагивая зияющие трещины. Снег, накопившийся с начала октября, не столько зарывал препятствия, сколько замаскировал их. Его искристая поверхность высвечивалась огненными фонтанами, меркла и снова светлела. Видны были мельчайшие тени, но не было никакой возможности определять расстояния и масштабы. Казавшийся грозный далекий увал превращался в глыбу, стоящую на расстоянии в двух метрах от тебя. Маленький снежный холмик, который, думалось, и перешагивать-то нечего, отодвигался и рос; рябь на его поверхности превращалась в мощные заструты, в основании которых обнаруживались черные трещины, и тропа уходила вправо или влево, огибая лавовый купол... Мы шли след в след, поджидая отстающих и сигнализируя друг другу фонариками, а сердце новичка робело: а вдруг пурга, подкрадывающаяся так неожиданно? Что тог-

да? Как мы найдем дом, спрятавшийся в своем убежище-котловине, среди обманчивого, неземного ландшафта? Днем издали был виден шест с красным флажком на высшей точке глыбового вала, обрамляющего впадину с озером. А ночью?

Ночью оставался неугасимый маяк вулкана, усиливающееся буханье взрывов. Где-то там, на краю свежего лавового поля, находилась подбаза, о которой в теплых словах говорили товарищи: там в любую погоду можно было отсидеться, стелжаться, даже поспать... Шли мы, намереваясь попасть вначале именно туда.

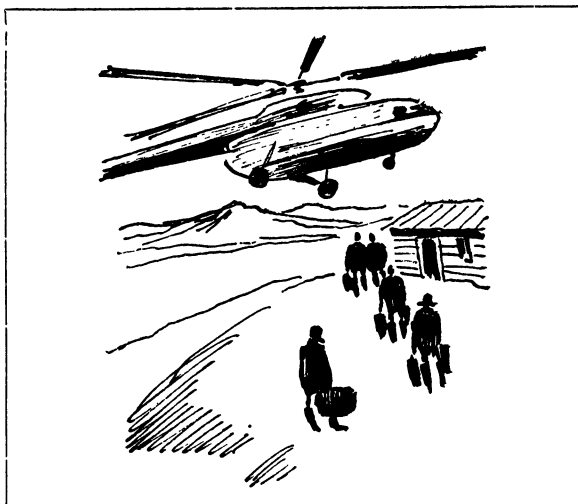
Как ни старались мы двигаться в волчьей манере, каждый третий-четвертый шаг завершался снежной ванной. Снег, постепенно уплотнявшийся под весом впереди идущих, часто не выдерживал тяжести очередного «клиента», и тот по пояс рушился в раскрывшуюся яму. Следующий, естественно, шагал в сторону, по целине — и проваливался по грудь... Подлинная цена нашему трехчасовому ковырянию в снежной мешанине мне стала ясна спустя две недели, когда мы прошли это расстояние с теодолитом и рейкой и я вывел в журнале полигонометрии итоговую величину: 1680 метров по прямой от домика до пресловутой «подбазы на потоке».

А сейчас, в первый день, ржаво-черная крутая насыпь лавового фронта открылась за полночь перед нами как дом обетованный, убежище, цель жизни на ближайшем ее отрезке... Саня Овсянников без слов пошел зигзагом по этой живой мелкокомковатой осыпи, поднимаясь к высокой бровке, где виднелись корявые глыбы и всплывали в морозном воздухе зарницы вулкана, теперь уже совсем близкого, но невидимого ступицы лавового потока.

Шлак сыпался и скрипел. Поднимались долго (как потом показало теодолит, всего на 8 метров!) и наконец вышли на поверхность потока.

Вулкан стоял уже не перед нами, а над нами. Почва заметно вздрагивала, отзываясь на стре-





мительный взлет роев ослепительно раскаленных бомб. Через десятую секунду бомбы с дробным шелканьем обрушивались на склоны покрытого затухающими огоньками конуса. Грохот очередного взрыва заглушал это шелканье, а в следующие секунды относительного затишья доносились отдельные чмокающие удары последних бомб предыдущего выброса — тех, что улетели выше и дальше других... Сюда, где мы стояли, сгрудившись, бомбы не долетали, но сверху, из черноты, то быстро, то медленно непрерывным редким «снегом» падали частицы волокнистого шлака, серебристого или зеленовато-серого, и тонкие пластинки в блестящей стеклянной оболочке. К вулкану уходила черная с серебристыми полосами и пятнами пустыня... Силуэты отдельных гряд и барханов грозили черными зубьями, белесыми струями пара.

— Отдыхаем! — сказал Саня и показал пример, растянувшись во всю длину в ложбинке между невысокими грядами.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАВА!

Пресловутая «подбаза» представляла собой всего-навсего ближайший к лагерю край широкого и толстого «языка», что излился еще в сентябре, в первые дни жизни Южного конуса. «Язык» этот медленно стыл, с каждым днем покрываясь все более толстым одеялом пепла и шлака, которыми обильно осыпал его вулкан. При любом направлении ветра можно было найти сухую и тихую западинку — лишь бы подальше от газовых струй, фумарол — и спать в свое удовольствие. Стараясь, впрочем, не зарываться. В прямом смысле. В свежевырытой ямке глубиной в ладонь лист бумаги обудливался на глазах, и неспокойно крутящемуся товарищу угрожала опасность если не поджариться самому, то одежду подпалить наверняка! Как-то позже я позволил себе записать впечатления по только что законченному маршруту, лежа животом и локтями на расстеленном ватнике... Бедные пуговицы! Даже из прачечных я ни разу не получил таких пухлых серо-зеленых, рассыпающихся под пальцами шариков вместо блестящей черной пластмассы!

...— Кончай спать! — раздалась команда. — Пошли дальше!

И вот плотной короткой цепочкой, оставив на «подбазе», на вершине каменистого «ропака», маяк — горящую «летучую мышь» и для пущей страховки одного из нас, мы углубились в лабиринт шлаковых гряд. Саня вел нас на юг, обходя конус и одновременно приближаясь к нему, туда, где уже пятидесятые сутки подряд шел основной лавовый поток южного прорыва.

Забегая вперед, скажу, что Южный конус изливал лаву еще 400 дней. К декабрю 1976 года, к концу Большого Толбачинского извержения, только лавы южного прорыва поглотила 35 квадратных километров пустошей, кустарников и лиственничного леса.

Со следами гигантских базальтовых излияний геологи постоянно сталкиваются в земных слоях — и молодых и древнейших из известных. Базальтовые породы играют важную роль в геологических структурах. Многие месторождения железа, титана, никеля, алюминия уверенно привязываются к базальтовому вулканизму, а в последние годы обнаружены весомые улики «ответственности» базальтов по крайней мере за часть месторождений ртути, золота и некоторых других металлов. Все это очень не просто: связи и зависимости, управляющие природными процессами, многоступенчаты и сложны, а исходный материал для их познания, особенно в древних рудных районах, скуден и фрагментарен.

Понятно внимание к тому, как теперь происходят базальтовые — особенно так называемые площадные базальтовые излияния. Площадные излияния базальтов — редкое событие. Последнее такое базальтовое излияние, в 1783 году, обошлось Исландии в 80 процентов поголовья скота, а последующий голод погубил, по различным источникам, от 20 до 50 процентов тогдашнего населения страны. Извержения сходного типа, хотя и менее масштабные, сыздавна досаждают сицилийцам, обитающим у подножия грозной Этны, и населению острова Гавайи, крупнейшего из островов одноименного архипелага. Свирепствуют такие извержения в джунглях и пустынях вдоль цепи великих африканских озер... Пожалуй, все! Поэтому естествен повышенный интерес советских вулканологов и вообще геологов к рекам жидкой базальтовой лавы, которые впервые в известное нам историческое время потекли по территории Советского Союза.

На пути к такой реке мы быстро, несмотря на темноту, прошли «пустыню» сентябрьского «языка» и углубились в область так называемых бортовых валов главного потока. Поперек нашего пути одна за другой поднимались сыпучие островерхние гряды шлака и бомб. Счет высоты шел не на единицы — на десятки метров. Самое неприятное, что гряды эти продолжали жить внутренней жизнью... Там и здесь мелькали змеистые огоньки трещин, все сыпалось и плыло... Позади серпантин первого подъема, второго... Перед вершиной третьего увала произошло то, что показало меру риска и нашего ночного маршрута и вообще хождение по свежим лавовым полям. Лучше было бы попасть сюда днем!

Прыжок в тяжелых валенках, да еще, в сущности, снизу вверх, оказался недостаточным. Противоположный край скромной парящей трещинки, с которого только что сделал шаг вперед Коля Храмов, меня уже не выдержал, рухнул, и я, широко раскинув руки, обними ногами съехал в полыхнувшую оранжевым сиянием пасть широкой расщелины... Секунда оцепенения породила план: откинуться назад, наискось и перекатиться через нижний край расщелины на горячий, но уже безопасный шлак. Реакция моих товарищей, ждавших выше по склону,

была быстрее. Меня схватили за руку, я тут же протянул к ним другую; мгновение — и меня выдернули из пасти дракона наверх. Еще несколько торопливых шагов — край слабо спекшегося шлака продолжал осыпаться, — и все мы на гребне увала.

— Ты цел? — дошло наконец до слов.

Я глубоко дышал, переживая и одновременно приносясь... Паленым вроде не пахло, но уверенности не было: в окружающих вонях и смрадах разобратся было нелегко.

— Крещение состоялось, — изрек кто-то, — долго жить будешь! Покажи-ка ноги!

Великая вещь — валенки! Выяснилось, что они даже не подпалились!

— Ладо, ребята. Спасибо! — обрел наконец речь и я. — А лава-то где?

Лава была перед нами. Под странный шелестящий треск или скрип в 20—30 метрах от нас тек поток. Текла река в ледоход. Лыдинами, трущимися друг о друга, встающими на дыбы, переворачивающимися, были корки на поверхности потока, а водой между лыдинами — лава между плоскими обломками корки, желтая и светло-оранжевая, в глазах темнеющая, распадающаяся на новые остроугольные плиты. А в расширяющихся трещинах — опять свежая, веселая, желто-белая лава... От живого потока нас отделяли полосы таких же корок, только потолще, и уже остывших. Но между этими остывшими корками отсвечивало оранжевым и красным, и шелестящий звук шел не только спереди, но и из-под ног... Истинная ширина потока была куда шире зоны видимого, явного течения.

На этих берегах нам предстояло ежедневно определять важнейший показатель деятельности лавового вулкана — расход лавы, то есть сколько ее проходит в секунду через поперечное сечение потока... Здесь нам предстояло поджидать, чтобы очередной импульс, выплескивающий лаву из недр Земли, захлестнул тонким текучим слоем зыбкие раскаленные берега, и можно было бы отбить, оторвать, зачерпнуть порцию — режимный образец, про который точно известно, что он появился на поверхности планеты такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года... А сейчас страшно было и подумать подойти к зоне видимого движения, и даже стоять приходилось, взбираясь на отдельные остывшие глыбы и бомбы, ибо шлак вокруг жег, а любая мелкая трещина дышала жаром...

Главное на сегодня было сделано. Обрели плоть доселе бестелесные слова инструкций и напутствий. В том числе и те, что советовали остерегаться трещин... Пора было возвращаться к «маяку» и далее в лагерь...

РАБОТА У НАС ТАКАЯ

Наутро мы остались вчетвером. Поначалу пришлось так же, как и предшественникам, совмещать работу на вулкане с окончательным благоустройством жилища. Настелили пол, застеклили окна, навесили дверь. Внутри дома выросли удобные двухъярусные нары, снаружи — пристройка — сени со стеллажами для продуктов и всякого барахла. Над домом, уже через крышу, а не через окно, поднялась труба.

И каждый день, если не мешала пурга, мы навещали нашего «подопечного», наблюдали и записывали, как он себя ведет, отбирали свежие пробы и образцы.

Из такого мощного потока, какой мы наблюдали при первом посещении вулкана, брать образцы было очень трудно. Но вскоре вулкан нам помог.

Подковообразный конус не пожелал больше держать открытыми свои широкие ворота, и лава нашла и пробила обходные пути — туннели под конусом и мощным лаво-шлаковым «пирогом», уже накопившимся у его подполюя.

Вот тогда-то ожили для нас фотографии гавайских лавовых рек — узких, иной раз всего полтора-два метра, ярких, быстрых. При устойчивом поперечном ветре к таким рекам можно было подходить вплотную. Обрезком водопроводной трубы, кузнечными клещами, даже простым молотком можно было таскать комки лавы прямо из стремнины.

Свежая, горячая лава пластична, податлива. Из давня было принято «документально» свидетельствовать, что именно этот образец взят в расплавленном состоянии, загнав внутрь что-нибудь, природе противопоставленное: монету, гвоздь, молоток...

Толбачинское извержение вдохнуло в старую традицию новую жизнь. Жидкая лава, к которой можно



подойти вплотную, оказалась пригодной для изготовления массы различных поделок. В изготовлении таких лавовых поделок главное — быстрота. Лава стынет мгновенно. Вот металлическим крючком из потока вырван шмат полужидкого базальта. Тут же в дело идут всякие железки, консервные банки, бутылки, просто брезентовые рукавицы — и готов круглый колобок, пепельница, цветочный горшок, страшная или забавная маска... С шуткой и дело идет легче!

Лава была для нас главным, но это было еще не все.

Мы брали мелкий пепел.

Пепел можно было стряхнуть с палатки, куда он осел за ночь.

Можно было вырыть яму, шурф в черно-белой слоенке, где пеплопады и снегопады потрудились каждый на свой лад, чтобы окончательно заровнять близ вулкана ропаки старых лавовых полей.



Можно было поставить ловушку-емкость, поверхность которой вымерена до квадратного сантиметра, и оценить скорость накопления пепла, если не вносил поправку ветер, с одинаковой охотой устранивший поземку и из снега и из пепла.

Мы брали пузырчатый шлак.

— У меня к вам... ммм... есть особое поручение, Алексей Игоревич! — низким густым голосом, поглядывая на меня из-под бровей и постукивая пальцами по крышке стола, произнес за несколько дней до нашего вылета на вулкан Евгений Константинович Мархинин, доктор наук, заведующий лабораторией. Я был весь внимание.

— Мы дадим вам ведро... Два эмалированных ведра, — продолжил Евгений Константинович, пытаясь распознать мою реакцию на такое необычное начало. — Лицо мое оставалось благожелательным, но неподвижным. — Ммм... Дадим два ведра, — несколько разочарованно повторил шеф... — С крышками. Дадим полиэтиленовую пленку и дадим... ммм... некоторое количество... ммм... спирта!

Восклицательный знак прозвучал сухо и отчетливо. Снова быстрый взгляд из-под бровей, и на этот раз я, видимо, сплосовал, дрогнул веками, потому что Евгений Константинович заметно повеселел.

— Вы возьмете эти ведра... (пауза), возьмете пленку и протрете их... спиртом! (многозначительная пауза). Затем войдете в зону шлакопада — это совершенно безопасно, только не забывайте про каску — и оставите ведра там.

Евгений Константинович откинулся в кресле и снова поиграл пальцами на столе, пристально всматриваясь то в мои глаза, то в бумаги перед собой.

— А затем... когда в ведрах наберется достаточное количество шлака, вы закроете эти ведра крышками, закроете сверху пленкой, следя, чтобы обработанная спиртом поверхность была обращена внутрь... завернете ведра в оберточную бумагу, тщательно... завяжете потуже... и с первой okazji отошлете нам!

«Нам», «мы» в данном случае относилось как к самому Евгению Константиновичу, так и к его

ссотруднику, опытному химику Николаю Евгеньевичу Подклетнову. Ясно, что речь шла об отборе чистых проб для экспериментов по отысканию высокомолекулярных органических соединений в вулканических прсдуктах.

Бивуляканология — страсть Евгения Константиновича. Он не без оснований считает, что жизнь на Земле появилась в прямой связи с деятельностью вулканов. А раз так, то, кто знает, может быть, она продолжает появляться и теперь?..

Нам были выданы ведра и пленка, правда, заранее протертые пресловутым антисептиком...

...Мы вошли в зону шлакопада, и за 9 часов в каждое из этих ведер набралось изрядно свежего нетронутого человеческими руками вулканического шлака. К счастью, ни в одно из этих ведер не угодили бомбы, которые время от времени залетали и сюда, за 200—300 метров от подножия конуса.

Мы брали и бомбы.

Назывался этот процесс — «откатить бомбу».

Охоту за бомбами нужно было вести с подстраховкой, вдвоем.

Мы бредем по колена в присыпанном шлаком снегу, поглядывая наверх и прислушиваясь к многоголосью извержения. Но вот на фоне этого многоголосья гораздо быстрее, чем вы читаете эти слова, нарастает свист.

— Наша! — кричит Кеша Несмачный, и мы напряженно, готовые стремительно шархануться в сторону, всматриваемся навстречу свисту.

Точка бомбы перемещается в поле зрения сверху вниз, быстро увеличиваясь... Недолет... Еще мгновение — и бомба с сочным чмоканьем, совсем не похожим на глухой удар по плотному шлаку, рушится в снег, разбрызгивая широкую воронку.

Мы подбегаем к месту падения, и каждый принимается за свое дело. Кеша роется в исходящей паром воронке — бомба уже успела вытатыть под собой второе, узкое отверстие, точно соответствующее ее форме и диаметру. Судя по размеру этой «воронки» в воронке», размер бомбы невелик, в самый раз — сантиметров тридцать. И на пробу хватит, и вполне по силам унести в рюкзаке.

Мои обязанности на этот раз сводятся к наблюдению за небом — в случае чего кричать: «Караул!» — чтобы напарник до поры до времени мог спокойно заниматься добычей.

На этот раз обошлось. Кеша двумя молотками вытягивает горячую бомбу наверх, закатывает ее на лоскут асбестовой ткани, и мы быстро тащим добычу подальше от зоны бомбопада, чтобы дать ей спокойно остыть. Крупная бомба будет остывать до завтра, и надо, чтобы ее можно было легко найти и опознать. Бомбы, падение которых нами не наблюдалось, в качестве режимных не годятся: кто знает, сколько они уже валяются в снегу?

Идем домой. За спиной рюкзак. В рюкзаке завернутые в тот же асбест бомба, кусок свежей лавы. Конечно, они уже порядком остыли. Но велики запасы жара внутри недавно жидкого камня: спину начинает прогревать...

Товарищи по несчастью, братья по радикулиту — профессиональной болезни охотников, геологов и лесорубов! Нет лучше лекарства, чем поносить за спиной наполненный горячей лавой рюкзак! Одна беда: когда вернешь в институтский склад на списание обугленные тряпки, как доказать, что рюкзак погиб не по халатности, а в силу производственной необходимости и специфики производства?

ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО!

В недрах Земли, где температура далеко за тысячу градусов, а давление в десятки и сотни раз больше, чем на поверхности, зреет магма. Что это такое, в точности не знает никто. Экспериментаторы бьются в попытках совместить в своих установках условия, существующие там, глубоко под нами. Одним удается получить звездные температуры. Другим — сжать вещество гораздо сильнее, чем это нужно было для синтеза алмазов. Третьи сочетают и то и другое, но в крохотном наперстке: тут не до физических свойств; определить бы, что за минералы получились. И, наконец, сложновато еще для лабораторий воссоздать всю полноту химического состава магмы. Кстати, не очень-то известно, что именно надо воссоздавать. То, что попадает нам в руки — образовавшиеся при кристаллизации магмы горные породы, — это уже, так сказать, остаток. А чего именно не хватает, что ускользнуло, изошло паром и рудоносными флюидами, остается гадать.

Скажем прямо: гадают при этом не на кофейной гуще и даже не на модных ныне «биоритмических гороскопах», а, например, с помощью термодинамического анализа. Этим мощным методом удается «нагадать» очень важные и достоверные выводы, лежащие за пределами прямых возможностей лабораторного эксперимента. Главный из этих выводов, подтверждающий давние догадки, относится к колоссальной растворяющей способности магмы. В магме содержатся громадные количества водяного пара, других газов, множество соединений различных металлов. Оттуда, из магмы, в верхние слои земной коры поднимаются рудообразующие растворы, горячие паровые и водяные струи. Магматический очаг живет, растет, что-то теряет, что-то накапливает. Но вот началось извержение. Открылся клапан, из жерла вулкана вырвался газ, появилась лава — так принято называть магму, появившуюся на поверхности Земли. А процессы в глубине прекратились? Ничего подобного!

Просто аналогия. На плите в громадном баке кипит суп. Повар разливает варего по тарелкам, по бака с огня не снимает. И уловивник у повара короткий: не только до дна — до середины не достает... Крутится пар, бурлит жидкость, разваривается крупа... Будет ли последняя тарелка этого супа похожа на первую? Очень мало. Точно так же и процессы в магматическом очаге не прекращаются оттого, что началось извержение, да и само извержение лишь «снимает пену» с исполинского «супа». А что делается в середине «котла» или у его дна?

Сегодня течет уже не та лава, что текла вчера. Последовательные порции лавы соответствуют последовательным состояниям магмы в очаге и разным частям самого очага. Чем дольше длится извержение, тем больше надежда, что эти различия удастся заметить, оценить. Поэтому очень важно изучать серии образцов, про которые известно, когда какой из них появился на поверхности в виде расплава и застыл — коркой на потоке, вулканической бомбой или пригоршней стекланного шлака... Такие образцы, день рождения которых нам известен, мы и называем датированными, или режимными образцами.

Материалы, полученные при изучении режимных образцов, вместе с режимными данными о силе внутрикратерных взрывов, о количестве и составе газов, о сейсмических колебаниях, электрических полях и многих других явлениях дают ключ к изучению процессов, недоступных прямым наблюдениям.

ям, — процессов, присходящих в магматическом очаге, где вызревают будущие рудные месторождения.

Вот и собираем мы бомбы, пепел и лаву день за днем, по мере того, как вулкан выносит их на поверхность. И ничего нельзя отложить «на завтра». Завтра будет другое, а «вчера» останется погребенным под свежими накоплениями или просто неотличимым от них...

Встречаются, однако, «сверхтрезвые» взгляды: даешь руду! Какое нам и вам дело до месторождений, которым еще только суждено возникнуть через миллионы лет? Бросьте поиски «чистого знания»!

Этим недалеким горе-философам с афористичной краткостью ответил 80 лет назад физик Больцман, имя которого известно каждому превосходшему школьный курс физики: нет ничего более полезного практически, чем теория.

Нет бесполезного знания. Причина недоумения в том, что теория нередко приносит экономический эффект не сразу, а спустя годы, и руками других людей, а иногда и других поколений... Хибинский горняк добывает камень плодородия — апатит, но сам не выращивает хлеб. Геолог, который изучает структуру Хибинских гор (кстати, глубинных частей древнего вулкана), сам не добывает апатитовую руду, он ищет эту руду для горняка. Исследователь-вулканолог сам не ищет руд (хотя иногда находит их). Он расшифровывает закономерности строения вулканов, вулканического процесса и возникновения вулканических горных пород. По этим рецептам уже другие геологи будут поиски полезных ископаемых. И это лишь один из путей, по которому странный труд вулканолога, далекий от плуга и станка, штурвала и классной доски, близится к кипилю народного хозяйства.

Но есть и другие пути, связанные с энергетикой, с предупреждением и предотвращением ущерба, которым грозят вулканы, с промышленностью строительных материалов, с рыбным хозяйством — с самыми несжиданными вещами... Так что не зря мы в мирное время идем под бомбы, встречаем газзовые атаки и прожигаем до собственной кожи брезент рукавиц...

Жмут тесные рамки очерка. О Толбачинском извержении можно написать не одну книгу. И, конечно, ждут своего летописца представители других профессий, составляющих емкое понятие «вулканолог»: геофизики, геохимики, гидрогеологи, геодезисты, просто физики, просто химики... На Толбачинке они впервые в истории вулканологии дружно и плодотворно осуществили комплексное изучение одного извержения. Но мысленно пребывая на этом извержении вы, надеюсь, смогли уже и тесер...



МАРИНА ГАРФ

горы: женщина и мужчина...

Недавно французский альпинистский журнал «Ля монтань» опубликовал статью одной из сильнейших альпинисток Франции, Кристины Коломбель, в которой она размышляет о специфике женского альпинизма и, в частности, выражает свое несогласие со взглядами другой известной альпинистки, Симоны Бадье, отрицающей превосходство мужчин (вообще и в альпинизме в частности) и призывающей женщин-альпинисток смелее ходить по маршрутам высшей категории трудности. Кристина Коломбель пишет: «Такие вопросы, как «может ли женщина лидировать на сложных восхождениях» и «намного ли достижения женщин уступают достижениям мужчин», меня абсолютно не интересуют. Они проистекают из примитивного феминизма, стремящегося во что бы то ни стало утвердить равенство женщин с мужчинами, а это, в свою очередь, ведет к заявлениям типа: «У нас мускулы больше, значит, мы самые сильные». Ну и что из этого?»

В самом деле, что? Альпинизм ведь не тяжелая атлетика, и одной физической силой здесь ничего не решишь. Скорее наоборот. Наиболее сильные альпинисты, как правило, не особенно высокого роста, худощавы и внешне физической мощью не поражают. Это же относится и к женщинам-альпинисткам.

Однако физическая сила в альпинизме необходима, и немалая. Начать хотя бы с рюкзака. По мнению Кристины Коломбель, столь охотно повторяемое мужчинами-альпинистами утверждение, что «женщины не носят», абсолютно не соответствует действительности. Она ссылается на опыт американских альпинистов, которые в обязательном порядке взвешивают все рюкзаки. И что же? Обычно разница

в весе мужских и женских рюкзаков не превышает одного-двух килограммов. При этом Кристина Коломбель считает нужным заметить, что сами женщины обычно в два раза легче, а едят в три раза меньше, чем мужчины. За справедливость последнего утверждения не ручаюсь, но в основном она права.

В самом начале моих занятий альпинизмом я, помню, в глубине души обижалась, когда мне, единственной девушке в группе, предлагалась в качестве общественного груза палатка или — того хуже — примус с канистрой. Когда в рюкзаке примус, невыносимо несет бензином от всех личных вещей, а если ты несешь палатку, то при сворачивании бивуака каждый раз приходится ждать, пока все спокойно сложат свои рюкзаки и лишь тогда, стоя на пронизывающем ветру и предварительно выгрузив собственные вещи прямо на снег, начинаешь поспешно снимать палатку и пихать ее, мокрую или обледенелую, к себе в рюкзак. Но со временем я поняла, что в альпинизме каждый должен делать максимум того, что может...

Однако нести тяжелый рюкзак — это еще далеко не все, а вернее, это еще очень мало. Если отбросить «индустриальный» альпинизм — с созданием искусственных точек опоры, который, безусловно, рассчитан только на мужчин, а иметь в виду такой альпинизм, каким он был еще в прошлом веке, то есть ограничивающийся «свободным лазаньем», то теоретически женщины имеют равные шансы с мужчинами. Но только теоретически. На практике же не часто видишь, чтобы женщина, например, шла первой на отвесной скальной стене.

На снимке: Итало-французская группа перед восхождением на пик Леснина. Крайняя справа — Марина Гарф.



Да и рядовая работа на маршруте подчас превращается в явно не женское дело. Например, во время нашего первовосхождения на Дых-тау с юга, когда мы поднимались по крутому ледовому кулуару, я шла последней, и моя обязанность была выбивать крючья. На первый взгляд это нетрудная работа: крючья были абалаковские, и надо было лишь вывинчивать их из льда, используя ледоруб как гаечный ключ. На деле все выглядело иначе. От многократного употребления головки крючьев расплющились и уже не пролезали в отверстие лопатки ледоруба. Крючья невозможно было вывернуть, а надо было каждый крюк вырубать из льда. Конечно, где-нибудь на ровном льду ледника, демонстрируя новичкам ледовую технику, я бы такой крюк вырубала в два счета. Но тогда на Дых-тау я хватилась с ними горя. Во-первых, это было уже близко к вершинной башне, значит, что-нибудь под пять тысяч метров, и высота давала себя знать. Во-вторых, рубить приходилось в очень неудобной позе, поскольку кулуар там крутой. В-третьих, мы все уже порядком ослабели от холода и голода: была сильная непогода, наше восхождение затянулось, а с едой у нас было плохо. Словом, я колола там этот лед уже на пределе (если не за пределом) своих физических сил.

Встречаются в альпинизме и другие ситуации, в которых женщинам трудно тягаться с мужчинами. Например, приготовление еды на трудных восхождениях, особенно на высоте, является сугубо мужским занятием. Ни разу я не наблюдала, чтобы этим предлагали заняться женщине. И не потому, что остальные члены группы — представители сильного пола — так галантны, а потому, что примус один, и если игра в равноправие пойдет слишком далеко, можно остаться и без еды и без примуса.

Но если говорить серьезно, эта работа очень тяжелая и временами граничит с самопожертвованием. Я, конечно, не имею в виду случаи, когда примус взрывается в руках, а просто хочу сказать, что не так-то легко встать в 3—4 часа утра где-нибудь на высоте пяти-шести тысяч метров, где и дышать-то нечем, и воевать с примусом, когда остальные члены группы могут еще в течение часа дремать в теплых спальных мешках...

Когда говорят и пишут об альпинистках, естественно встает вопрос о женских альпинистских группах. Хотя, как показывает опыт, такие группы могут существовать, мне они всегда казались надуманными и искусственными. Мне пришлось однажды идти в чисто женской группе, но к этому нас вынудили обстоятельства. Это было на Памире, в экспедиции, во время тяжелейших спасательных работ. В базовом лагере кончилось продовольствие, и нам, трем двадцатилетним девушкам, поручили принести продукты из заброски — столько, сколько сможем. С рюкзаками общим весом в сто десять килограммов мы прошли довольно сложный ледопад, но не помню, чтобы мы испытали при этом какую-то особую радость оттого, что среди нас не было ни одного мужчины. Больше в женских группах мне ходить не приходилось, и никогда я к этому не стремилась, хотя могу назвать альпинисток, с которыми в случае необходимости пошла бы в горы без колебаний.

Однако, как я уже сказала, у меня в этом деле опыт небольшой, и, видимо, гораздо интереснее знать, что думают по этому поводу авторитеты. На мой взгляд, в нашем альпинизме таким безусловным авторитетом является заслуженный мастер спорта Галина Рожалевская, шесть раз поднимавшаяся на семитысячники, руководитель первого успешного восхождения женской группы на семитысячник — пик Егсини Корженевской первая женщина, взойдящая на пик Ревслюци (6974 м). Так вот Галина полага-

ет, что женские группы нужны, поскольку они дают возможность альпинисткам больше думать и работать самостоятельно на маршрутах.

Действительно, далеко не все альпинистки — даже высокого класса — способны самостоятельно выбирать маршрут, оценивать обстановку и принимать решения. У нас почему-то больше внимания обращается на физическую выносливость альпинисток, их умение ходить по скалам и льду и значительно меньше — на умение думать. Я не считаю, что научиться думать в горах можно, только идя в женской группе, но, что этому необходимо учиться, убеждена твердо.

Я прочувствовала это на собственном опыте во время восхождения на пик Ленина с итало-французской группой. Впервые за всю мою альпинистскую жизнь я попала в тот раз в такие обстоятельства, когда надо было принимать решение, а мне не с кем было посоветоваться...

Нас было в группе девять человек — четыре итальянских альпиниста, четыре французских и я. Когда мы пришли на первый бивуак — на высоте 4200 метров, погода резко ухудшилась. Снег падал всю ночь и часть дня, и на очередной бивуак (5200 метров) мы пришли все мокрые. На следующее утро нам предстояло сразу от бивуака подняться по очень крутому склону на гребень, а затем по этому пологому гребню идти до высоты 5600 метров, где ленинградской группой Сани Колчина была открыта снежная пещера.

Погода оказалась еще хуже, чем накануне: шел снег и дул сильный, порывистый ветер. Я поняла, что идти будет очень трудно, и испугалась, что буду отставать. Мысль, что остальным будет не легче, почему-то не пришла мне в голову. Я очень боялась опозориться в этой целиком иностранной группе и, чтобы этого не произошло, наметила гениальную в своей простоте тактику. Я решила, что не пойду вместе со всеми, а, насколько хватит сил, буду стараться держаться впереди — тогда я не окажусь сзади.

И вот, как только мы тронулись в путь, и все пошли зигзагом в естественном для такого крутого подъема медленном темпе, я, работая руками и ногами, полезла прямо в лоб с такой поспешностью, как будто наверху меня за это ждал приз. К концу подъема я совершенно выдохлась и, выйдя на гребень, повалилась на снег, чтобы отдышаться. Однако, увидев, что остальные медленно, но неуклонно приближаются ко мне, я не позволила себе долго отдыхать, а припустилась по гребню к пещере.

Во второй половине этого пути меня догнали Жан Гэ и Лючана Сейманди — единственная женщина в итальянской группе, и дальше мы пошли уже вторем. Жану как-то удавалось более или менее твердо держаться на ногах, но нас с Лючаной прямо-таки тащило ветром, причем поперек гребня. Если в прошлом я не раз чувствовала на скалах, что мне не хватает роста, то тут впервые ощутила, что мне недостает веса. В конце концов мы вторем благополучно достигли пещеры, а затем в течение последующих полутора часов туда по одному подошли и остальные члены нашей группы.

Хотя я предупредила своих спутников, что хозяйка пещеры чуть позже также придет сюда, а потому нам следует позаботиться о ночлеге, измученные тяжелым переходом они не в состоянии были двигаться и так и сидели на рюкзаках до тех пор, пока и в самом деле не пришла группа Колчина. Двум группам в пещере места не было, но Саня Колчин сказал, что рядом есть еще заготовка под пещеру, и вызвался помочь нам ее открыть.

До тех пор мне ни разу в жизни не приходилось ни рыть снежной пещеры, ни жить в ней (что, впрочем, не мешало мне, работая инструктором, обучать

всему этому своих подопечных — на словах, разумеется). Конечно, я и раньше не предполагала, что стены пещеры обиты коврами, но все-таки не ожидала, что в этих стенах так неуютно. Снег — снизу, сверху, со всех сторон, и отовсюду тянет могильным холодом. Наверное, по пещерным стандартам наша пещера была совсем неплоха, но мне она казалась ужасной. Нормальный кашель, обычно появляющийся у всех на высоте, усилился у меня после двухчасового пребывания в пещере до чрезвычайных пределов. И я решила, что если проведу здесь ночь, воспаление легких мне обеспечено.

Разумеется, это была чистейшая мнительность: десятки людей почуют в снежных пещерах и радуются тому, что они внутри, а не снаружи. Но в тот момент я ничего не могла с собой поделать. Я знала, что в пещере у меня будет воспаление легких. Я с тоской думала о сухой, светлой и такой домашней палатке. Постепенно эта мысль стала приобретать конкретную форму. Почему бы нам не переночевать в пустых палатках, заранее установленных другими группами чуть ниже по гребню? Ведь до них каких-нибудь сто метров.

Я поспешила поделиться своей идеей с французами, но им не захотелось терять высоту, хотя бы и небольшую, и на следующий день подниматься сюда же. Кроме того, как мне кажется, их привлекала экзотическая ночевка в снежной пещере. Так или иначе, они отказались спуститься к палаткам, и тогда я решила, что пойду одна. Я сказала об этом руководителю нашей группы Жану Гэ, который, хотя и удивился, но не стал меня отговаривать...

Вопреки моим ожиданиям, ночь в палатке я провела без особого комфорта. Ветер, который с каждым часом усиливался и немного стих только к утру, срывал оттяжки палатки, и мокрая крыша валилась на меня. Нырять в пургу и мрак и всерьез опасаясь, как бы меня не сдуло, я дважды восстанавливала оттяжки, и на третий раз, когда палатку под колыцом стойки просто разорвало, я, осознав свое бессилие, возвратилась в палатку, сгребла в сухой угол все вещи, переложила головой ко входу спальный мешок и наконец часа на два заснула.

Для моих партнеров по восхождению эта ночь оказалась тоже на редкость тяжелой. Я помню, как за два года до этого в свою первую ночевку на шести тысячах я всю ночь мучалась от ужасающей головной боли и лизала мокрую стенку палатки.

Мы тронулись в путь значительно позже и группы Колчина и второй ленинградской группы, которая, как и я, провела ночь в одной из палаток. Один за другим мы начали подъем по крутому склону.

Наконец, мы все собрались на плато, и тут Люча на заявила, что идет вниз. Она объяснила это тем, что боится обморозиться. «Я чувствую», — сказала она, — что если пойду выше, то обязательно обморозжусь». Я вспомнила, как накануне я чувствовала, что у меня будет воспаление легких, и не стала ее отговаривать. С моими предчувствиями дело осталось невыясненным, но опасения Лючаны, как показали дальнейшие события, были не лишены оснований. Вместе с Лючаной ушел вниз Жан Вериз, старший из французских альпинистов. Он не хотел уходить, но у него был очень сильный кашель, и товарищи его уговорили.

Едва мы сошли с плато и вступили на гребень, погода снова стала ухудшаться. Ветер опять усилился, снизилась видимость, но снегопада не было, а только сыпала ледяная крупа. Хотя была только середина дня, мои спутники решили встать на бивуак.

Мы выбрали на гребне подходящую площадку и, прежде чем ставить палатки, принялись сооружать снежный забор для защиты от ветра. Мои партне-

ры лопаткой стали вырезать из снега большие блоки, и тут, к немалому моему огорчению, выяснилось, что от меня никакой пользы нет. Эти парни физически были сильнее меня. На высоте мое преимущество в акклиматизации сгладило эту разницу, а начиная с 5200 метров я видела, что иду легче, чем они. И вот теперь я опять убедилась, что мужчины все-таки сильнее женщины. Я не могла даже приподнять снежные блоки, которые они вырезали.

Весь следующий день занял у нас подъем по гребню, на котором мы ночевали, и к вечеру мы все заметно устали. Мы остановились на бивуак вскоре после того, как дошли до конца гребня, примерно на высоте 6500 метров. С этого места нам была видна палатка одной из ленинградских групп, стоявшая значительно выше. Наш последний бивуак по плану должен был находиться на высоте 6900 метров, то есть еще выше, чем были в этот момент ленинградцы. Таким образом, на следующий день нам предстояла не такая уж тяжелая работа: надо было дойти до высоты 6900 метров и установить там штурмовой лагерь. Мы должны были действовать наверняка — у нас была только одна попытка. На вторую в тех условиях у нас никогда не хватило бы сил, а спускаться для отдыха в лагерь и начинать все сначала не оставалось времени.

Однако на следующее утро меня ждала сокрушительная новость. Хотя мы встали не раньше обычного и, как всегда, не спеша позавтракали (на такой высоте при всем желании никакая спешка невозможна), мои спутники вдруг сказали, что идут на вершину. Не знаю, что на них накатило. До тех пор они скрупулезно выполняли все советы нашего тренера Германа Аграповского, которые он дал нам перед выходом. И вот теперь намеревались нарушить основное, самое главное указание, которое он счел необходимым повторить несколько раз и просил меня при переводе особенно подчеркнуть, что это очень важно. Я поспешила напомнить об этом Жану, который был нашим руководителем, но он не стал меня слушать. «Мы идем на вершину», — вот все, что он ответил. Тогда я обратился к Эцио, руководителю итальянских альпинистов. Он был старше своих товарищей, опытнее их и пользовался у них авторитетом. Но и он не захотел обсуждать этот вопрос.

Французские альпинисты рассовали по карманам свои сине-бело-красные флажки, итальянцы — выпелы своих национальных цветов, и на этом их подготовка к штурму закончилась. От такой неожиданности у меня голова пошла кругом. Я вернулась в палатку и стала лихорадочно искать решение.

За всю мою жизнь в горах я ни разу не шла на вершину без абсолютной уверенности в успехе. Сейчас же я не то что сомневалась, я знала, что идти нельзя — так все ненадежно. Но и не идти я не могла тоже.

Пусть официально я числилась в альпиниаде переводчиком. Сейчас, на высоте семи тысяч метров, это не имело ровно никакого значения. Сейчас я была тем, кем была на самом деле, — мастером спорта и инструктором альпинизма. А это значило, что вся ответственность за все, что может произойти на этом восхождении, на мне. Я не была руководителем группы, а всего лишь рядовым участником. Но рядовым ли? Мой опыт восхождений в высоких горах и в непогоду был намного богаче, чем у любого из этих ребят. Сколько я перевидала подобных энтузиастов, которые, похोдив в Татрах или Альпах, пытались сделать любое кавказское восхождение «в один денек»! Я и сама не раз попадала с ними в холодные ночевки. Разумеется, мы всегда предупреждали зарубежных коллег, что они ошибаются в своих расчетах, но они обычно не соглашались, а мы не

настаивали: в конце концов холодная почевка — не конец света. Но это в невысоких и теплых Кавказских горах, а здесь — на такой высоте и в такую непогоду, — чем это здесь может кончиться?

Я знала, что в лагере и начальник альпиниады А. Г. Овчинников и старший тренер П. П. Буданов не могут не беспокоиться о судьбе итало-французской группы, единственной иностранной группы, которая была в то время наверху. Но мне казалось, что их должна успокаивать мысль, что в группе есть и кто-то из наших альпинистов. И мне стало ясно, что раз уж я не смогла переубедить своих спутников, теперь я должна идти до конца.

Я вспомнила, как Желя Лисков, вместе с которым мы не раз ходили с иностранцами на Кавказе, в подобных случаях неизменно клал в рюкзак спальный мешок, приговаривая: «Пусть чужды, как хотят, а мы хоть живы останемся», — и тоже положила спальный мешок, тем более что мне больше нечего было взять — вымела у меня не было.

Я вылезла из палатки и уже снаружи натянула штурмовку. Но то ли я слишком спешила, то ли чересчур нервничала — «молния» никак не застегивалась. Я дергала ее минут пять, но безрезультатно.

В то время, пока я сидела в палатке и предавалась размышлениям, мои партнеры собирались и по мере готовности уходили. Ничего удивительного в этом не было. В совместных восхождениях с иностранными альпинистами я давно привыкла к свободному «западному стилю» хождения в горах и, не скрою, охотно его приняла. Мне нравилось, что не надо все время ходить по горам строем. Однако сейчас, когда я в своей незастегнутой куртке одиноко стояла возле пустой палатки на высоте почти семь тысяч метров, этот стиль мне нравился меньше. Под пронизывающим ветром, на морозе мне вдруг очень захотелось, чтобы мы шли именно строем. Как мне не хватало в эти минуты кого-нибудь из моих старых товарищей по связке, рядом с которыми меня никогда не покидало чувство надежности и уверенности, что в любой момент я могу рассчитывать на помощь! Но сейчас их рядом не было, и что же, мне тут до вечера стоять?!

Я так рванула замок, что затрещала вся штурмовка. Но «молния» застегнулась. И я отправилась договаривать партнеров.

Склон здесь был некрутой, но мы все шли медленно; все-таки высота уже была порядочная. Впереди просматривалось резкое повышение, как бы небольшая стенка, которая выводила на гребень — тот самый, на котором мы должны были ночевать. И вот на этой стенке я заметила одну из опередивших нас групп. Приглядевшись, я с удивлением поняла, что они не поднимаются, а почему-то спускаются.

Это оказалась группа Колчина. Выяснилось, что накануне непогода помешала им дойти до вершины. В этот день с утра они предприняли было вторую попытку, но когда вышли на гребень, погода показалась им чересчур уж неблагоприятной. «Боймся поморозиться», — так объяснил Саня. Однако один из членов их группы, Игорь Греков, невзирая ни на что, рвался вверх, и теперь Саня спрашивал, не возвращаем ли мы, чтобы Игорь пошел с нами.

Меня такое предложение могло только обрадовать. Я не знала этого маршрута (в прошлый раз я ходила на пик Ленина с другой стороны), а Игорь знал, что в условиях плохой видимости было очень важно.

Когда мы поднялись по стенке и вышли на гребень, я поняла, почему повернули ленинградцы. И ниже по склону была не сухая, но здесь был такой мороз и такой ветер, что дух захватывало. Слова «боймся поморозиться» так и вертелись у меня в голове — в самом деле, ничего другого здесь

нельзя было ожидать. Я вдруг отчетливо поняла, что мне незачем нести с собой спальный мешок: если к ночи мы не будем в палатках, никакой мешок меня не спасет. Я положила его в большую яму и придавила камнями.

В свое время корреспондент «Советского спорта», опубликовавший статью об этой альпиниаде, написал со слов французских альпинистов, что на пути к вершине я «встряхивала каждого, кто потерял надежду на успех».

Все дело в том, что во второй половине пути у меня произошло с моими партнерами решительное объяснение. Когда мы затратили уже слишком много сил и было ясно, что все поставлено на карту, мои спутники посоветовались, и Жан сказал мне, что дорога оказалась слишком длинной и не лучше ли нам отложить штурм на завтра. Вот тут я и высказала им свое мнение об их несерьезном поведении. Я сказала, что о дороге надо было думать перед выходом, а сейчас уже поздно. Сейчас мы пойдем вперед — до тех пор, пока у нас будет резерв времени, позволяющий нам засветло вернуться к палаткам. Если к этому времени мы не будем на вершине, тогда и только тогда мы повернем назад, и это будет конец нашего восхождения потому что мы не можем безнаказанно бродить взад-вперед по семитысячнику в такую непогоду.

Разговор у нас кончился быстро, и с последними словами я пошла в гору. Игорь, который присутствовал при этом, поинтересовался, что у нас происходит. Я объяснила, и он пошел за мной, выразив сожаление, что уже не в силах прокладывать путь. Он слишком много сил затратил накануне, да и в этот день большую часть пути шел первым. Но я не пугалась в помощи: как известно, спортивная злость — наилучший стимулятор, а во мне в этот момент злости было на десятерых, не знаю только, спортивной ли.

Интересно, что во время нашего решительного объяснения я обнаружила, что не умею ругаться по-французски. Я не имею в виду грубые ругательства, а то, что называется «откровенным высказыванием своего мнения». У себя на работе, в Министерстве внешней торговли, мне время от времени приходилось сдавать экзамены по французскому языку. На экзаменах комиссия в основном налегала на коммерческие диалоги — ругаться, естественно, никто не требовал, и вот оказалось, что у меня в этой области пробел. Однако не зря я уверяла начальство, что меня необходимо отпустить в горы работать переводчиком, поскольку это способствует повышению моей квалификации. И на этот раз работа с иностранными альпинистами прошла для меня не без пользы. Борьба со стихией порой вызывает сильные эмоции, и я снискала со всеми сколько-нибудь стоящими крепкими выражениями на французском и итальянском языках и даже — что, как выяснилось, было особенным шиком в горах — на языке басков...

Я остервенело топтала снег где-то на подступах к вершине и пыталась сообразить, каков должен быть тот предельный срок, после которого нам необходимо повернуть назад. В конце концов я решила, что мы можем идти до семнадцати часов. Это крайний срок. Видимости по-прежнему не было никакой. Я то и дело снимала темные очки — их все время забивало снегом — и пыталась разглядеть вершину. Усталости я уже не чувствовала — шла как автомат.

Мои компаньоны после нашей беседы держались на некотором расстоянии сзади. Я уж и не оглядывалась, но в один момент кто-то тронул меня за плечо. Это был Пьеро Дануссо, двадцатидвухлетний итальянец, водопроводчик по профессии. Он же-

стом показал, чтобы я пропустила его вперед. Ни говорить, ни обойти меня он не мог — столько сил было уже затрачено. Некоторое время он прокладывал путь, потом уступил свое место мне, и так, молча чередуясь, мы с ним топтали дорогу до самой вершины, которая внезапно и на одно мгновение открылась прямо над нами ровно за двадцать минут до намеченного мной мысленно срока.

На вершине мы были очень недолго. Мои спутники поспешно фотографировались, и я попросила Пьеро, чтобы он меня снял тоже.

Вниз мы шли очень быстро, насколько это возможно на такой высоте. Я уже не сомневалась, что мы засветло доберемся до палаток, но случилось непредвиденное: Эцио Лаваньо неожиданно сказал, что у него снежная слепота. Не знаю, как это могло случиться; мне казалось, что он и очки не снимал. Впрочем, я могла и не заметить. Так или иначе, он завязал себе глаза красным шарфом, и два других итальянских альпиниста повели его под руки. Конечно, это сразу замедлило наше движение, но оставить их одних так далеко от палаток мы не могли. Только когда мы спустились значительно ниже, я с французами пошла вперед, а Игорь добровольно остался с итальянцами — на случай, если им потребуются помощь.

Когда мы с Пьером Гра дошли до стенки, у которой утром я разговаривала с Саней, Жан был уже под ней. Как он спустился, я не видела. Я попрощнее воткнула ледоруб, чтобы подстраховаться, и, наклонившись вперед, стала нащупывать, куда бы поставить ногу. Должно быть, я наклонилась слишком сильно, а может быть, поскользнулась, но только в следующий момент я с этой стенки слетела. Я оказалась на несколько метров ниже и сразу же вскочила на ноги. Со стороны было похоже, что я просто спрыгнула. Мне случилось прыгать в снег через трещины на леднике, но прыгнуть со скальной стенки у меня, конечно, и в мыслях не было.

При своем неожиданном падении я выскочила из рукавицы, и она так и осталась наверху в темляке ледоруба. Я поднялась повыше и крикнула Пьеру, чтобы он дал мне мой ледоруб. Он наклонился и протянул его мне, но я все-таки не могла дотянуться. Пьер наклонился еще немного и в следующий миг оказался рядом со мной. Он свалился точно так же, как и я, с той лишь разницей, что я падала без ледоруба, а он летел с двумя сразу. Как ни в чем не бывало мы пошли дальше.

Конечно, наше поведение выглядело более чем странно. Но мы и были в тот момент не вполне нормальны. Мы находились в состоянии колоссального физического и особенно психического переутомления и едва ли могли контролировать свои поступки.

Когда мы спускались по стенке, было еще светло, но видимость ухудшалась с каждой минутой. Меня это страшно беспокоило, и я сделала попытку пойти чуть-чуть быстрее. В результате я догнала Жана, и мы пошли вместе. Тут нас и застала темнота. По нашим расчетам, мы должны были находиться уже где-то вблизи от палаток, но ничего не было видно. Я хорошо помнила, что наши палатки стояли недалеко от правого края гребня, и все время уговаривала Жана идти правее. Однако он так же твердо помнил, что они находились у левого края, и тянул меня влево. Чтобы в темноте не терять связи (из-за ветра было плохо слышно), мы вынуждены были идти на расстоянии трех-четырех метров друг от друга, Жан ближе к левому краю, я — к правому, в общем, примерно посередине. И наткнулись прямо на снежный забор, ограждавший наши палатки. Он был совершенно не виден на окружающем фоне, и, пройдя мы на несколько метров правее или левее, мы бы его не заметили. Конечно, рано

или поздно мы бы осознали свою ошибку, но не знаю, смогли ли бы мы вернуться. Ведь надо было бы подниматься, а сил на это уже не было.

Мы вошли в палатку и, не раздеваясь, попадали на спальные мешки. Я не могла опомниться от мысли, что мы едва не проскочили мимо палаток, и поэтому сказала или, вернее, прохрипела (от постоянного пребывания на морозе все мы порядочно охрипли): «Повесь фонарь на палатку». Наверное, вместо того, чтобы давать указания, мне следовало сделать это самой. Но на такое усилие я уже была не способна.

Жан устал не меньше моего, а, учитывая разницу в акклиматизации, может быть, и больше. Но он был нашим руководителем, а главное, настоящим мужчиной. И он себя поднял.

Через полчаса на свет нашего фонаря пришел Пьер, а спустя еще довольно длительное время — итальянцы. Теперь мы все были в сборе, и можно было считать, что восхождение прошло благополучно. Считать можно было что угодно, но истинный смысл всего, что произошло, от этого не менялся. Тысячу раз был прав Аграновский, когда советовал нам идти на вершину не ниже чем с 6900 метров. Он имел при этом в виду, что тогда у нас будут все шансы на успех, и только какая-нибудь непредвиденная случайность может нарушить наши планы. Сейчас же самой большой случайностью было то, что мы все сидели в палатке, живые и относительно здоровые. Мы нарушили законы гор и едва не заплатили за это. На этот раз нам здорово повезло, и, мне кажется, это было ясно всем.

В заключение мне хочется еще раз вернуться к статье французской альпинистки. Кристина Коломбель пишет, что она рада тому, что женщины не гонятся за «шестерками»¹. Она объясняет это тем, что в большинстве своем альпинистки «не принимают распространенную ныне в альпинизме идеологию — идеологию мужчин, смысл которой в том, что лучшим является то, что наиболее трудно, что надо ходить по «шестеркам», рисковать жизнью, одним словом, в том, чтобы обойти других, стать героем».

Мне кажется, Кристина упрощает «идеологию мужчин». Я считаю, что движущие мотивы у них абсолютно те же, что и у женщин-альпинисток, а то, что они, как и в любом другом виде спорта, достигают подчас выдающихся результатов и действительно становятся если уж не героями, то достаточно знаменитыми, — это уже следствие, но никак не причина. Вышшая награда для настоящего альпиниста (а таких абсолютное большинство) — сознание, что он прошел стену или «сделал» вершину. Но это в равной степени относится как к мужчинам, так и к женщинам. Здесь я разницы не вижу.

Что же касается «героев», то их в альпинизме довольно мало, и женщинам в их число не попасть. При современном высоком уровне альпинизма, когда ежегодно проходятся «непроходимые» стены и совершаются «невозможные» восхождения, для того чтобы подняться над общим высоким уровнем, нужны поистине выдающиеся способности.

«Потолок» женщин-альпинисток, хотя и медленно, тоже поднимается, как в прямом (после восхождения на Эверест японской альпинистки), так и в переносном смысле, однако по техническому уровню он всегда будет ниже, чем у мужчин-альпинистов. Но от этого горы нисколько не теряют для нас своей притягательной силы.

¹ Маршруты высшей категории трудности



Рисунок
С. ОЛИФИРЕНКО.



Б. БРИКЕР и А. ВИШЕВСКИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

Костя Пяткин тянул назад весь класс — двойки, опоздания, курение в рукав... Сколько можно терпеть?! И вот классные активистки Людо-чка и Женечка решили от имени класса навестить Костиных родителей, чтобы открыть им глаза на школьную жизнь сына.

— Значит, так. Мы вместе говорим «здрасьте», потом я начинаю первая! — сказала Люда.

— Ладно. Только я буду рассказывать про поведение, а ты про отметки, — предложила Женя.

— Бессовестная ты, Женька! Всегда себе самое интересное забираешь.

— Ну давай, ты про поведение, а я про отметки. Только ничего не забудь: и как через окно прыгал и как дым из ушей пускал...

— А ты расскажешь, как он списывал, про все двойки расскажешь и про то, как он пел на математике и выкрикивал таблицу умножения на пении.

— Ладно. Там сориентируемся. Девочки были настроены очень решительно: они не уйдут, пока до родителей Пяткина не дойдет, что им надо всерьез заняться воспитанием сына.

Дверь открыла бабушка.

— Здрасьте, — хором сказали девочки, — мы одноклассницы вашего Кости. Мы пришли сказать...

— Одноклассницы Кости?! — обрадовалась бабушка. — Вот это сюрприз! Заходите, девочки, заходите, миленькие.

В коридор вышла мама.

— Посмотри, кто к нам пришел. Это же подружки Кости.

— Какие милые девочки, — сказала мама.

— Мы на минутку, — сказала Люда. — Мы пришли сказать...

— А я не буду ничего слушать, — с напускной строгостью сказала бабушка. — Немедленно входите в комнату, будем пить чай с вареньем.

— Мы не будем пить чай с вареньем, — сказала Женя, — мы пришли сказать...

— Девочки, вы что, не любите варенье? Айвовое с орехами?! — удивилась бабушка.

— Любят, любят, — сказала мама и затолкнула девочек в комнату.

Девочки сели за стол, и Люда начала:

— Мы пришли сказать...

Но ее перебила бабушка, которая дала девочкам по большому красному яблоку.

— Кушайте, родненькие. Из Алма-Аты вчера Костин дядя привез, — сказала бабушка.

Пока девочки ели яблоки, на столе появились варенье, домашнее печенье и большой самовар.

— Спасибо за яблоки. Но мы пришли сказать... — Женя встала.

— Пейте чай, остынет... Вы попробуйте, попробуйте, тут три сорта намешано. Могу потом дать рецепт вашим мамам.

Девочки начали пить чай и есть варенье из специальных розето-

чек. Варенье было сладкое, чай горячий, душистый, девочкам вдруг стало тепло и весело.

— Мы пришли сказать, что ваш Костя... — начала было Люда.

— Что Костя? — спросила мама серьезно и приготовилась слушать.

— Давай ты, Женька, — прошипела Люда подруге. — Ты ведь про поведение.

— Сначала про отметки, — шепотом ответила Люда.

— Мы пришли сказать, что ваш Костя учится... — Женя запнулась.

— Ну, ну. — Мама выжидающе смотрела на девочек.

— ...в общем-то неплохо, — выдавила из себя Женя.

— Можно даже сказать, хорошо, — уже увереннее сказала Люда.

— Отлично учится ваш Костя! — И Женя положила себе в вазочку еще три ложки варенья.

— Он отстающим помогает, — сказала Люда и взяла самое большое печенье.

— Значит, учится он хорошо? — спросила мама.

— Очень! — хором ответили девочки.

— А как он ведет себя? — спросила бабушка.

— Про поведение же мы вам и хотели сказать...

— Конфеты, конфеты забыли, — спохватилась мама. — Ну-ка, налейте! Вы таких не ели — «Чернослив в шоколаде». Из Одессы посылку получили.

Девочки взяли по конфете и, смущенно переглядываясь, начали есть.

— Поведение вашего сына Кости, — решительно сказала Люда, — хорошее поведение.

— Ужасно хорошее! — подтвердила Женя, беря из вазочки очередную конфету. — Просто прелесть! И совершенно не курит, хотя некоторые мальчики уже...

— Какой ужас! — всплеснула руками бабушка. — А вы кушайте, кушайте...

Когда все было съедено, чай выпит и рассказы про необыкновенного Костю Пяткина были закончены, девочки поднялись из-за стола.

— Спасибо за угощение, — сказали они.

— Что вы, что вы... — запричитала бабушка, подавая Люде и Жене пальто. — Приходите еще... Всегда рады...

— Ты чего же правду-то не сказала? — уже на лестнице спросила Люда Женю.

— А ты первая заявила, что Костя хорошо учится.

— Но ты ведь подтвердила...

— А ты...

В это время в подъезд вошел Костин папа.

— Вот сейчас папе расскажем всю правду,— шепнула Люда Жене.

— Давай!

Девочки решительно двинулись к папе.

— Мы, Костины одноклассники, хотим вам сказать...

— Костины одноклассники?! —

воскликнул папа.— Какое совпадение! Мне как раз сегодня две пачки американской жевательной резинки подарили. Думаю, кому бы дать. Держите! У Кости таких полно.

На улице подруги уже не спорили. Они шли молча, сосредоточенно двигая челюстями.

г Черновцы.

КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ

Татьяна М-ая, г. Петро-
заводск.

Галочка!

В последнем номере «Юности» за прошлый год я в героине одной повести узнала себя. Как мне жить дальше?

ОТВЕТ.

Танечка!

Пока ничего не предпринимай. Автору заказано продолжение.

Сергей Л-ко, г. Мегион.

Галка Галкина!

Последнее время я скучаю. Правда, что все великие люди были одиноки?

ОТВЕТ.

Да, были. Но теперь-то с тобой они не соскучатся.

Семен И-ов, г. Бендеры.

Галя!

Я знаю слова всех песен советских композиторов, но у меня нет слуха. Что мне делать?

ОТВЕТ.

Милый Сема!

Тебе надо найти кого-нибудь, кто имеет слух, но не знает слов,— и пойте дуэтом.

Андрей Л-ша, г. Баку.

Милая Галчатина!

В одном из номеров «Юности» я узрел твой лик. С удовлетворением сообщаю, что я положил на тебя глаз. Могу ли я надеяться на взаимность?

ОТВЕТ.

Милый Андрушатина!

Прочитали твою грубятину. Можешь взять обратно свою глязятину.

Петр З-ов, г. Целиноград.

Уважаемая «Юность»!

Учи, что твои последние страницы — единственный источник моего самообразования.

ОТВЕТ.

Уважаемый Петр!

Мы это учли. В ближайшее время на последних страницах начнем публикацию таблицы умножения.

Витя Б-ко, г. Чернигов.

Дорогая Галя!

А почему бы в «Юности» не открыть новую рубрику? Взяли бы и начали печатать то, что у авторов не получилось. Тогда на ошибках одних другие бы учились.

ОТВЕТ.

Дорогой Витя!

Дельное предложение. Для начала решили напечатать твое письмо.

Леча Д-ко, г. Павлов-По-
сад.

Милая Галочка!

Мне очень понравилась последняя вещь Искандера, в «Юности». Нельзя ли напечатать ее еще раз?

ОТВЕТ.

Милая Леночка!

А мне очень понравилось твое письмо. Пришли нам его еще раз. Это же мы отдали Искандеру.

ПОСЕЛОК НА ТРАССЕ

Поселок и станция с таким названием — Юность Комсомольская — появились на картах Западной Сибири совсем недавно. Невелик поселок — не узловая станция, нет там и крупных промышленных предприятий, но история его чрезвычайно интересна и заслуживает особого разговора.

Когда проектировщики Сибгипротранса — а было это еще в конце шестидесятых годов — наносили на карту трассу будущей железной дороги Тюмень — Сургут, на 313-м километре от Тюмени они поставили маленький кружок, обозначенный «ст. Туртас». Кроме непроходимых болот и непролазной тайги, ничего в том месте тогда не было. А потом все завертелось, и пошла обычная работа дорожных строителей: на берегу реки Туртас высадили десант, разбили палатки, поставили первые щитовые общестроения, стали отсыпать полотно железной дороги, укладывать рельсы.

С того самого времени, как десять лет назад, в 1968 году, журналисты «Юности» провели первую творческую разведку на сибирской трассе, СМП-522, обосновавшийся в Туртасе, стал верным «коллективным другом» журнала. Здесь прошли первые конкурсы профессионального мастерства каменщиков, путейцев, штукатуров на призы «Юности»; здесь два года подряд девятиклассники 249-й мосновской школы работали во время летних каникул, привозя каждый раз библиотечку для строителей; здесь проходили лыжные соревнования на приз журнала и первые писательские выступления перед трассовиками. Наконец, отсюда на страницы «Юности» шагнули подлинными героями стройки, такие, как бригадир монтеров пути Виктор Молозин, начальник первого в стране комсомольско-молодежного поезда Николай Доровских и многие другие. Кстати, один из очерков так и назывался — «Доровских и другие».

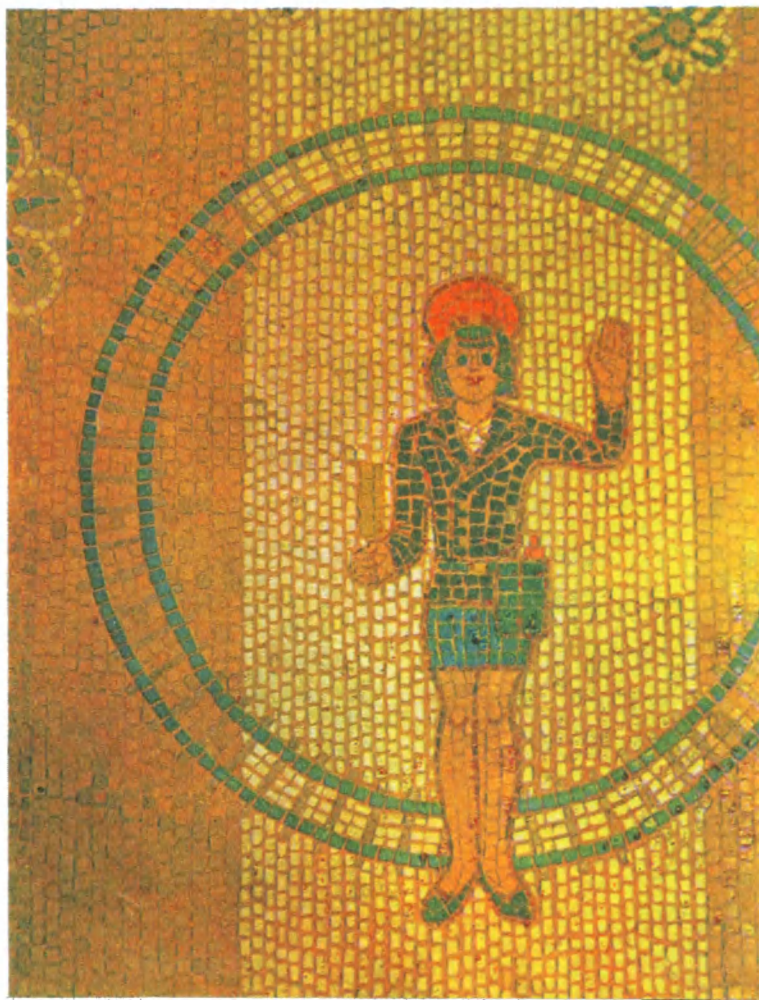
В начале 1975 года Тюменский облисполком по просьбе молодых строителей СМП-522 принял решение переименовать поселок и станцию. На карте появилось новое, никогда до этого не существовавшее название населенного пункта — Юность Комсомольская.

Сегодня это благоустроенный поселок с магазинами, клубом, красивой школой. Но главная его достопримечательность — железнодорожная станция. Новосибирский архитектор Владимир Авксентюк и московский художник Герман Черемушкин сделали ее уютной, комфортабельной и красивой. На третьей странице обложки мы знакомим наших читателей с фрагментами интерьера станции.



**Станция
Юность комсомольская.
Фрагмент мозаики
в зале ожидания.**

**На стене детской комнаты
той же станции
художник Г. Черемушкин
изобразил Галку Галкину —
постоянного юмористического
персонажа «Юности».**



Индекс

71120